



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

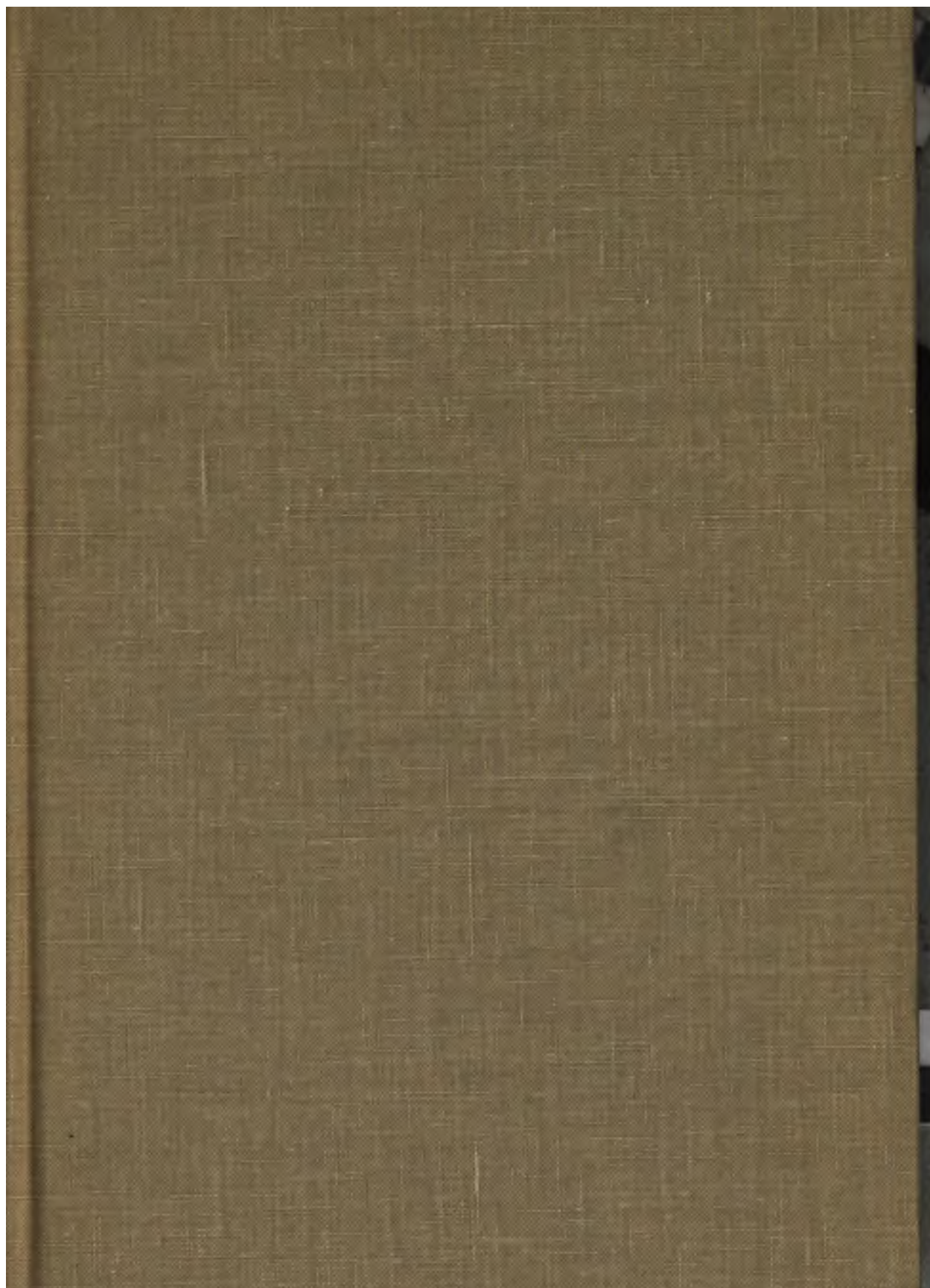
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





Д. Д. Ахшарумовъ.

**ИЗЪ МОИХЪ
ВОСПОМИНАНІЙ.**

(1849—1851 г.).

Со вступительной статьей В. И. Семевского.

Изданіе
„Общественной Пользы“
СПБ. 1906 г.

Книгоиздательство и книжный магазинъ
Т-ва „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА“.

(СПБ., Б. Подъячская ул. 39, соб. домъ).

„Библіотека Общественной Пользы“:

Юлосъ Г. Письма изъ Берлина. Ц. 2 руб.

Кузьминъ-Караваевъ В. Земство и деревня. Ц. 2 руб.

Страховскій Ив. Крестьянскія права и учрежденія. Ц. 1 руб.
50 коп.

Арсеньевъ И. Свобода совѣсти и вѣротерпимость. Ц. 1 р. 50 к.

Наутскій Н. Изъ исторіи общественныхъ теченій. Ц. 2 руб.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Бургенъ М. Соціальныя доктрины и экономич. эволюціи.

Поль Луи. Государство и рабочій.

Скалонъ В. Въ переходное время. Сборн. статей.

Рейснеръ М. Сборникъ статей.

Булгановъ. Отъ марксизма къ идеализму. Ц. 1 руб. 50 коп.

Богдановъ. Познаніе съ исторической точки зрѣнія. Ц. 1 руб.

Веббъ С. и Конксъ Х. 8-часовой рабочій день. Изд. 2-е. Ц. 1 руб.

25 коп.

Витте, С. Ю. Записка по крестьянскому дѣлу. Ц. 50 к.

Гефдингъ. Философія религіи. Пер. В. Базарова и И. Сте-
панова. Ц. 1 руб. 50 коп.

Еллинекъ Г. Право современнаго государства. Пер. подъ ред.
В. Гессена и Л. Шалланда. Ц. 3 руб.

Евреиновъ Г. Крестьянскій вопросъ въ его современной по-
становкѣ. Изд. 2-е, 1904 г. Ц. 1 руб.

Его же. Ресформа высшихъ госуд. учреждений и народное
представительство. Ц. 60 к.

Иванюковъ И. Паденіе крѣпостного права въ Россіи. Изд. 2-е
Ц. 2 руб. 50 коп.

Кауфманъ А. По новымъ мѣстамъ. Ц. 1 руб.

Ключковъ М. — Земскіе соборы въ старину. Ц. 15 к.

Пругавинъ А. Законы и справочныя свѣдѣнія по нач. нар.
образованію. Изд. 2-е, 1903 г. Ц. 3 руб. 50 коп.

Его же. Религіозныя отношенія. Вып. I и II по 1 руб.

Риль А. Введеніе въ современную философію. Ц. 80 коп.

Соловьевъ Вл. С. Сочиненія въ 8 т. Ц. 12 руб.

Соловьевъ С. М. Исторія Россіи. Изд. 2-е. Ц. 15 руб.

Его же. Дополнит. томъ къ «Исторіи Россіи». Ц. 4 руб.

Фулье А. — Ницше и имморализмъ. Ц. 1 р. 50 к.

STANFORD LIBRARIES



Ахшарумовъ, Д.
Д. Д. Ахшарумовъ.

**ИЗЪ МОИХЪ
ВОСПОМИНАНІЙ.
(1849—1851 г.).**

Со вступительной статьей В. И. Семевского.

Издание
„Общественной Пользы“
С.П.Б. 1905 г.

DK 209.6
A4.A3

Авторъ воспоминаній, печатающихся въ настоящемъ изданіи, принадлежитъ къ большой литературной семьѣ Ахшарумовыхъ. Отецъ Дмитрія Дмитриевича, Дмитрій Ивановичъ, умершій въ 1837 г., военный писатель, принималъ дѣятельное участіе въ кампаніи 1812 года, находился за-границей въ оккупационномъ корпусѣ и былъ авторомъ перваго систематическаго описанія отечественной войны и затѣмъ редакторомъ „Свода военныхъ постановленій“. Старшій братъ Дмитрія Дмитриевича, Николай (1819—1893)—извѣстный романистъ, литературную дѣятельность котораго С. А. Венгеровъ характеризуетъ слѣдующими словами: „Это—идеалистъ сороковыхъ годовъ въ лучшемъ смыслѣ слова, истинный прогрессистъ, но котораго грубость и рѣзкость всероссійскаго прогресса нѣсколько напугала“; въ одномъ изъ своихъ произведеній онъ „не безъ ядовитости“ обличаетъ эпоху „разрушенія эстетики“. Въ критическихъ статьяхъ онъ является приверженцемъ „искусства для искусства“. „Самою симпатичною стороною литературной дѣятельности Н. Д. Ахшарумова“, продолжаетъ г. Венгеровъ, „слѣдуетъ признать ту душевную чистоту, которая сквозитъ черезъ все написанное имъ. Чувствуется литераторъ *pur sang*, которому интересы истины всего дороже, которому чуждо мелкое самолюбіе, для котораго слова „красота“ и „идеаль“ не звукъ пустой, не взятая на прокатъ вывѣска. Если васъ даже не грѣетъ тутъ огонь таланта, то вамъ все-таки становится тепло отъ несомнѣнной искренности добрыхъ намѣреній автора“ ¹⁾. Изъ другихъ братьевъ Дмитрія Дми-

¹⁾ Венгеровъ. „Критико-Биографическій Словарь“. СПБ., 1889 г., т. I, 938—992.

тріевича одинъ, Владиміръ, печаталъ стихотворенія еще въ сборникѣ „Весна“ (1859 г.), изданномъ его братомъ Николаемъ, помѣщалъ ихъ и позднѣе въ нѣкоторыхъ другихъ изданіяхъ; другой братъ издалъ въ 1893 г. монографію „Исторія Бастиліи“; третій, Иванъ, бывший въ 1870-хъ годахъ военнымъ прокуроромъ, наклонѣ дней напечаталъ нѣсколько беллетристическихъ произведеній (преимущественно въ „Наблюдателѣ“).

Авторъ „Воспоминаній“, Дмитрій Дмитріевичъ, родился 14 мая 1823 г., воспитывался въ первой петербургской гимназіи, по окончаніи курса въ которой, въ 1842 г., поступилъ на восточный факультетъ петербургскаго университета ¹⁾. Юноша-идеалистъ съ презрѣніемъ относился къ приманкамъ свѣтской жизни со всѣми ея суетными развлеченіями и выбралъ факультетъ восточныхъ языковъ, чтобы впослѣдствіи уѣхать на дальній юго-востокъ и пожить привольною жизнью среди южной природы ²⁾. Ниже („Воспоминанія“, стр. 14—15) читатели найдутъ свѣдѣнія о томъ широкомъ интересѣ къ наукѣ, которымъ былъ проникнутъ этотъ молодой человекъ. Огромную роль во всей послѣдующей жизни Дмитрія Дмитріевича сыграло ознакомленіе его съ социалистическимъ ученіемъ Ш. Фурье и его послѣдователей. По его собственному свидѣтельству, сочиненіе Фурье „Nouveau monde industriel et sociétaire“, а также брошюры его послѣдователей Консидерана и Туссенеля „увлекали“ его „нерѣдко до того“, что онъ „забывалъ все прочее“. Знакомъ онъ былъ и съ болѣе обширнымъ сочиненіемъ Фурье „Théorie des quatre mouvements“ ³⁾.

¹⁾ На старшаго брата Д. Д., Николая, имѣлъ большое вліяніе его дядя по матери, М. С. Биженъ, „пользовавшійся между всѣми, приходившими съ нимъ въ столкновеніе, репутаціей умнѣйшаго человека“. Онъ сыгралъ нѣкоторую роль и въ развитіи Д. Д. (См. „Воспоминанія“, стр. 84—85).

²⁾ Быть можетъ по тѣмъ же побужденіямъ поступилъ въ 1843 г. на восточный факультетъ и А. Н. Плещеевъ, но курса на немъ не окончилъ. Плещеевъ былъ знакомъ съ Ахшарумовымъ, какъ съ товарищемъ по университету.

³⁾ Объ ученіи Фурье, вообще, см. статью Н. В. Водовозова „Фурье (Опытъ критическаго обзора его ученія)“ въ „Историческомъ Обзорѣ“, сборникѣ Историч. общ. при СПб. университетѣ, 1898 г., т. X и кромѣ указанной въ ней литературы М. Василевскаго въ энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона и Бибикова „Современные утописты. Изложеніе и критическій разборъ теорій Фурье“. Въ книгѣ того же автора „Современные утописты“ (1865 г.).

Молодой журналистъ, зачитывавшійся русскими и иностранными поэтами, переводившій пѣсни Петрарки на смерть Лауры, пытался и въ стихахъ высказывать симпатичныя ему идеи. Такъ, въ бумагахъ его было найдено стихотвореніе „Европа 1845 г.“, которое начиналось описаніемъ смутъ и борьбы на западѣ и оканчивалось предсказаніемъ о преобразованіи существующаго строя общественной жизни въ духъ ученія Фурье ¹⁾.

Въ 1846 г. Д. Д. Ахшарумовъ окончилъ университетскій курсъ со степенью кандидата и въ слѣдующемъ году поступилъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ, имѣя въ виду со временемъ получить мѣсто драгомана при нашихъ миссіяхъ въ Константинополь, Каиръ или Персію.

Другъ Ахшарумова, Ипполитъ Матвѣевичъ Дебу, познакомилъ его съ самымъ выдающимся и наиболѣе вліятельнымъ изъ русскихъ послѣдователей ученія Фурье, М. В. Буташевичемъ - Петрашевскимъ, и Д. Д. сталъ весною 1848 г. бывать на его собраніяхъ. Мы не имѣемъ здѣсь возможности говорить подробно о нѣсколькихъ кружкахъ молодыхъ людей, группировавшихся вокругъ Петрашевскаго, Спѣшнева и другихъ ²⁾, изъ которыхъ всѣ были проникнуты либеральными идеями въ вопросахъ, касавшихся крѣпостного права, судопроизводства и печати, но часть которыхъ была увлечена идеями Фурье и прямо называла себя фурьеристами. Мы сдѣлаемъ здѣсь лишь нѣкоторыя дополненія къ тому, что читатели найдутъ въ „Воспоминаніяхъ“ Ахшарумова, какъ о немъ самомъ, такъ и о другихъ петрашевцахъ, которыхъ гр. Лорисъ-Меликовъ называлъ „апрѣлистами“ и для которыхъ Ахшарумовъ считаетъ самымъ правильнымъ названіе „русскихъ социалистовъ 1849 г.“.

¹⁾ Съ нѣкоторыми изъ близкихъ людей, какъ, напримѣръ, съ дядею М. С. Бижеичемъ Д. Д.-чу приходилось выдерживать горячіе споры изъ-за своего увлеченія ученіемъ Фурье, какъ это видно изъ того, что изъ окна Петропавловской крѣпости онъ закричалъ дядѣ: „а Фурье все-таки правъ!“ (стр. 85).

²⁾ См. объ этомъ мою статью „Изъ исторіи общественныхъ идей въ Россіи въ концѣ 1840-хъ гг.“ въ сборникѣ въ честь Н. К. Михайловскаго: „На славномъ посту“ (стр. 98—152).

Во время ареста Ахшарумова у него найдена была „записная книга 1848 г.“, съ изложеніемъ въ ней темъ или отдѣльныхъ мыслей. На первой страницѣ, въ видѣ перечня предметовъ, о которыхъ слѣдуетъ писать, здѣсь было сказано слѣдующее: „О невозможности улучшенія челоувѣчества доселѣ принятыми средствами: религіею и ею предписываемыми правилами, проповѣдями священниковъ, устройствомъ суда и законовъ и о крайней необходимости измѣнить все, передѣлать во всѣхъ основаніяхъ общество и всю нашу глупую, безтолковую и пустую жизнь; объ уничтоженіи семейной жизни, труда, собственности въ такомъ видѣ, какъ они теперь, государства никуда не годнаго съ его министрами“ и государями „и ихъ вѣчной бесполезной политикой, объ уничтоженіи законовъ, войны, войска, городовъ и столицъ, въ которыхъ люди тяготятся и не перестаютъ страдать, проводить жизнь въ однихъ мученіяхъ и умираютъ въ отвратительныхъ болѣзняхъ“.

Кромѣ того, въ бумагахъ друга Ахшарумова, его товарища по гимназіи и университету Ипполита Матвѣевича Дебу 2-го ¹⁾, была найдена тетрадь, написанная Д. Д.—чемъ съ изложеніемъ въ ней разсужденій по тремъ вопросамъ: „1) какія мои мысли и убѣжденія? 2) свободенъ ли я? 3) готовъ ли я?“ Въ этой тетради слѣдственная коммиссія по дѣлу петрашевцевъ обратила вниманіе на слѣдующія мѣста: „Жизнь такъ, какъ она идетъ теперь, слишкомъ тяжела, обременительна, переполнена всякаго рода непріятностями и гадостями. Все это томленіе, все, что поневолѣ терпимъ каждый день, происходитъ оттого, что челоувѣкъ соединился въ слишкомъ огромномъ множествѣ для устроенія общественнаго блага. Оттого миллионы людей, желавшихъ лучшаго, не могли достигнуть своей цѣли. Они дѣлали ужасную ошибку: хотѣли устроить все перемѣною однихъ формъ управленія, и не замѣтили того, что государства нельзя устроить. Государство должно погибнуть съ его министрами“ и государями, „съ его

¹⁾ Онъ болѣе всѣхъ вліялъ на Ахшарумова, который отъ него узнавалъ о новыхъ, наиболѣе популярныхъ сочиненіяхъ, преимущественно французскихъ, по новѣйшей исторіи, политической экономіи и о социальныхъ системахъ.

войскомъ, съ его столицами, законами и храмами. Необходимо, чтобы вмѣсто него произошли небольшія общества, но которыя имѣли бы въ себѣ цѣлость, полноту, разнообразіе, независимость одно отъ другого и представляли бы, такъ сказать, интегралы человечества“.

Д. Д. Ахшарумовъ, описывая всю тягость жизни въ современномъ обществѣ, происходящую, по его мнѣнію, отъ неполнаго удовлетворенія всѣхъ страстей человѣка, говоритъ, что „уничтожить это есть средство одно—фаланстеръ Фурье. Но, къ этому самое большое препятствіе... глупое, пустое, злое и сильное правительство. Вопросъ приводится къ тому, какимъ образомъ получить правительство, терпящее нововведенія“. Монархическое неограниченное правленіе, по мнѣнію Ахшарумова, можетъ не препятствовать желательнымъ реформамъ лишь тогда, „когда будетъ на престолѣ человѣкъ любознательный, благонамѣренный и преданный благу всего человечества, но съ... негодными, недобѣрчивыми, всего опасющимися“ государями, „съ невѣжествамъ министровъ и всего правительства рѣшительно нѣтъ надежды на такое нововведеніе. Потому... нельзя оставить это въ такомъ положеніи. Надо измѣнить правленіе, но осторожно, чтобы не произошелъ слишкомъ сильный безпорядокъ, который бы вовлекъ народъ опять въ старое“. Если невозможна республика, то нужно по крайней мѣрѣ ограничить власть монарха. „Надо конституцію, которая дала бы свободу книгопечатанія, открытое судопроизводство, устроила бы особое министерство для разсмотрѣнія новыхъ проектовъ и улучшеній общественной жизни и чтобы не было никакихъ вмѣшательствъ въ дѣла частныхъ людей, въ какомъ бы числѣ они ни сходились вмѣстѣ... Трудно говорить о томъ, какое правленіе въ Россіи скорѣе приведетъ къ цѣли. Стоять и дожидаться упрямо республиканскаго правленія—значить терять время, потому что конституціонное лучше монархическаго неограниченнаго. Пока у насъ нѣтъ человѣка, извѣстнаго всѣмъ, у котораго былъ бы авторитетъ и популярность, то надо имѣть“ монарха, но „предоставить“ ему „самыя ничтожныя преимущества“ и объяснить народу, что госу-

дарь „на все имѣть право только съ согласія его самого“ (т. е. народа), „такъ, напримѣръ, оставить ему титулъ, голосъ его въ народномъ собраніи считать за нѣсколько голосовъ и т. п., но чтобы у него не было права ни распускать, ни созывать собраніе, ни назначать время продолженія его, чтобы войско не было въ рукахъ его. Дѣла всѣ разсматриваются въ одной палатѣ, президентъ избирается на короткое время. Потомъ, когда собраніе получить довѣренность народа, то можно обойтись“ и безъ монарха.

Далѣе, по свидѣтельству слѣдственной комиссіи, Ахшарумовъ излагаетъ, какъ слѣдуетъ возбуждать простой народъ къ возстанію, какъ распространять свои идеи среди людей различныхъ званій, состояній и половъ, „взявъ въ свои руки университетъ, лицей, училище правовѣденія, кадетскіе корпуса и другія учебныя заведенія“.

Въ заключеніе Ахшарумовъ задаетъ себѣ вопросы: „Готовъ ли я? на что? на чтобъ то ни было? готовъ ли я дѣйствовать по моимъ убѣжденіямъ, подвергаться опасностямъ, даже и тогда, когда бы я не могъ наслаждаться плодами нашихъ трудовъ, болѣе,—готовъ ли я жертвовать жизнью за доброе дѣло?“ И отвѣчаетъ на эти вопросы такъ: „Не дѣйствовать по убѣжденію я считаю безчестнымъ, слабымъ поступкомъ, говорить одно, а дѣлать другое—или низость, или слабость, или неувѣренность въ справедливости своихъ мыслей, сомнѣній. Но въ этомъ случаѣ я рѣшительно объявляю, что у меня нѣтъ сомнѣній въ тѣхъ мысляхъ, которыя здѣсь написаны и что я готовъ дѣйствовать по моимъ убѣжденіямъ“.

Для характеристики взглядовъ Ахшарумова можетъ послужить еще его рѣчь, произнесенная на обѣдѣ въ память Фурье, въ день его рожденія 7-го апрѣля 1849 г., устроенномъ въ квартирѣ Европеуса. Вотъ что сказалъ здѣсь Ахшарумовъ:

„И такъ какъ порядокъ установленный противорѣчитъ главному основному назначенію человѣческой жизни, какъ и всякій другой, то онъ непремѣнно рано или поздно прекратится и вмѣсто него будетъ новый, новый и новый. Когда? вотъ это важный вопросъ, и

мы можемъ только отвѣчать, что скоро. Уже тотъ фактъ, что мы сознаемъ недостатки, ошибки въ устройствѣ нашей жизни, и уже представляется намъ въ общихъ чертахъ новая жизнь, этотъ самый фактъ доказываетъ, что началось время его разрушенія. И рухнетъ и развалится все это дряхлое, громадное вѣковое зданіе и многихъ задавитъ оно при разрушеніи и изъ насъ, но жизнь оживетъ и люди будутъ жить богато, раздольно и весело.

„Мы живемъ въ столицѣ безобразной, громадной, въ чудовищномъ скопищѣ людей, томящихся въ однообразныхъ работахъ, испачканныхъ грязнымъ трудомъ, пораженныхъ болѣзнями, развратомъ, скопище, разрозненное все семействами, которыя вредятъ другъ другу, теряютъ время и силу и обѣдняются въ бесполезныхъ трудахъ. И тамъ, за столицею, ползутъ города, единственная цѣль, высочайшее счастье для нихъ сдѣлаться многолюднымъ, развратнымъ, больнымъ, чудовищнымъ, какъ столица!

„Въ эти дни, въ этомъ самомъ обществѣ мы собрались сегодня не для жалобъ и не для этихъ несчастныхъ повѣствованій, но напротивъ, полны надежды, торжествомъ, весельемъ... и, переносясь въ будущее время и скоро ожидаемое всѣми, мы даемъ обѣдъ, залогъ лучшаго, и празднуемъ грядущее искупленіе человечества сегодня, именно сегодня, въ день рожденія Фурье, чтимъ его память, потому что онъ указалъ намъ путь, по которому идти, открылъ источникъ богатства, счастья.

„Сегодня первый обѣдъ фурьеристовъ въ Россіи, и всѣ они здѣсь: десять человѣкъ, немногимъ болѣе. Все начинается съ малаго и растетъ до великаго.

„Разрушить столицы, города и всѣ матеріалы ихъ употребить для другихъ зданій, и всю эту жизнь мученій, бѣдствій, нищеты, стыда, срама „превратить въ жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья, и всю землю нищую покрыть дворцами, плодами и разукрасить въ цвѣтахъ — вотъ цѣль наша. Мы здѣсь, въ нашей странѣ начнемъ преобразование, а кончить его вся земля. Скоро избавленъ будетъ родъ человѣческій отъ невыносимыхъ страданій!“

Приведенные выше отрывки изъ бумагъ Ахшарумова и его рѣчь вполнѣ выясняютъ намъ его міросозерцаніе. Преобразованія современнаго ему строя общества онъ не ждетъ ни отъ религіи, ни отъ проповѣдей священниковъ; онъ сочувствуетъ лишь тому общественному строю, который рисуется въ произведеніяхъ Фурье. Согласно его ученію, онъ относится отрицательно къ современной семьѣ, находя, что она не объединяетъ, а разрозниваетъ людей, и къ современнымъ формамъ собственности; онъ противъ существованія войска, противъ войны: все это окажется не нужнымъ, когда міръ покроется фаланстерами, устроенными согласно идеямъ Фурье. Но стремленія къ этому идеальному общественному строю не дѣлаетъ Ахшарумова равнодушнымъ къ вопросу о формахъ правленія въ современномъ государствѣ, къ которому онъ относится совершенно отрицательно. Подобно французскимъ фурьеристамъ, отказавшимся въ 1848 г., въ лицѣ Консидерана, отъ прежняго равнодушія въ современной политической борьбѣ, онъ обсуждаетъ вопросъ о желательныхъ преобразованіяхъ государственнаго устройства, такъ какъ понимаетъ, что безъ такихъ преобразованій невозможно и достиженіе идеальнаго соціальнаго строя. Онъ понимаетъ, что невозможно мечтать о немедленномъ переходѣ къ республикѣ, и потому высказывается за конституцію, гарантирующую свободу печати, гласное судопроизводство и свободу собраній и при которой, какъ онъ надѣялся, будетъ устроено особое министерство для разсмотрѣнія проектовъ и улучшенія общественной жизни. Кромѣ того онъ стремится возможно болѣе ограничить власть монарха, не предоставляя ему права ни созывать и распускать представительное собраніе, ни опредѣлять продолжительность его засѣданій, желаетъ сдѣлать и войско независимымъ отъ государя. Такимъ образомъ признаваемая имъ конституціонная монархія—монархія только по формѣ, гдѣ государь, несмотря на свой титулъ, въ сущности является наслѣдственнымъ президентомъ республики съ правомъ имѣть нѣсколько голосовъ въ „народномъ собраніи“. Ахшарумовъ и не скрываетъ этого и желаетъ, чтобы какъ только представительное собраніе пріобрѣтетъ довѣріе народа, была провозглашена республика.

Какъ видно изъ краткаго изложенія взглядовъ Ахшарумова въ запискѣ слѣдственной комиссіи, онъ признавалъ средствами достиженія лучшаго будущаго пропаганду среди людей различныхъ званій и состояній и среди учащейся молодежи, а также и возбужденіе народа къ возстанію.

Нужно полагать, что выработкѣ столь опредѣленнаго міросозерцанія у Д. Д. Ахшарумова содѣйствовало его участіе въ кружкѣ, собиравшемся зимою 1848—1849 г. у служившаго въ азіатскомъ департаментѣ Кашкина, гдѣ кромѣ него бывали Н. А. Спѣшневъ, братья Дебу, студентъ Ханыковъ, братъ Д. Д.—Николай (впослѣдствіи извѣстный романистъ) и нѣкоторые другіе. Особенно былъ друженъ Ахшарумовъ съ И. М. Дебу, а также хорошо знакомъ съ Ханыковымъ, какъ со своимъ товарищемъ по университету. И. М. Дебу и Ханыковъ (человѣкъ очень живой, имѣвшій массу знакомыхъ) стали интересоваться социалистическими ученіями еще на университетской скамьѣ. У нихъ составилъ свой кружокъ, и подъ вліяніемъ лекцій профессора Порошина они вообще занимались экономическими и общественными вопросами, стали изучать сочиненія Луи Блана, Фурье, Прудона, книгу Л. Штейна о социализмѣ во Франціи, а свѣдѣнія о Россіи почерпали изъ извѣстнаго труда Гакстгаузена. Взгляды Ханыкова были близки къ воззрѣніямъ Ахшарумова. Въ рѣчи, произнесенной Ханыковымъ на обѣдѣ въ память Фурье, была также сильная вылазка противъ семьи, онъ также не возлагалъ надежды на религію и молитву, а находилъ опору въ наукѣ, въ немъ также сказывались опредѣленные политическія убѣжденія: онъ говорилъ о борьбѣ различныхъ сословій отъ древности до настоящаго времени, онъ восклицалъ: „Отечество мое въ цѣпяхъ, отечество мое въ рабствѣ, религія, невѣжество, спутники деспотизма, затемнили, заглушили твои натуральныя влеченія; отечество мое... гдѣ твое общинное устройство, гдѣ ты, народная вольница, великій государь Новгородъ“.

По свидѣтельству слѣдственной комиссіи въ кружкѣ Кашкина „было гораздо больше стройности и единомыслія, чѣмъ въ кружкѣ Петрашевскаго: въ немъ была опредѣленная цѣль—изученіе системъ социальныхъ и

коммунистическихъ и по преимуществу системы Фурье. Кружокъ этотъ составляли (кромѣ К. М. Дебу 1-го) молодые люди высшаго гражданскаго воспитанія, всѣ одинаково образованные, равные и по положенію своему въ обществѣ, и по своему состоянію. Нѣкоторые изъ нихъ съ безотчетнымъ энтузіазмомъ предались социальнымъ утопіямъ въ смыслѣ науки; нѣкоторые зачали примѣнять ихъ къ быту Россіи, другіе же помышляли уже и о возможно скорѣйшемъ приведеніи ихъ въ дѣйствіе и читали на собраніяхъ рѣчи, далеко опередившія всѣ рѣчи и всѣ разговоры на собраніяхъ у Петрашевскаго“.

Самымъ выдающимся членомъ кружка, собиравшагося у Кашкина былъ Н. А. Спѣшневъ. Получивъ воспитаніе одновременно съ Петрашевскимъ въ царскосельскомъ лицѣѣ, онъ въ 1842 г. уѣхалъ за границу и провелъ тамъ четыре года. Есть извѣстіе, что въ это время онъ сблизился съ польскою революціонною партіею и будто бы привезъ въ Россію статуты ея организаціи. Во всякомъ случаѣ онъ былъ однимъ изъ наиболѣе радикальныхъ людей и въ религіозномъ, и въ политическомъ отношеніяхъ изъ числа лицъ, пострадавшихъ вмѣстѣ съ Петрашевскимъ. У него была найдена подписка (въ неоконченномъ видѣ), которая должна была быть обязательствомъ члена какого-то русскаго тайнаго общества. Такъ какъ Ахшарумовъ упоминаетъ о ней въ своихъ воспоминаніяхъ, то приведемъ текстъ ея:

„Я нижеподписавшійся добровольно, по здравомъ размысленіи и по собственному желанію, поступаю въ Русское общество и беру на себя слѣдующія обязанности, которыя въ точности исполнять буду: 1) когда распорядительный комитетъ общества, сообразивъ силы общества, обстоятельства и представляющіеся случаи, рѣшитъ, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принять полное и открытое участіе въ возстаніи и дракѣ, т. е. по извѣщенію отъ комитета обязываюсь быть въ назначенный день, въ назначенный часъ, въ назначенномъ мѣстѣ, обязываюсь явиться туда и тамъ, вооружившись огнестрѣльнымъ или холоднымъ оружіемъ, или тѣмъ и другимъ, не щадя себя, принять участіе въ дракѣ и какъ только могу споспѣше-

ствовать успѣху возстанія. 2) Я беру на себя обязанность увеличивать силы общества приобрѣтеніемъ обществу новыхъ членовъ, впрочемъ, согласно съ правиломъ Русскаго общества, обязываюсь самъ лично больше пятерыхъ не афилировать. 3) Афилировать, т. е. присоединять къ обществу новыхъ членовъ, обязываюсь не наобумъ, а по строгому соображеніи и только такихъ, въ которыхъ я твердо увѣренъ, что они меня не выдадутъ, если даже и отступились бы послѣ отъ меня., въслѣдствіе чего и обязываюсь съ cadaго, мною афилированнаго, взять письменное обязательство, состоящее въ томъ, что онъ перепишетъ отъ слова до слова сіи самыя условія... все съ перваго до послѣдняго слова и подпишетъ ихъ. Я же, запечатавъ оное, его письменное обязательство, передаю его своему афилятору для доставленія въ комитетъ, тотъ своему и т. д....“ (Слѣдующій затѣмъ, четвертый пунктъ написанъ не былъ).

Спѣшневъ показалъ, что это былъ только проектъ, составленный имъ за границею во время занятій исторіею тайныхъ обществъ ¹⁾. Но Спѣшневъ болѣе многихъ другихъ тогдашнихъ русскихъ социалистовъ рвался поскорѣе перейти изъ области разговоровъ къ практической дѣятельности и даже въ декабрѣ 1848 г. набросалъ планъ тайнаго общества. Онъ предполагалъ основать одинъ центральный комитетъ, который долженъ былъ создать три частныхъ комитета: 1) комитетъ товарищества для взаимной поддержки другъ друга; 2) комитетъ для устройства школъ пропаганды фурьеристской, коммунистской и моральной и 3) комитетъ тайнаго общества на возстаніе. Правда предположенія эти высказывались Спѣшневымъ не въ кружкѣ Капкина, но нужно думать, что политическій радикализмъ Спѣшнева вліялъ и на членовъ этого кружка ²⁾.

¹⁾ Къ сожалѣнію мы не знаемъ точно, гдѣ именно за границею жилъ Спѣшневъ, но вліяніе на него знакомства съ тогдашними заграничными тайными обществами вполнѣ возможно. Сравни объ этихъ обществахъ: Mehring. Geschichte der deutschen Socialdemokratie. Stuttg. 1897, Bd. I, 71—86, 168—180.

²⁾ Ханьковъ показалъ о себѣ, что одно время онъ думалъ объ устройствѣ тайныхъ обществъ.

Кромѣ Ханыкова и Плещеева, Ахшарумовъ хорошо зналъ студента П. Н. Филиппова, какъ своего товарища по университету. Въ своихъ воспоминаніяхъ Д. Д. упоминаетъ о немъ только при описаніи объявленія приговора на Семеновскомъ плацу. Филипповъ со Спѣшневымъ, незадолго до ареста, задумали устроить тайную типографію, принадлежности для которой были уже куплены. Въ бумагахъ Филиппова найдено было толкованіе десяти заповѣдей, написанное имъ въ началѣ марта 1849 года. Слѣдственная коммиссія обратила особенное вниманіе на толкованіе шестой заповѣди, въ которомъ Филипповъ между прочимъ писалъ: „Всѣ вы идете смотрѣть, какъ наказываютъ мужиковъ, что посмѣли послушаться господина или убили его. Развѣ вы не понимаете, что они исполнили волю Божию и что принимаютъ наказаніе, какъ мученики за своихъ ближнихъ. Развѣ не будете защищаться, коли нападуть на васъ разбойники, а помѣщикъ, обижающій крестьянъ своихъ, не хуже ли онъ разбойника? Не должно быть и войны, ибо всѣ люди по слову евангельскому должны жить какъ братья, и потому начинающій войну дастъ отвѣтъ на судѣ страшномъ, а кто защищается, тотъ не повиненъ въ крови братьевъ. И такъ, если мы пойдемъ войною на чужой народъ, — согрѣшимъ. Но всѣхъ болѣе согрѣшитъ тотъ, кто „начинаетъ войну и ведетъ народъ свой на убійство... Отвѣтитъ и народъ, который пустилъ своихъ братьевъ на убой“. На допросѣ Филипповъ заявилъ, что „либеральное направленіе проявилось въ немъ весною 1848 г. при чтеніи французскихъ журналовъ, послѣ переворота на западѣ, а сильнѣе оно укоренилось осенью, когда онъ началъ посѣщать собранія у Петрашевскаго ¹⁾).

Восьмимѣсячное пребываніе въ крѣпости (послѣ ареста въ ночь съ 22 на 23 апрѣля 1849 г.) прекрасно описано Д. Д. Ахшарумовымъ въ его воспоминаніяхъ.

¹⁾ Агентъ, слѣдившій за собраніями у Петрашевскаго (стр. 8, 9, 36) былъ Антонелли, родственникъ Липранди, чиновника министерства внутреннихъ дѣлъ, бывшій студентъ университета. Онъ оставилъ университетъ, по предложенію Липранди, нарочно для того, чтобы примкнуть къ кружку Петрашевскаго и затѣмъ выдать его.

Заключеніе это отбывалось имъ при столь тяжелыхъ условіяхъ, какъ совершенное отсутствіе прогулокъ (декабристовъ не выводили гулять даже по берегу Невы), лишеніе въ продолженіи пяти съ половиной мѣсяцевъ свиданій съ родными и переписки съ ними, неимѣніе возможности первое время что-либо читать и все время пользоваться постоянно письменными принадлежностями, весьма грязная обстановка (тараканы, мыши, невозможность стричь волосы), наконецъ запугиваніе при допросахъ смертною казнью. Все это довело Д. Д. до болѣзненнаго упадка духа и крайняго разстройства нервовъ, а это было причиною недостаточной твердости въ показаніяхъ, о которой съ такою искренностью онъ самъ рассказываетъ и которая сказалась и въ другихъ его товарищахъ. Смѣлѣе всѣхъ держалъ себя Петрашевскій, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока тюремное заключеніе не привело его къ временному психическому заболѣванію. Нѣкоторымъ оправданіемъ откровенности петрашевцевъ на допросахъ является то, что уже въ день ареста они узнали въ III отдѣленіи о томъ, что Антонелли предалъ ихъ. Нужно помнить также, что въ Николаевское время за неоткровенность на допросахъ налагали оковы на руки и ноги, какъ это дѣлали въ крѣпости съ нѣкоторыми декабристами и о чемъ уже былъ возбужденъ вопросъ относительно Спѣшнева¹⁾, а декабристовъ, повинныхъ въ упорствѣ, лишали обычной пищи и давали лишь хлѣбъ и воду, такъ что они совершенно ослабѣвали.

Въ высшихъ сферахъ скоро убѣдились, какъ видно изъ записокъ М. А. Корфа, что дѣло петрашевцевъ „отнюдь не имѣло ни такой важности, ни такого развитія, какія въ началѣ придали ему городскіе слухи... Покушеній или приготовленій къ бунту съ достовѣрностью открыто не было... Члены (слѣдственной комиссіи) называли это заговоромъ идей, чѣмъ и объясняли трудность дальнѣйшихъ раскрытій, ибо если можно обнаруживать факты, то какъ же уличать въ мысляхъ,

¹⁾ См. доклады о допросахъ петрашевцевъ въ „Русской Старинѣ“ 1905 г. № 2, стр. 313. (Къ сожалѣнію они напечатаны съ очень неисправной копій).

когда онѣ не осуществились еще никакимъ проявленіемъ, никакимъ переходомъ въ дѣйствія“ ¹⁾).

Ахшарумовъ не сообщаетъ подробныхъ свѣдѣній о томъ, къ какимъ наказаніямъ военный судъ приговорилъ всѣхъ его товарищей по дѣлу, такъ какъ приговоръ былъ въ свое время напечатанъ въ газетахъ ²⁾, а упоминаетъ лишь о нѣкоторыхъ ³⁾. Замѣтимъ, что Кашкина генераль-аудиторіатъ предложилъ, во вниманіе къ его молодости (20 л.), лишивъ всѣхъ правъ состоянія, сослать на житіе въ Холмогоры подъ строгій полицейскій надзоръ, но государь назначилъ его рядовымъ въ кавказскіе линейные батальоны.

Превосходное описаніе сцены произнесенія смертнаго приговора всѣмъ подсудимымъ, выведеннымъ на Семеновскій плацъ ⁴⁾, представляетъ не только самый замѣчательный эпизодъ воспоминаній Ахшарумова, но и вообще любопытнѣйшія страницы въ литературѣ нашихъ мемуаровъ, тѣмъ болѣе, что никто изъ его товарищей по дѣлу, если не считать нѣсколькихъ строкъ въ „Дневникъ писателя“ Достоевскаго, не описалъ этого ужаснаго момента въ ихъ жизни. Что касается описанія этой сцены въ запискахъ М. А. Корфа ⁵⁾, то въ письмахъ ко мнѣ Д. Д. Ахшарумовъ отмѣчаетъ цѣлый рядъ неточностей этого описанія. Такъ, по поводу словъ: „на Семеновскомъ плацу, передъ самымъ валомъ возвышалась нарочно устроенная платформа и на ней три столба“ Д. Д. говоритъ: „Платформа (покрытая чернымъ) стояла въ значительномъ отдаленіи отъ вала, который виденъ былъ вдали и на немъ стоялъ народъ. Свободное мѣсто отъ вала, примыкавшаго къ городу до платформы, было очень

¹⁾ „Русская Старина“ 1900 г. № 5, стр. 279—280.

²⁾ См. „Русскій Инвалидъ“ 1849 г. № 276 и „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1849 г. № 287.

³⁾ Относительно Спѣшневъ у автора „Воспоминаній“ (стр. 109) вкралась неточность. Спѣшневъ по конфирмаціи государя былъ осужденъ не на 20, а на 10 лѣтъ каторжной работы, вмѣсто 12, предложенныхъ генераль-аудиторіаторомъ. О дальнѣйшей судьбѣ Спѣшневъ см. мою статью въ энциклопедическомъ словарѣ Брокгауза и Ефрона.

⁴⁾ Черновитовъ отдался административною ссылкой. Не было ли у него могущественныхъ покровителей, связанныхъ съ нимъ дѣлами о золотопромышленности?

⁵⁾ „Русская Старина“ 1900 г. № 5, стр. 279—280.

просторно. Это были мѣста выѣзжавшихъ экипажей; присутствовало было очень много постороннихъ лицъ (военныхъ). Столбы были не на платформѣ, а на землѣ — саженей на десять и болѣе отъ платформы. Ихъ было не три, но много, очень много и не въ рядъ, а одинъ вслѣдъ за другимъ, — это мы всѣ видѣли и полагали, что всѣхъ будутъ привязывать. (Столбы были сѣраго цвѣта, какъ ободранные отъ коры дубовые стволы)“. Совершенно невѣрно, по словамъ Д. Д. Ахшарумова, и извѣстіе Корфа, что взшедшій на эшафотъ (платформу) священникъ (прежде чѣмъ дать имъ поцѣловать крестъ) поставилъ всѣхъ осужденныхъ на колѣни: „Мы бы вѣроятно и не встали“, прибавляетъ Д. Д. Невѣрно также, что „Петрашевскій самъ заковалъ себѣ руки и ноги“: „какъ могъ бы онъ самъ заковать себѣ руки? его и не заковывали по рукамъ“, говорить Ахшарумовъ¹⁾. Ахшарумовъ полагаетъ, что слезы Кашкина, о которыхъ упоминаетъ Корфъ, также вымышлены.

Генераль-аудиторіатъ предлагалъ сослать Филиппова и Ахшарумова въ каторжныя работы въ рудникахъ на 12 лѣтъ, но государь назначилъ ихъ въ арестанты инженернаго вѣдомства на четыре года, а потомъ въ рядовые на Кавказъ. Однако Ахшарумовъ пробылъ въ арестантскихъ ротахъ въ Херсонѣ не четыре, а полтора года. Этотъ періодъ его жизни подробно описанъ имъ во второй части воспоминаній. Затѣмъ въ 1851 году онъ былъ переведенъ рядовымъ на Кавказъ въ Малую Чечню въ 7-й линейный батальонъ, расположенный въ укрѣпленіи Анкой Сунженской линіи (около десяти миль отъ Владикавказа). Ахшарумовъ принималъ дѣятельное участіе во всѣхъ многочисленныхъ походахъ и экспедиціяхъ этого батальона. Разлученный съ родными, лишенный возможности удовлетворять стремленіямъ къ наукѣ, онъ очень тяготился своею долею и выразилъ свое грустное настроеніе въ

¹⁾ О жизни М. В. Бутаевича-Петрашевскаго въ Сибири см. въ статьяхъ о немъ: въ моей „Большой Энциклопедіи“ подъ редакціей С. Н. Южакова (т. IV, 134 — 135), и *Арефьева* въ „Рус. Стар.“ 1902 г. Отмѣчу, что объ датѣ смерти Петрашевскаго, указанной въ воспоминаніяхъ Ахшарумова (стр. 17 и 111) не точны: Петрашевскій умеръ не въ 1867 и не въ 1868 г., а 7 декабря 1866 года, 45 лѣтъ отъ роду, и не въ Минусинскѣ, а въ селѣ Бѣльскомѣ.

стихотвореніи „Тоска по родинѣ“ 1853 г., которое начинается такъ:

„Живу я, какъ узникъ, въ селеніи глухомъ,
„Въ ушельѣ Кавказа, средь дикой природы,
„И думаю съ жадной тоскою о томъ,
„Какъ катятся свѣтлыя невскія воды“.

Мечты постоянно уносятъ его на сѣверъ, гдѣ красуется „обитель труда и науки святая“.

Въ ноябрѣ 1854 г. Ахшарумова произвели въ унтеръ-офицеры, а въ 1856 г. (послѣ того, какъ онъ, по собственному желанію, былъ переведенъ въ находившійся на театрѣ войны въ азіатской Турціи Виленскій полкъ) — въ прапорщики. Въ слѣдующемъ году онъ вышелъ въ отставку и, несмотря на свои, 34 года, имѣлъ на столько силы воли и жажды знанія, что поступилъ на медицинскій факультетъ дерптскаго университета, а въ 1858 г. ему позволили перейти въ петербургскую медико-хирургическую академію. Въ это время съ нимъ познакомился мой братъ Михаилъ, который въ одномъ письмѣ отъ 4 августа 1858 г. писалъ: у В. С. Курочкина въ Муринѣ „познакомился съ семействомъ Ахшарумовыхъ (съ четырьмя изъ пяти братьевъ). „Старшій (Н. Д.) философъ и писатель, второй (Владиміръ) поэтъ, третій политико-экономъ и хозяинъ, послѣдній — сотоварищъ Петрашевскаго, сосланный въ арестантскія роты Херсона. Это необыкновенно способный молодой человекъ... послѣ каземата крѣпости провелъ два (1½) ужасные года въ Херсонѣ, затѣмъ протянулъ семилѣтнюю (6 л.) солдатскую лямку на Кавказѣ, участвовалъ въ 30 экспедиціяхъ, добился офицерства... вышелъ въ отставку — для чего бы вы думали? для того, чтобы поступить.... студентомъ въ медицинскую академію... Вотъ какія личности ссылаются у насъ въ Сибирь и въ арестантскія роты. Братья — образецъ дружбы... Ссылный Ахшарумовъ“, продолжаетъ М. И. Семевскій, „напомнилъ мнѣ другого несчастнаго товарища Петрашевскаго. Проведя 10 лѣтъ въ оренбургскихъ арестантскихъ ротахъ¹⁾, онъ въ чинѣ прапорщика поступилъ нынѣ въ

¹⁾ Тутъ, безъ сомнѣнія, рѣчь идетъ о товарищѣ Ахшарумова по университету, Ханыковѣ, который (вмѣсто 10 лѣтъ работы въ крѣпостяхъ) былъ назначенъ рядовымъ въ оренбургскіе линейные батальоны.

академію генеральнаго штаба. Третій воротился изъ ссылки для того, чтобы съ жаромъ принялся за литературную работу. Это А. (Н.) Плещеевъ, стихи и повѣсти котораго вы читаете въ „Русскомъ Вѣстникѣ“¹⁾).

Въ 1862 г. Ахшарумовъ окончилъ съ серебряною медалью курсъ медико-хирургической академіи и сохранилъ объ ней навсегда самое благодарное воспоминаніе. Онъ посвящаетъ ей много страницъ въ своей „Поэмѣ о рожденіи, жизни и смерти человѣка“ (1898 г.), изъ которой мы приведемъ слѣдующія строки:

«Пріютъ страдающихъ, обиженныхъ судьбою,
Куда скорбящіе идутъ со всѣхъ сторонъ,
Убѣжище больныхъ и тѣломъ, и душою,
Людей всѣхъ возрастовъ — дѣтей, мужчинъ и женъ.

Тебя ль не воспою, тобою восхищенный,
Твоею грудію питомецъ я вскормленный!
О, незабвенная навѣки, навсегда,
Обитель мирная науки и труда!“ (стр. 29—30).

Въ 1864 г. Ахшарумовъ отправился за границу съ цѣлью дополнить свое медицинское образованіе въ университетахъ берлинскомъ, парижскомъ, вѣнскомъ и пражскомъ. Въ физиологической лабораторіи проф. Дюбуа-Реймона въ Берлинѣ онъ произвелъ изслѣдованіе о дѣйствіи аконитина, которое и напечаталъ въ 1866 г. по-нѣмецки въ специальномъ журналѣ, издаваемомъ этимъ профессоромъ. Въ томъ же году онъ представилъ этотъ трудъ въ медико-хирургическую академію на русскомъ языкѣ и защитилъ ее, какъ диссертацию, на степень доктора медицины. Эта работа составляла цѣнный научный вкладъ и цитируется въ сочиненіяхъ по токсикологіи. Затѣмъ Ахшарумовъ служилъ въ петербургскомъ 2-мъ военно-сухопутномъ госпиталѣ, въ одесскомъ карантинѣ, въ каменецъ-подольской городской больницѣ, наконецъ въ Херсонѣ и затѣмъ съ 1873 по 1882 г. въ Полтавѣ въ должности губернскаго врачебнаго инспектора. Въ 1882 г. онъ вышелъ въ отставку.

Во время своей службы и послѣ нея Ахшарумовъ

¹⁾ Плещеевъ, по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, вмѣсто ссылки на поселеніе, былъ назначенъ рядовымъ въ оренбургскіе линейные батальоны.

напечаталъ много медицинскихъ работъ, причемъ наиболѣе интересовали его дифтеритъ, холера, оспа, сифилисъ и проституція. По отзыву врача-профессора М. Г. Герценштейна, „своею литературною и общественною дѣятельностью Д. Д. Ахшарумовъ приобрѣлъ лестную извѣстность среди русскихъ врачей. Не было въ теченіе послѣднихъ лѣтъ ни одного крупнаго общественно-санитарнаго дѣла, на которое онъ бы не отозвался съ особой чуткостью. Занимая многіе годы административную должность въ званіи губернскаго врача-инспектора, Ахшарумовъ всегда выказывалъ себя особеннымъ приверженцемъ земской медицины и въ ея успѣхахъ не только не видѣлъ посягательства на права администраціи, но, по мѣрѣ силъ и возможности, содѣйствовалъ ей въ рѣшеніи многихъ санитарныхъ общественныхъ вопросовъ. Одною изъ симпатичныхъ сторонъ этого общественнаго дѣятеля нужно признать его замѣчательную самостоятельность и твердость въ отстаиваніи своихъ убѣжденій. „Многочисленныя литературныя работы доктора Ахшарумова“, продолжаетъ проф. Герценштейнъ, „относятся не только къ различнымъ научнымъ вопросамъ, но еще болѣе касаются общественныхъ темъ. Во всѣхъ своихъ трудахъ онъ обнаруживаетъ широкую эрудицію, чрезвычайно добросовѣстное отношеніе къ мнѣніямъ своихъ противниковъ, никогда не игнорируя ихъ сильныхъ сторонъ и стараясь *sine ira et studio* всесторонне ознакомиться съ трактуемымъ предметомъ“).

Съ большимъ сочувствіемъ проф. Герценштейнъ относится къ труду Ахшарумова о „Сифилисѣ въ Полтавской губ.“ и особенно къ его многочисленнымъ работамъ о дифтеритѣ въ той же губерніи, о которыхъ даетъ такой отзывъ: „Это—образцовыя медико-статистическія изслѣдованія, произведенныя крайне добросовѣстно и всесторонне. Въ общемъ“, по свидѣтельству этого ученаго, „дѣятельность Д. Д. оставила широкій и весьма замѣтный слѣдъ въ русской санитарно-общественной литературѣ“).

*) „Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ“ Венгеровъ, т. I, 1889 г., стр. 883. Здѣсь перечислена большая часть трудовъ Д. Д. до 1886 г., но не упомянуты слѣдующія, изданныя въ то время: 1) „Болѣзнь злая корча Полтавской губ.“, 1881 г. и 2) „Холерныя эпидеміи Полтавской губ. съ 1830 по 1872 г.“; 1883 г.

Вопросу о проституціи Ахшарумовъ посвятилъ двѣ отдѣльно изданныхъ работы: 1) „Современный взглядъ на санитарное значеніе домовъ терпимости и осмотра проституткокъ“ (Полтава, 1886 г.) и 2) „Проституція и ея регламентація“. Докладъ „Обществу русск. врачей въ г. Ригѣ“ (Рига, 1889 г.), и, кромѣ того, онъ коснулся этого вопроса въ статьѣ „Бытовые вопросы на послѣднемъ сѣздѣ сифилидологовъ“, напечатанной въ „Новомъ Словѣ“ (1897 г., августъ). Для характеристики взглядовъ Ахшарумова на вопросъ о проституціи приведемъ лишь нѣкоторыя мѣста изъ его статьи.

Ахшарумовъ является горячимъ и убѣжденнымъ защитникомъ ученія аболиціонистовъ, сущность котораго состоитъ въ требованіи отмены регламентаціи проституціи. Его побуждаютъ къ этому какъ требованія гуманности, такъ и глубокое убѣжденіе не только въ совершенной нецѣлесообразности, но даже и въ большомъ вредѣ регламентаціи проституціи, по крайней мѣрѣ въ настоящемъ видѣ этой регламентаціи.

Приводя цѣлый рядъ фактовъ относительно того, какъ осуществляется надзоръ за проституціею въ Россіи, Ахшарумовъ спрашиваетъ:

„Какой же результатъ всего этого надзора? Какой можетъ быть результатъ такихъ мѣръ, съ одной стороны не выполняемыхъ по недостатку средствъ и вовсе невыполнимыхъ по непригодности къ тому грубой полицейской агентуры, а съ другой—столь унижающихъ, оскорбляющихъ женщину въ лицѣ несчастной проститутки?.. Конечно, при... неблагоприятныхъ и, можно сказать, фиктивныхъ, а въ большей части провинціальнхъ городовъ, постыдныхъ условіяхъ осмотра почти по всей Россіи (кромѣ Москвы,—такъ какъ и въ Петербургѣ въ центральномъ отдѣленіи накапливается до 300 человекъ и болѣе на одного врача, который долженъ осмотрѣть ихъ всѣхъ въ теченіе 4-хъ часовъ“, т. е. располагая временемъ менѣе одной минуты на каждую), „онѣ не могли принести никакой пользы. Прибавьте къ этому невыполнимость, за недостаткомъ больницъ и мѣстъ въ нихъ, обязательнаго для проституткокъ лѣченія, что... сифилисъ отличается частыми возвратами въ продолженіе многихъ годовъ и самый осмотръ не даетъ гарантіи отъ заразы, такъ какъ... онъ зависитъ отъ остроты зрѣнія и тонкости оснзанія изслѣдующаго, то что же останется въ защиту установленнаго надзора? Онъ не только никогда не приноситъ и не приноситъ никакой пользы, но ложной гарантіей здоровья развратной женщины въ теченіе 46 лѣтъ *) онъ привлекаетъ къ ней гораздо большее число посѣтителей, чѣмъ къ простой, скрытно ведущей свои дѣла съ немногими мужчинами женщиной, а гдѣ болѣе посѣтителей (такъ какъ мужчины не осматриваются) **), тамъ, разумѣется, и болѣе случаевъ зараженія“.

*) Надзоръ за проституціею введенъ въ Россіи въ 1843 г.

**) Несмотря на предписывающій такой осмотръ циркуляръ 11 ноября 1882 г.

Это послѣднее положеніе, т. е. значительно большее зараженіе сифилисомъ въ публичныхъ домахъ, чѣмъ отъ одиночекъ, Ахшарумовъ подтверждаетъ и свидѣтельствомъ нѣкоторыхъ врачей-специалистовъ, и статистическими данными, и на основаніи приведенныхъ имъ фактовъ дѣлаетъ такой выводъ: „Публичные дома, сосредоточивающіе въ себѣ заразу, состоящіе въ вѣдѣніи и подъ покровительствомъ правительства, являются позоромъ для государства. Правительство не можетъ гарантировать здоровье проститутки, — вотъ почему нынѣ существующіе легальные дома проституціи, разсадники заразы сифилиса и разврата, должны быть закрыты“. Съѣздъ сифилидологовъ высказалъ въ своихъ резолюціяхъ другое мнѣніе, а именно, что „наибольшую опасность въ отношеніи распространенія сифилиса и венерическихъ болѣзней представляетъ тайная (безконтрольная) проституція, какъ по численности, такъ и по значительному проценту среди нея больныхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями“¹⁾. Когда вопросъ о закрытіи домовъ терпимости былъ поставленъ на съѣздѣ сифилидологовъ (который призналъ необходимость регламентаціи проституціи), то большинство членовъ высказалось противъ этой мѣры въ настоящее время²⁾, однако, меньшинство на другой день подало особое мнѣніе, подписанное 146 членами³⁾. Въ подкрѣпленіе своего мнѣнія Ахшарумовъ указываетъ на то, что Германія въ 1871 г. закрыла дома терпимости, въ Австріи они также запрещены, Англія съ 1883 г. отмѣнила всю систему регламентаціи, а въ Америкѣ (Соединенныхъ Штатахъ) ея никогда не было. „Что касается до всей системы надзора за проституціею“, говоритъ Ахшарумовъ, „то всеми... одинаково признано, что она вполне

¹⁾ „Труды Высоч. разрѣшеннаго съѣзда по обсужденію мѣръ противъ сифилиса въ Россіи“, т. II, СПб., 1897 г., стр. XVII.

²⁾ Въ резолюціи съѣзда сказано: „Дома терпимости принципиально не желательны, но при условіи существующаго надзора они могутъ быть терпимы лишь до улучшенія надзора за проституціею вообще“. „Труды съѣзда“, т. II, стр. XXI.

³⁾ Меньшинство высказалось „отрицательно по вопросу о допущеніи, хотя бы временнаго, существованія въ Россіи домовъ терпимости съ вѣдома и подъ надзоромъ властей, такъ какъ“ оно признаетъ „подобныя учрежденія по самому существу безнравственными и нисколько не достигающими цѣли въ борьбѣ съ сифилисомъ“. „Труды съѣзда“, II, стр. 160.

неудовлетворительна, и вся организація ея подлежитъ существенному измѣненію“. Однако, онъ не отрицаетъ исполнѣ необходимости надзора за проституціею. По его словамъ: „Выработать новую организацію системы“ такого надзора „предстоитъ будущему. Въ основаніе ея должны лечь принципы гуманности и всѣ унижительныя отношенія должны быть сняты“¹⁾.

Слѣдуетъ признать, мы полагаемъ, справедливымъ мнѣніе, что при рѣшеніи вопроса объ уничтоженіи домовъ терпимости нельзя руководствоваться одними санитарными соображеніями, притомъ же основанными на сомнительныхъ данныхъ о сравнительно большей заболеваемости отъ одиночекъ. Одного уже того, что эти дома построены на принципѣ физическаго насилія надъ женщинами, которыя обязаны принимать посѣтителей, притомъ нерѣдко въ такомъ количествѣ, что это становится своего рода пыткой, достаточно для того, чтобы высказаться за уничтоженіе этихъ притоновъ, котораго такъ же требуетъ развитіе гуманности, какъ и полного, окончательнаго, безъ всякихъ исключеній, уничтоженія тѣлесныхъ наказаній. Что касается будущихъ формъ надзора за проституціею, то мы приведемъ мнѣніе по этому вопросу сторонника аболиціонизма, доктора Блашко, автора книги „Syphilis und Prostitution“.

Онъ утверждаетъ, что при современномъ капиталистическомъ строѣ „полное оздоровленіе проституціи“ относится къ области утопій. „Но, кое чего можно было бы, пожалуй, достигъ отдѣленіемъ санитарной полиціи отъ полиціи нравовъ, отмѣной всей регламентаціи и списковъ, и упраздненіемъ періодическихъ осмотровъ“. вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ предлагаетъ предоставить всѣмъ заболѣвшимъ сифилисомъ женщинамъ и дѣвушкамъ возможность добровольнаго лѣченія, не связаннаго ни съ какими полицейскими хлопотами. Онъ допускаетъ принудительный осмотръ лишь для тѣхъ лицъ обоего пола, которые: „1) подозрѣваются въ распространеніи заразы; 2) обвиняются въ преступленіи противъ нравственности и особенно для тѣхъ, 3) кто своимъ гнуснымъ поведеніемъ нарушаетъ общественное благоустройство... Если дѣвушка оказывается больной“, то „общество заинтересовано въ томъ, чтобы подвергнуть ее принудительному лѣченію, а по выходѣ изъ больницы — періодическимъ осмотрамъ по усмотрѣнію врача“. Но гораздо важнѣе тѣ средства, которыми можно бороться противъ самаго существованія проституціи. „Если бы удалось“, говоритъ д-ръ Блашко, „увеличить потребительную силу народа, поднять его благосостояніе, а этимъ самымъ понизить его средній брачный возрастъ, улучшить экономическое и правовое положеніе женщины, что вызвало бы, въ свою очередь, болѣе приличное отношеніе къ ней со стороны мужчины, если бы удалось все это провести въ жизнь, то первый и самый важный шагъ былъ бы сдѣланъ... Свобода союзовъ

¹⁾ „Новое Слово“, 1897 г., августъ, стр. 87—95.

покровительство избраннымъ дѣтямъ, устройство хорошихъ квартиръ для семейныхъ и холостыхъ рабочихъ, борьба противъ алкоголизма, облагораживаніе народныхъ нравовъ путемъ сокращенія рабочаго дня и увеличенія часовъ для отдыха, хорошія, доступныя книги, устройство читальни, народныхъ театровъ, содѣйствіе развитію спорта,—всѣ эти и многія другія подобныя средства, способствующія повышенію экономическаго, умственнаго и нравственнаго уровня народа, вотъ вѣрный путь къ уменьшенію сиротъ на проституцію, а слѣдовательно и преступленій ея**).

И въ Россіи постепенно возрастаетъ число сторонниковъ аболиціонизма, столь горячо защищаемаго Ахшарумовымъ. Въ иномъ положеніи находится вопросъ объ оспопрививаніи, противникомъ котораго онъ является и которому онъ посвятилъ двѣ работы: 1) „Записка объ оспопрививаніи, читанная въ засѣданіи 16-го сент. 1883 г. 2-го съѣзда земскихъ врачей Полтавской губ.“ (Полтава, 1884 г.) и 2) „Оспопрививаніе, какъ санитарная мѣра“ (Вольскъ, 1901 г.). Число противниковъ оспопрививанія весьма не велико.

Живя въ Полтавѣ, Ахшарумовъ создалъ тамъ Общество врачей, котораго былъ сначала предсѣдателемъ, а потомъ почетнымъ членомъ. Въ 1888 г. Д. Д. перѣхалъ на жительство въ Ригу, гдѣ также состоялъ одно время предсѣдателемъ Общества русскихъ врачей и читалъ публичныя лекціи (съ благотворительными цѣлями) по исторіи эпидемій¹⁾ Въ Ригѣ Д. Д. частенько хворалъ и былъ сильно потрясенъ смертью своего друга Н. М. Дебу († 19-го декабря 1890 г.), свиданія съ которымъ при поѣздкахъ въ Петербургъ и въ имѣніе, которое Дебу купилъ незадолго до смерти, доставляли ему большую отраду. Сообщая мнѣ о смерти своего друга, Д. Д. писалъ: „Извѣстіе это меня тяжело огорчило. Хотя я и зналъ, что болѣзнь его серьезна, но онъ переносилъ ее, и мы надѣялись еще пожить хоть нѣсколько лѣтъ вмѣстѣ,—теперь эта надежда рушилась, и я остался одинокимъ. Изъ нашихъ петрашевцевъ остались теперь Плещеевъ, Капкинъ и Момбелли, но съ ними я мало знакомъ, а Дебу былъ для меня самый близкій человекъ, и мы шли всю жизнь вмѣстѣ. Не знаю, какъ буду я жить теперь чувствуя себя вполне одно-

¹⁾ Д-ръ А. Блашко. „Проституція начала XX вѣка“. „Современная библиотека“, изд. Малышъ, № 26, стр. 40—46.

²⁾ Въ 1900 г. Ахшарумовъ издалъ въ Полтавѣ книгу: „Чума послѣднихъ годовъ XIX столѣтія (1894—1900 г.)“.

кимъ и какъ бы безпомощнымъ... Смерть Дебу погрузила меня въ глубокую тоску и уныніе". Тѣмъ не менѣе, говоря вообще, Д. Д. отличается большимъ запасомъ жизненной энергіи. Не разъ писалъ онъ мнѣ: „Хотѣлось бы еще пожить, — меня многое интересуетъ въ жизни, очень многое“.

Вслѣдствіе своей отзывчивости къ общественнымъ нуждамъ, своей необыкновенной гуманности, своей кристальной честности Д. Д. Ахшарумовъ вездѣ возбуждалъ къ себѣ глубокое уваженіе и горячее сочувствіе. Такъ было и въ Ригѣ, и потому естественно, что, когда его знакомые и почитатели задумали отпраздновать 14-го мая 1893 г. достиженіе имъ 70-ти-лѣтія, то „это чествованіе... приняло характеръ внушительнаго общественнаго праздника“: были прочитаны адреса отъ знакомыхъ и почитателей, отъ рижскихъ русскихъ врачей, отъ учащейся молодежи и отъ мѣстнаго научно-техническаго кружка. Получены были привѣтственныя телеграммы отъ В. А. Манассеина, проф. Мерзеевскаго и многихъ другихъ лицъ. Докторъ Шенилевскій указалъ въ своей рѣчи на научныя заслуги Д. Д., на широкую постановку всѣхъ вопросовъ, которые онъ разрабатывалъ: „во всѣхъ своихъ общественно-санитарныхъ изслѣдованіяхъ Д. Д. всегда былъ поборникомъ самыхъ строгихъ требованій гігіены не только тѣла, но и души; въ нераздѣльности этихъ требованій онъ видитъ единственное спасеніе отъ общественно санитарныхъ золъ“. Другой ораторъ, М. И. Ларіоновъ, подчеркнул благодѣтельный примѣръ, который даетъ неутомимый и въ старческіе годы работникъ молодому поколѣнію. Въ заключеніе юбиляра снесли на рукахъ внизъ по лѣстницѣ и усадили въ карету ¹⁾).

Глубокое уваженіе и горячее сочувствіе всѣхъ лицъ, знающихъ его лично или почитающихъ его научную дѣятельность, проявившіяся при празднованіи юбилея Д. Д., не могли не поддержать его энергію. Это сказывалось, напр., въ такомъ фактѣ, какъ личное участіе его (на 74-мъ году жизни) въ сифилидологическомъ

¹⁾ „Врачъ“ 1893 г. № 28, стр. 803—804. Портретъ Д. Д. былъ помещенъ во „Врачъ“ 1893 г. № 31, стр. 875.

сѣздѣ въ Петербургѣ, въ январѣ 1897 г., результатомъ котораго со стороны Д. Д. явилась цитированная статья въ „Новомъ Словѣ“. Посѣщенія собраній сѣзда не прошли ему, однако, даромъ. Живя въ Петербургѣ, онъ писалъ мнѣ (26-го янв. 1897 г.): „Послѣ сѣзда заболѣлъ... 7 дней, утромъ отъ 10-ти до 3-хъ часовъ и вечеромъ отъ 8-ми до 12-ти ночи, крайне утомили меня. Помѣщеніе просто невозможное — залъ душный (гдѣ человѣкъ 500 народа) и затѣмъ корридоры и комнаты совсѣмъ холодныя. Я принималъ горячее участіе въ этомъ сѣздѣ и раньше конца уйти не могъ, за то теперь въ лихорадочномъ состояніи“. Въ этомъ же письмѣ Д. Д. говоритъ: „замѣчательно, что всѣ редакціи получили запрещеніе печатать о сѣздѣ, помимо цензора, самого Р.! Теперь, вѣроятно, уже можно печатать. Они очень озабочены и боятся распространенія абolicіонизма, вредный образъ мыслей“ сторонниковъ котораго „(упраздненіе публичныхъ домовъ!) проявился на сѣздѣ въ значительной степени“.

Послѣ того, какъ его сынъ окончилъ курсъ въ рижскомъ политехникумѣ, Д. Д. покинулъ Ригу и нѣсколько позднѣе поселился въ Полтавѣ. Несмотря на нерѣдкія болѣзни, вызвавшія въ 1899 г. тяжелую операцію, Д. Д. не оставлялъ научной дѣятельности, и въ октябрѣ того же года предпринялъ поѣздку въ Кременчугъ для спеціального медицинскаго доклада въ Обществѣ кременчугскихъ врачей, почетнымъ членомъ котораго онъ состоитъ съ 1898 г. Въ докладѣ этомъ, по свидѣтельству мѣстнаго органа печати, Д. Д. „выказалъ многостороннюю эрудицію, а въ послѣдующихъ дебатахъ замѣчательную свѣжесть и гибкость ума и неослабѣвающий интересъ къ научнымъ вопросамъ“, несмотря на свои 76 лѣтъ. Докладъ возбудилъ большой интересъ и признательность товарищей Ахшарумова по Обществу ¹⁾. Черезъ полгода Д. Д. вновь сѣздалъ въ

¹⁾ „Полтавскія Губ. Вѣдом.“ 1899 г. № 232, 28 окт. Въ 1904 г. въ вѣмцкомъ медицинскомъ журналѣ (Therapeutische Monatshefte, № 1) Д. Д. напечаталъ статью „О возможности успѣшнаго противодѣйствія старческой глухоты, зависящей отъ измѣненій слизистыхъ оболочекъ, выстилающихъ полости и каналы внутреннего уха“, русскій оригиналъ которой былъ напечатанъ во „Врачебномъ Вѣстникѣ“, 1904 г., № 8. Статья эта переведена на англійскій языкъ въ одномъ журналѣ, издаваемомъ въ Нью-Йоркѣ.

Кременчугъ на юбилей одного извѣстнаго въ медицинскомъ мѣрѣ общественнаго дѣятеля-врача.

Въ 1902 г. Ахшарумова постигла новая болѣзнь: вслѣдствіе ушиба за годъ передъ тѣмъ въ вагонѣ правой руки, у него обнаружилось страданіе двухъ суставовъ средняго пальца, вызвавшее необходимость его отнятія. Операция была сдѣлана въ Харьковѣ, и вскорѣ Д. Д., желая работать надъ продолженіемъ своихъ „Воспоминаній“, сталъ привыкать писать безъ средняго пальца правой руки, и скоро писалъ такимъ же твердымъ почеркомъ, какъ и прежде.

Несмотря на нерѣдкія болѣзни, на всѣ злоключенія физическія, а также и матеріальныя, иногда невольно чувствуя упадокъ духа, особенно въ виду тѣхъ тревогъ, которыя ему пришлось пережить по поводу печатанія его воспоминаній, о чемъ будетъ рѣчь ниже, Д. Д. все же не утрачивалъ дѣятельнаго отношенія къ жизни. Въ 1893 г. (послѣ того, какъ ему исполнилось 70 лѣтъ) онъ писалъ мнѣ: „Здоровье... плохо, но все же не теряю надежды, бодрюсь, сколько могу, лечу себя и дѣлаю все, что въ моей власти, чтобы уберечь силы и продлить жизнь, которая кажется мнѣ, съ болѣе старыми годами, еще болѣе интересною“. А какою душевною молодостью вѣетъ отъ слѣдующихъ строкъ письма ко мнѣ въ 1896 г. Д. Д., въ то время почти 73-лѣтняго старика: „Чѣмъ старше человѣкъ, чѣмъ дольше живетъ, тѣмъ все, болѣе задумывается о самыхъ существенныхъ вопросахъ жизни, и, предаваясь усиленно размышленіямъ о смыслѣ нашей жизни, онъ впадаетъ часто въ религіозный бредъ. Примѣры тому мы видимъ въ нашихъ писателяхъ (Толстой, Гоголь, отчасти Достоевскій), а изъ обыкновенныхъ людей, безъ сомнѣнія, таковыхъ множество—предавшихся хожденію по подворьямъ и пропавшихъ для общества! Не думаю, чтобы со мной что либо подобное могло случиться: я слишкомъ люблю жизнь и проникнуть ненавистью ко всякой рутинѣ“.

Здравствующій и понынѣ Д. Д. (ему скоро исполнится 82 года) вынужденъ обстоятельствами жить по прежнему въ Полтавѣ, хотя онъ и стремится перебраться въ другое мѣсто: для его широкихъ умственныхъ интересовъ тѣсно тамъ; ему хотѣлось бы жить

въ городѣ „болѣе оживленномъ“. Въ 1901 году, онъ указывалъ мнѣ на то, что интересуясь, какъ врачъ, кромѣ общей литературы, и специально медицинскою, онъ страдаетъ въ Полтавѣ отъ отсутствія большихъ библіотекъ: „я чувствую въ этомъ отношеніи *научный голодъ*“, писалъ онъ мнѣ. Едва ли многимъ удастся сохранить такую горячую любовь къ наукѣ въ столь преклонные годы!

Говоря о послѣднихъ двадцати годахъ жизни Д. Д. мы не говорили еще вовсе о его работѣ надъ однимъ трудомъ, который всего болѣе занималъ его, но вмѣстѣ съ тѣмъ вызывалъ и болѣе всего тревоженій: мы разумѣемъ его „Воспоминанія“. Первые строки ихъ были написаны въ 1870 г., но вернуться къ этой работѣ, на которую авторъ смотрѣлъ какъ на свой долгъ, онъ былъ въ состояніи лишь чрезъ 14 лѣтъ. Большою нравственною поддержкою при продолженіи „Воспоминаній“ послужилъ для Д. Д. тотъ горячій интересъ, который обнаружилъ къ нимъ В. В. Лесевичъ, переселившійся изъ Сибири въ Полтаву, гдѣ и познакомился съ Д. Д. Въ мартѣ 1885 г. та часть „Воспоминаній“, которая посвящена участію автора въ кружкѣ петрашевцевъ, тюремному заключенію и описанію слѣдствія, суда и произнесенія приговора, была уже окончена.

Не рассчитывая на возможность напечатанія своихъ „Воспоминаній“ при жизни, Д. Д. отдалъ рукопись написанной имъ первой части редактору „Русской Старины“, М. И. Семеvскому, съ условіемъ напечатать ее лишь послѣ его смерти. Тѣмъ не менѣе въ январской книжкѣ этого журнала за 1887 г. должна была появиться въ свѣтъ статья, подъ заглавіемъ „Воспоминанія одного изъ заключенныхъ въ 1849 г.“, имя автора которыхъ было обозначено тремя звѣздочками. Это была первая часть воспоминаній Д. Д., кромѣ описанія знаменитой сцены на Семеновскомъ плацу. Редакторъ такимъ образомъ нарушилъ волю Д. Д.; оправдать этого, конечно, нельзя, но нѣкоторымъ извиненіемъ тому насилію, которое М. И. Семеvскій учинилъ надъ авторомъ, былъ живой интересъ воспоминаній и желаніе доставить читателямъ своего журнала удовольствіе прочесть ихъ. Еще за нѣсколько мѣсяцевъ до выхода въ свѣтъ январской книги

1887 г. братъ говорилъ мнѣ, что скоро у него появится произведеніе очень большого интереса, но дѣлать секретъ изъ того, чѣмъ онъ думаетъ порадовать публику. Однако надежды редактора „Русской Старины“ не осуществились: книжка журнала была задержана, и воспоминанія Д. Д. вырѣзаны изъ нея. Ахшарумовъ былъ глубоко взволнованъ этимъ нарушеніемъ своей воли и потребовалъ рукопись „Воспоминаній“ обратно. По смерти М. И. Семевского въ 1892 г., въ архивѣ редакціи оказалась еще копія воспоминаній, которую Д. Д. чрезъ своего брата, романиста Н. Д., вытребовалъ оттуда и при томъ, чрезъ Литературный Фондъ, такъ сказать официально, заявивъ редакціи о своемъ нежеланіи, чтобы воспоминанія его были когда либо напечатаны въ „Русской Старинѣ“. Возвращая копію „Воспоминаній“, тогдашній редакторъ журнала, Н. К. Шильдеръ сказалъ: „Я просидѣлъ надъ нею, не отрываясь, всю ночь“; но вмѣстѣ съ тѣмъ высказалъ мысль о невозможности напечатать ее при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ.

Послѣ инцидента 1887 г., отчаявшись въ возможности напечатать свои воспоминанія при жизни, Д. Д. сначала лишь изрѣдка находилъ въ себѣ силу воли продолжать ихъ. Въ началѣ 1900 года я возбудилъ вопросъ о томъ, не попробоватъ ли напечатать ихъ въ „Вѣстникѣ Европы“. Д. Д. былъ очень обрадованъ моимъ письмомъ, но отнесся довольно скептически къ возможности осуществленія этого предположенія. Онъ находилъ, употребляя въ этомъ письмѣ термины нѣкогда столь дорогого ему фурьеризма, что, хотя со времени первой попытки прошло много лѣтъ (13), „мы мало ушли впередъ съ тѣхъ поръ и *mouvement ascendant* (Fourier) въ долгомъ ходѣ прогресса человѣческой жизни еще не выдвинулось восходящею, выступающею дугою надъ уровнемъ послѣдняго ея пониженія. Я живу только надеждою (безъ надежды не можетъ жить человѣкъ) на лучшее, но я, до вашего послѣдняго письма, не считалъ возможнымъ при жизни моей напечатаніе моихъ записокъ и присвоилъ уже имъ названіе „посмертныхъ“. Далѣе Д. Д. писалъ: „если редакція „Вѣстника Европы“ напечатаетъ ихъ, это будетъ для меня

какъ бы снятіе крышки, захлопнувшей мои лучшія жизненныя дѣла; я ободрюсь, сосредоточусь вновь мыслями и можетъ быть возымѣю смѣлость спуститься вновь въ глубокія катакомбы и извлечь оттуда отцвѣтающіе въ моей памяти все болѣе образы и звуки давно прошедшаго... Мнѣ рано еще умирать, хочется жить и еще есть во мнѣ горячія желанья и неоконченные задуманные труды“.

Однако дѣло печатанія мемуаровъ пошло не совсемъ гладко: редакция „Вѣстника Европы“ первоначально усомнилась въ возможности напечатанія записокъ Ахшарумова, „при всемъ интересѣ ихъ содержанія“, и полагала, что легче будетъ помѣстить ихъ въ какомъ-нибудь специальномъ историческомъ изданіи. Послѣ этого я думалъ было издать „Воспоминанія“ Д. Д. прямо отдѣльною книгою, безъ предварительной цензуры, но счесть это по тогдашнимъ цензурнымъ условіямъ рискованнымъ, и рукопись Ахшарумова была вновь передана мною въ іюнѣ 1900 г. въ редакцію „Вѣстника Европы“ съ просьбою напечатать ихъ въ возможно полномъ видѣ. Прошло однако не мало времени, пока наступилъ удобный моментъ для печатанія „Воспоминаній“, и авторъ, въ письмахъ ко мнѣ, выражалъ даже опасеніе что ему не удастся дожить до этого времени. Благопріятнымъ прецедентомъ для появленія въ свѣтъ записокъ Ахшарумова было напечатаніе въ сборникъ въ честь Н. К. Михайловскаго „На славномъ посту“ (1900 г.) моей большой статьи о петрашевцахъ, и въ половинѣ сентября 1901 г. я получилъ извѣстіе, что въ ноябрьской книжкѣ „В. Е.“ появится начало „Воспоминаній“ Ахшарумова, при чемъ высказывалась неуверенность въ томъ, не замедлитъ ли это выходъ въ свѣтъ книжки. Однако судьба на этотъ разъ пощадила автора, и первая часть его воспоминаній появилась въ двухъ книжкахъ одного изъ наиболѣе уважаемыхъ журналовъ. Затѣмъ въ 1903 г. въ Бреславлѣ вышелъ нѣмецкій переводъ первой части „Воспоминаній“ Ахшарумова, сдѣланный съ полной рукописи автора подъ его редакцію ¹⁾ съ небольшимъ предисловіемъ, гдѣ были сообщены главнѣйшіе факты жизни автора.

¹⁾ Dr. Achscharumow. Memoiren. Breslau. 1903, VIII—221 s. Панѣ

Однако тревоженія, связанныя съ печатаніемъ первой части воспоминаній Ахшарумова, далеко не ограничились всѣмъ указаннымъ выше. Задумавъ отдѣльно издать эту часть своего труда, авторъ не рѣшился печатать ее безъ предварительной цензуры, не желая рисковать своими скудными средствами, и потому, въ апрѣлѣ 1902 г., чрезъ одного родственника, представилъ ее въ с.-петербургскій цензурный комитетъ. Цензоръ, которому было поручено разсмотрѣніе представленнаго оригинала, продержалъ его 7 мѣсяцевъ, все обѣщая пропустить „Воспоминанія“, и въ концѣ концовъ положилъ такую резолюцію: „Въ рукописи автора хотя и нѣтъ ничего предосудительнаго, но всякія воспоминанія петрашевца, хотя бы и самыя невинныя, считаю неудобнымъ распространять въ народѣ дешевымъ изданіемъ, а потому полагаю допустить изданіе въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ (200) безъ права продажи“. Родственникъ Д. Д. Ахшарумова жаловался на положенную цензоромъ резолюцію въ Главное Управленіе по дѣламъ печати и просилъ снять это ограниченіе. Главное управленіе не только не исполнило этой просьбы, но совершенно не разрѣшило изданія рукописи. Оригиналъ былъ возвращенъ родственнику автора, со взятіемъ подписки, что онъ не будетъ болѣе просить о дозволеніи его печатанія. Однако на рукописи сохранилось разрѣшеніе печатать ее въ 200 экземплярахъ. Исключивъ изъ нея нѣкоторыя сомнительныя мѣста, авторъ напечаталъ ее въ типографіи г. Вольска (Саратовской губ.), гдѣ онъ гостилъ у своего сына. Книжка эта подъ заглавіемъ „Д. Д. Ахшарумовъ. Изъ моихъ воспоминаній 1849 г.“ (113 стр.) была отпечатана въ 200 экземплярахъ съ цензурною помѣткою: „Печатать не болѣе 200 экземпляровъ и не для продажи. Дозволено цензурою С.-Петерб. 7 сентября 1902 г.“ Печатаніе было окончено въ августѣ 1903 г. и послано въ петербургскій цензурный комитетъ для полученія разрѣшенія на выпускъ изданія, но до марта 1904 г. никакого отвѣта полу-

въ 1902 г., этотъ переводъ появился въ одномъ нѣмецкомъ журналѣ. Авторъ радовался, что наша иностранная цензура пропустила его, ничего не замазавъ въ текстѣ; пропущено было также и отдѣльное изданіе на нѣмецкомъ языкѣ.

чено не было. Когда справились въ цензурномъ комитетѣ, онъ сослался на подписку, данную родственникомъ автора (безъ его полномочія), которую тотъ далъ лишь потому, что полагалъ невозможнымъ и крайне убыточнымъ для автора печатаніе воспоминаній въ столь незначительномъ количествѣ. Въ апрѣлѣ 1904 г. Д. Д. послалъ подробное прошеніе въ Главное Управленіе по дѣламъ печати, гдѣ просилъ разрѣшенія получить изъ типографіи напечатанные экземпляры и дозволенія издать ту же книгу безъ ограниченія числа экземпляровъ и права продажи, однако въ августѣ того же года получилъ извѣщеніе, что напечатанные 200 экз. разрѣшено выпустить изъ типографіи безъ права продажи, что же касается ходатайства о разрѣшеніи издать эту книгу въ непродолжительномъ времени безъ ограниченія числа экземпляровъ, то оно было признано неподлежащимъ удовлетворенію. Таковы были огорченія, связанныя съ печатаніемъ воспоминаній для автора, доживавшаго тогда восьмой десятокъ лѣтъ. Въ ноябрѣ 1904 г. Д. Д. написалъ по этому дѣлу новое письмо къ начальнику по дѣламъ печати, и на этотъ разъ очень скоро получилъ отвѣтъ, что его рукопись, подъ заглавіемъ „Изъ моихъ воспоминаній 1849 г.“ разрѣшена къ печати „безъ всякихъ ограниченій“. Такимъ образомъ прошло 14 лѣтъ со времени первой попытки редакціи „Русской Старины“ напечатать эти воспоминанія до появленія ихъ въ „Вѣстникѣ Европы“ и 17 лѣтъ до разрѣшенія ихъ къ отдѣльному изданію безъ ограниченій.

Но даже этимъ не покончились злословія Ахшарумова съ его воспоминаніями. Мы видѣли, что онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы послѣ инцидента 1887 г. оградить себя отъ печатанія его воспоминаній въ „Русской Старинѣ“: какъ мы уже сказали, оригиналъ и копія рукописи были взяты изъ редакціи журнала и, при посредствѣ Литературнаго фонда, было заявлено редакціи отъ имени автора запрещеніе печатать его произведеніе. И вотъ, въ сентябрьской книжкѣ „Русской Старины“ 1903 г. была перепечатана, да еще съ цензурными сокращеніями, часть того, что было когда то помѣщено въ „Русской Старинѣ“ 1887 г., но не появилось въ свѣтъ

по цензурнымъ причинамъ и что гораздо полнѣе уже было напечатано въ „Вѣстникъ Европы“ въ 1901 г. Нельзя, конечно, сомнѣваться въ томъ, что редакторъ этого журнала, академикъ Н. О. Дубровинъ, погрѣшилъ противъ литературныхъ правъ Ахшарумова не по злему умыслу, а по невѣдѣнію: найдя вырѣзанный цензурою печатный экземпляръ воспоминаній Д. Д. въ архивѣ редакціи, онъ захотѣлъ эксплуатировать интересный матеріалъ, произведя въ немъ нѣкоторыя цензурныя урѣзки. Но не характерно ли, что редакторъ „Русской Старины“ не зналъ, что мемуары, вызвавшіе уже не мало, отзывовъ въ печати, недавно появились въ столь извѣстномъ и распространенномъ журналѣ, какъ „Вѣстникъ Европы“. Это можно объяснить только тѣмъ, что покойный академикъ былъ обремененъ слишкомъ большимъ количествомъ работы вслѣдствіе стремленія къ совмѣстительству многихъ должностей. Д. Д. Ахшарумову пришлось вновь протестовать противъ нарушенія его литературныхъ правъ, и перепечатка его произведенія въ „Русской Старинѣ“ была прекращена.

Напечатаніе его воспоминаній о 1849 г. въ „Вѣстникъ Европы“ дало Ахшарумову силы для описанія его пребыванія въ арестантскихъ ротахъ, и эта часть его труда была напечатана въ „Мірѣ Божьемъ“ (1904 г. №№ 1—3).

Для настоящаго изданія вторая часть „Воспоминаній“ дополнена авторомъ, а первая печатается безъ измѣненій съ непоступившаго въ продажу изданія 1903 г. Отъ вниманія къ этому труду читающей публики будетъ зависѣть, найдетъ ли въ себѣ силы глубокоуважаемый авторъ описать и время своей солдатской службы на Кавказѣ. Мы не сомнѣваемся, что эти мемуары будутъ имѣть широкое распространеніе, такъ какъ наше образованное общество всегда обнаруживало величайшій интересъ къ воспоминаніямъ людей, пострадавшихъ за свои убѣжденія.

В. Селевскій.

Воспоминанія былого лежатъ у меня на сердцѣ. Принимаясь за эти строки, я исполняю мое давнее желаніе, которое откладывалъ все въ ожиданіи болѣе покойнаго времени, но оно не настаетъ! Ожиданія человѣка вообще рѣдко исполняются, а какія-то обстоятельства непредвидѣнныя, какъ бы случайныя, ворочаютъ жизнью. До сихъ поръ (1870) у меня нѣтъ ни времени достаточно свободнаго, ни уголка спокойнаго и уединеннаго, гдѣ бы могъ я предаться давно интересующему меня труду. Занятія мои и отдыхи всѣ безпрестанно прерываемы,—они производятся урывками. Иногда, однако же, выпадаютъ болѣе покойные дни, въ которые, вспоминая прошедшую жизнь мою, я невольно удивляюсь, какъ все измѣнилось и приняло совсѣмъ иной видъ по отношенію къ прошедшему, какъ могла произойти столь большая перемена, послѣ пережитаго уже мною! Это прожитое мною не представляетъ чего-либо особеннаго. но на долю мою выпали тяжелые, очень тяжелые годы.

Воспоминанія былого лежатъ у меня на сердцѣ.

I.

Жизнь моя текла мирно и покойно до двадцатипятилѣтняго возраста, когда я былъ, въ одинъ день, по обстоятельствамъ, почти отъ меня независѣвшимъ, лишенъ свободы и заключенъ безвыходно въ одинокое жилище, отдѣленное снутри толстою, окованною желѣзомъ, дверью и снаружи желѣзною рѣшеткою у окна. Это было въ Петербургѣ, въ 1849 году, въ концѣ апрѣля, когда начинали зеленѣть деревья. Я помню этотъ день: поздно вечеромъ стемнѣло, я ѣхалъ отъ Цѣпнаго моста въ каретѣ, не зная куда меня везутъ. Мосты на Невѣ были разведены и объѣздъ былъ долгій. Я былъ въ легкой одеждѣ теплаго весенняго дня, и мнѣ было свѣжо,—жутко и тяжело на душѣ. Послѣ продолжительной ѣзды, черезъ Васильевскій островъ, Тучковъ мостъ и Петербургскую сторону, карета въѣхала въ крѣпость и остановилась. Было совершенно темно. Въ сопровожденіи двухъ человекъ я переходилъ какой-то мостикъ и за нимъ темные своды; потомъ введенъ былъ въ корридоръ полуосвѣщенный; въ корридорѣ передо мною отворилась толстая дверь въ боковую темную комнату, — мнѣ предложили въ нее войти: темнота, спертый воздухъ, неизвѣстность, куда я вошелъ, произвели на меня потрясающее впечатлѣніе; я потребовалъ свѣчу. Желаніе мое было исполнено сейчасъ же, и я увидѣлъ себя въ маленькой, узкой комнатѣ, безъ мебели, — у стѣны стояла кровать, накрытая одѣяломъ сѣраго солдатскаго сукна, табуретка и ящикъ. Затѣмъ мнѣ предложено было раздѣться совершенно и надѣть длинную рубашку изъ грубаго подкладочнаго холста и изъ такого же холста сшитые, высокіе, выше колѣнъ, чулки. Мнѣ

указали на туфли и на халатъ изъ сѣраго сукна. Платье мое и всѣ вещи, бывшіе на мнѣ, были у меня взяты. По просьбѣ моей оставлена была у меня только моя холодная шинель. Затѣмъ, зажжена была на окнѣ какая-то свѣтильня, висящая съ края глинянаго блюдечка; свѣча унесена, дверь захлопнулась на ключъ и я остался одинъ въ полумракѣ, въ изумленіи и въ страхѣ отъ того, что со мною случилось. Я сидѣлъ на кровати, смотря на тяжелую дверь, въ которой нѣсколько секундъ еще ворочался ключъ, запиравшій меня, потомъ слышны были шаги уходящихъ людей и гремѣвшая связка большихъ ключей.

Смутное чувство убійственной тоски, мрачныя зловѣщія предчувствія овладѣли мною, — мнѣ казалось я стою на порогѣ конца моей жизни; нѣсколько минутъ я былъ безъ мысли, какъ бы ошеломленный ударомъ въ голову. Опомнившись нѣсколько, я сталъ осматриваться, но обстановка вся была столь мала и отвратительна, что я вновь погрузился въ свои мысли: «неужели это и конецъ моей жизни», думалъ я. Причина, подвергшая меня заключенію, была мнѣ извѣстна; я былъ, въ то время, совершенный юноша, несмотря на мой 25-лѣтній возрастъ, мечтающій, увлекающійся, исполненный горячихъ и несбыточныхъ желаній, то болѣзненно оживленный, то такъ же быстро упадающій духомъ. На душѣ не было ни угрызенія совѣсти, ни преступленія. Мысли убійства, насилія были мнѣ вовсе незнакомы; я смотрѣлъ на жизнь съ своей идеальной точки зрѣнія и вовсе не зналъ, не умѣлъ различать людей, а въ размышленіяхъ моихъ стремился найти истинный путь ко всеобщему благу человечества,—и вотъ, какъ государственный преступникъ, за эти помышленія мои былъ я обвиненъ и заключенъ въ казематъ. Въ головѣ моей толпились различныя мысли и чувства: невозможность оправдаться, строгость закона, страхъ заключенія и слухи, распространенные въ народѣ объ ужасахъ жизни въ сырыхъ, холодныхъ казематахъ,—все это вмѣстѣ слилось въ смутное ощущеніе, объявившее меня внезапно. Я осматривалъ въ потемкахъ жилище мое и видѣнное мною поражало меня своей мрачной пустотой, и халатъ, на

мнѣ надѣтый, былъ заношенный, мѣстами изорванный, изъ солдатскаго сѣраго сукна. Въ комнатѣ было одно окно, большое. Вдвинувъ ноги въ широкія старыя туфли, я всталъ съ кровати, на которой неловко было сидѣть—я скатывался съ нея. Мысли перебивались въ головѣ, то осматривалъ я жилище, то стоялъ вновь въ раздумьи. Боковую часть стѣны, справа отъ двери, составляла печь, затапливаемая снаружи—изъ коридора; видъ печи былъ мнѣ утѣшителенъ. Моя шинель была единственнымъ остаткомъ отъ жизни моей, кромѣ моего собственнаго тѣла. Я сбросилъ съ себя на полъ грязный халатъ и надѣлъ мою шинель. Подойдя къ окну, я былъ пораженъ видомъ мрачнаго свѣтильника моей комнаты: это былъ какой-то черепокъ въ видѣ плоски, съ края которой висѣлъ кончикъ свѣтильни; застывшая сальная масса наполняла его. Не зная куда пріютиться, — и въ мысляхъ моихъ и въ жилищѣ моемъ,—я заплакалъ и сталъ молиться; нѣсколько минутъ стоялъ я на колѣняхъ и горько плакалъ, опустившись на полъ. Мнѣ вспоминались потерянные дни свободы и домъ родной, — братья, сестра, старушка тетушка и всѣ близкіе нашему семейству.—Казалось мнѣ, всѣ они стояли, обступивъ меня, и, смотря на меня съ жалостью, плакали надо мною, какъ надъ погибшимъ.

Прошло 14 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ написалъ я эти строки, въ Курской губерніи, въ селѣ Ивнѣ, въ 1870 году, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, а теперь 1884 годъ, 20 сентября и поздній часъ ночи. Я принялся за этотъ трудъ по просьбѣ и настоянію покойной жены моей, имѣя въ виду продолжать его настойчиво, но злоба жизни слишкомъ велика; бѣгомъ бѣжишь все озабоченный куда-то безъ возможности остановиться. Хочу писать по какому-то чувству долга, такъ какъ судьба моя была общая со многими людьми, и пережитое нами, почти никому не извѣстное, слишкомъ тяжело отозвалось въ сердцѣ моемъ. Товарищи мои, кто умеръ

на дальнихъ окраинахъ Россіи въ борьбѣ съ жестокою судьбою, кто убитъ на войнѣ, кто слабъ и хитъ или, уцѣлѣвъ отъ преждевременной смерти, Богъ знаетъ, можетъ ли предаться воспоминаніямъ отдаленнаго прошедшаго. Хочу писать, но мысли въ разбродѣ, надо сосредоточиться въ самомъ себѣ, забыть настоящее и утонуть въ этой безднѣ давно прожитаго прошедшаго! Нелегко проникнуть въ тѣ глубокіе слои огромнаго склада жизненныхъ впечатлѣній, на которыя уже легли новыя залежи 34-лѣтней давности. Съ трепетомъ сердца нисходишь какъ бы въ глубокое подземелье, куда потокомъ времени погружалось само собою все бывшее. Хочешь проникнуть въ даль, но живыя тѣни недавно еще минувшаго стоятъ по сторонамъ и приковываютъ все вниманіе! Вотъ онѣ выступаютъ изъ своихъ нишъ и заслоняютъ путь;—густою завѣсою покрывается вся даль, куда я стремился, и нѣтъ болѣе охоты идти куда-либо, недавно минувшее владѣетъ нами всецѣльно! Слезами застилается взоръ и я стою въ раздумьи и нерѣшимости... Но иное теченіе мыслей вдругъ возникаетъ въ глубинѣ души и, поклонившись до земли всему меня окружающему, я отрѣшаюсь ото всего близкаго къ настоящему, дневной свѣтъ и шумъ земной исчезаютъ для меня и я погружаюсь въ подземныя катакомбы.

Среди тьмы и тишины нисхожу я одинъ, руководимый думою о быломъ: какъ обнаженные временемъ, занесенныя пустынными песками, когда-то цвѣтшія страны, или засыпанныя пепломъ жизни развалины старинныхъ городовъ, дворцовъ и храмовъ, встаютъ, давно поблекшія въ памяти моей, дѣянья давнихъ лѣтъ; мелькаютъ образы и слышатся звуки иного времени: вотъ виднѣются снѣговыя горы и слышенъ шумъ потоковъ и выдвигаются башни съ бойницами, раздаются вдали замирающіе гулы орудій, звуки военной тревоги, бой барабановъ, топотъ коней, ружейные выстрѣлы, крики людей, мелькаютъ штыки... И все стихаетъ и погружается во тьму, и одинъ стою я въ раздумьи, и затѣмъ, переступая медленно, нисхожу все глубже. И вотъ встаетъ иное видѣнье: мрачное жилище и въ немъ медленно движущіяся тѣни, бряцающія

цѣпями на скованныхъ ногахъ, и я смотрю на нихъ и думаю: «Это все мои люди, товарищи, съ которыми я вмѣстѣ жилъ!» И вновь все темно, и я одинъ стою въ размыслѣннѣ, стараясь проникнуть въ даль и чувствую себя на порогѣ самаго глубокаго подземелья, до меня долетаютъ какъ-бы знакомые мнѣ переливы отдаленнаго колокольнаго звона, спертый воздухъ пахнулъ мнѣ въ лицо и, всматриваясь въ даль, я вижу мерцающій огонекъ, и, какъ живое видѣннѣ, предстали глазамъ моимъ мрачныя своды тюрьмы и кельи, и я лежу въ одной изъ нихъ на кровати.

Воздухъ душенъ и холоденъ, на мнѣ шинель и сѣрый, дырявый халатъ, подо мной что-то жесткое, неровное и подушка нечистая, туго набитая соломой. Ночь, полумракъ, тишина, но они не располагаютъ къ отдыху: измученный тяжелыми впечатлѣннѣми того дня, я лежу, не двигаясь, — меня страшно клонитъ ко сну и я засыпаю, но вскорѣ просыпаюсь отъ большой чувствительности въ щекѣ и въ вискѣ, прижатыхъ жесткою, бугристою подушкою; переворачиваюсь на другой бокъ и та же самая боль на другой сторонѣ головы, по истеченнѣ короткаго времени, пробуждаетъ меня снова; я ложусь на спину и опять скоро просыпаюсь отъ боли въ затылкѣ: — такъ мучаясь, по временамъ сползая на край кровати, я безпрестанно засыпалъ крѣпкимъ сномъ и опять просыпался, чтобы пере-мѣнить положеннѣ; не разъ подкладывалъ я руки, то подъ голову, то подъ щеку, — такъ провелъ я ночь безъ отдыха, въ тревожномъ снѣ, съ болью головы и лица. Кромѣ того, я зябнулъ: погода, бывшая теплою, 23 апрѣля вдругъ перемѣнилась въ суровую стужу. Но вотъ разсвѣтаетъ, по временамъ слышатся какія-то громкія хожденнѣ въ корридорѣ за дверью.

Когда я увидѣлъ при дневномъ свѣтѣ мое новое жилище, глазамъ моимъ предстала маленькая грязная комната: она была узкая, длиною сажени въ $2\frac{1}{2}$ или менѣе, шириною сажени $1\frac{1}{2}$, съ высокимъ потолокомъ; стѣны, оштукатуренныя известью, давно потерявшей свой бѣлый цвѣтъ. Они были повсюду испачканы пальцемъ человѣка, не имѣвшаго бумаги для обыкновеннаго употребленнѣ. Съ одной стороны было окно,

очень большое (сравнительно съ величиною комнаты), съ мелкими клѣтками стеколъ, покрашенное, все до верхняго ряда, бѣлою пожелтѣвшею масляною краскою. Верхній рядъ стеколъ, одинъ только, былъ не покрашенъ и оканчивался съ правой стороны форточкою, величиною съ $\frac{3}{4}$ листа писчей бумаги. За окномъ была желѣзная рѣшетка. Съ противоположной окну стороны дверь, массивная, окованная желѣзомъ, и большое грязное зеркало изразцовой печи, затапливающейся снаружи. Въ комнатѣ, кромѣ кровати, были столикъ, табуретка и ящикъ съ крышкой; на площадкѣ окна стояла кружка и догорѣвшая уже плѣшка.

Таково было новое мое жилище, въ которомъ я былъ запертъ безвыходно.

Осмотрѣвшись немного, я сталъ на большую площадку окна, но, при маломъ моемъ ростѣ, не могъ достать глазомъ незакрашеннаго верхняго ряда стеколъ, который оканчивался съ правой стороны форточкою; я отворилъ фортку; свѣжій воздухъ пахнулъ на меня и мнѣ принесть какъ-бы что-то родное, — я вдохнулъ его, упился имъ полною грудью и еще болѣе почувствовалъ желаніе взглянуть въ окно, но и поднявшись на цыпочки, сколько было силъ, я не могъ увидѣть ничего: я подскочилъ, — передъ глазами моими мелькнуло что-то въ родѣ двора. Нельзя ли подставить что-либо подъ ноги? На площадкѣ окна, гдѣ я стоялъ, была упомянутая деревянная кружка съ крышкою въ родѣ кадочки; на донышкѣ ея было немного воды, мнѣ показалась она чистою и я выпилъ ее, потомъ снова влѣзъ на окно, сталъ на крышку запертой кружки и увидѣлъ дворикъ небольшой, треугольной формы: противъ меня, шагахъ въ 40, стоялъ фасъ крѣпостной стѣны, замыкавшій дворикъ, — у самаго окна ходилъ часовой съ ружьемъ. (Впослѣдствіи я узналъ, что отдѣленіе это, въ которомъ была заключена группа арестованныхъ, было однимъ изъ равелиновъ крѣпости). Мнѣ было холодно и такъ уже; всю ночь укрывался я чѣмъ могъ; погода была свѣжая, изъ окна дулъ вѣтеръ и я скоро промерзъ, что заставило меня сойти съ окна...

II.

Новые предметы,—обстановка, окружавшая меня и поразившая меня своею неприглядностью, были только отвлеченіемъ отъ смутныхъ предчувствій и мрачныхъ мыслей, которыя преслѣдовали меня и ночью, въ безпрестанно смѣнявшихся, короткихъ сновидѣніяхъ. Со мною вмѣстѣ одновременно взято было много другихъ,—я видѣлъ мелькомъ ихъ почти всѣхъ; мнѣ живо представлялась картина вчерашняго ареста: 23 апрѣля, часовъ около 10 утра, въ каретѣ я былъ привезенъ въ 3-е отдѣленіе, что было у Цѣпного моста; меня вели по многимъ комнатамъ, въ которыхъ я видѣлъ другихъ арестованныхъ знакомыхъ мнѣ лицъ и между ними стояли часовые съ ружьями. Въ особенности поразила меня большая зала своимъ многолудствомъ: арестованные стояли кругомъ, а между ними часовые; слышенъ былъ говоръ и по временамъ стучанье прикладомъ объ полъ, при разговорѣ (такъ приказано было). Меня привели наконецъ въ маленькую комнату, гдѣ я нашелъ двухъ мнѣ знакомыхъ товарищей. Затѣмъ графъ Орловъ, мужчина высокаго роста, съ маленькой головой, блѣднымъ лицомъ, сопровождаемый немногими, обходилъ всѣ комнаты. Одинъ изъ чиновниковъ несъ за нимъ списокъ, по которому поименно представляемъ былъ ему каждый изъ насъ. При представленіи ему одного изъ насъ—г-на Бѣлецкаго, онъ спросилъ: «Вы учитель кадетскаго корпуса?» — и, получивъ утвердительный отвѣтъ, онъ сказалъ: «Прекрасный учитель!—отведите его въ особую комнату». Меня это поразило, тѣмъ болѣе, что Бѣлецкій ни разу, сколько мнѣ извѣстно, не былъ на собраніяхъ Петрашевскаго и я считалъ его вовсе непричастнымъ возникшему дѣлу. (Онъ и былъ впоследствии по суду оправданъ). Въ третьемъ отдѣленіи насъ угощали обѣдомъ, чаемъ и сигарами, но никому охоты не было вкушать чего-либо. Между прочимъ, подходили къ намъ служащіе въ отдѣленіи чиновники и, какъ бы съ участіемъ относясь къ намъ, заявляли, что они

состоять на службѣ въ другомъ отдѣленіи, но за недостаткомъ мѣста комнаты ихъ отдѣленія были заняты для помѣщенія арестованныхъ. Еще одно обстоятельство заслуживаетъ упоминанія: въ этотъ же день сдѣлалось намъ всѣмъ извѣстнымъ, что списокъ, который носимъ былъ при обходѣ Орловымъ, начинался словами: «А... — агентъ наряженнаго дѣла». Впослѣдствіи, въ бытность мою на Кавказѣ, узналъ я, что П. И. Бѣлецкій, о которомъ только-что было упомянуто, по выходѣ своемъ изъ Петропавловской крѣпости, встрѣтилъ А... на Адмиралтейскомъ бульварѣ и, будучи имъ привѣтствованъ, какъ знакомый, по своему горячему характеру, вскипѣвъ гнѣвомъ, ударилъ его въ лицо и указалъ на него прохожимъ, какъ на доносчика, за что и былъ вновь арестованъ и посланъ на жительство въ Вологду.

Арестованы мы были, почти всѣ, въ пятницу, въ ночь съ 22 на 23 апрѣля, сейчасъ по расхожденіи съ собранія Петрашевскаго. часу въ 4-мъ ночи, когда всѣ уже были по домамъ и спали; я же не всегда бывалъ у Петрашевскаго и въ эту пятницу не былъ, а по весеннему времени ночевалъ за городомъ и потому арестованъ былъ утромъ 23 апрѣля. Въ этотъ самый день погода измѣнилась и сдѣлалась холодною. 23 апрѣля, поздно ночью, насъ отвезли всѣхъ въ крѣпость. Событія этого дня мелькали въ головѣ моей и я погруженъ былъ въ мрачную думу. Многіе изъ взятыхъ, говорилъ я самъ себѣ, будутъ оправданы и освобождены, но мнѣ не оправдаться,—уже слишкомъ много найдетъя уликъ — въ сущности ничтожныхъ, ничѣмъ меня не порочащихъ, но, по тогдашнимъ взглядамъ, считавшихся тяжеловѣсными и вполне достаточными для обвиненія меня въ государственномъ преступленіи.— Это было время сороковыхъ годовъ, когда вполне законными признавалось крѣпостное право, закрытый судъ безъ присяжныхъ, тѣлесное наказаніе, и всякій разговоръ объ уничтоженіи рабства и введеніи лучшихъ порядковъ считался нарушеніемъ основныхъ законовъ государства. Такъ думая, я то стоялъ, то садился на табуретку за столъ, или на кровать, то подходилъ къ окну или двери, не зная, куда пріютиться

въ моемъ новомъ жилищѣ, а мрачныя мысли толпились въ головѣ: «нѣтъ мнѣ спасенья», — думалъ я, — «какъ и многимъ моимъ товаришамъ!» Въ особенности горько мнѣ было за судьбу двухъ мнѣ близкихъ друзей, которыхъ я любилъ и уважалъ — это двухъ братьевъ Дебу, и въ особенности Ипполита Дебу, съ которымъ былъ очень друженъ, затѣмъ вспоминались мнѣ и прочіе пострадавшіе со мною вмѣстѣ товарищи, и я не могъ заглушить въ себѣ досады на Петрашевскаго и не упрекнуть его въ случившемся съ нами несчастіи. Последнее время уже возникали во мнѣ все болѣе опасенья ввѣрять себя столькимъ незнакомымъ лицамъ, бывавшимъ у него, но мы всѣ имѣли же полное право рассчитывать, что Петрашевскій, какъ человѣкъ весьма умный, очень осмотрителенъ въ выборѣ своихъ посѣтителей, а между тѣмъ, вотъ что случилось! Но, погубивъ всѣхъ насъ, вѣдь онъ и самъ погибъ, а потому и ставить ему это въ вину было съ моей стороны недостойно и малодушно. Мнѣ вспомнилось тоже, что Петрашевскій имѣлъ уже нѣкоторыя сомнѣнія въ личности А... На предпоследнемъ собраніи, 15-го апрѣля, онъ отозвалъ меня въ сторону и спросилъ: «скажите, васъ звалъ къ себѣ А...?» Я отвѣтилъ, что звалъ, но я не пойду, такъ какъ его вовсе не знаю. «Я и хотѣлъ предупредить васъ», сказалъ онъ мнѣ, «чтобы вы къ нему не ходили. Этотъ человѣкъ, не обнаружившій себя никакимъ направленіемъ, совершенно неизвѣстный по своимъ мыслямъ, перезнакомился со всѣми и всѣхъ зоветъ къ себѣ. Не странно ли это, я не имѣю къ нему довѣрія».

Отъ воспоминаній этихъ переходилъ я къ мысли о моемъ настоящемъ положеніи: какъ быть, что дѣлать? Какъ теперь жить, — въ сей день — въ моемъ новомъ жилищѣ? — Ужели мнѣ долго придется оставаться въ немъ? Какъ скверно, какъ холодно, какъ грязно!

Я забылъ упомянуть, при описаніи комнаты, что въ серединѣ двери было маленькое, величиною въ 8-ю долю листа бумаги отверстіе, въ которое вставлено было стекло. Снаружи, со стороны корридора, оно было завѣшано темной тряпкой, которую сторожу можно было поднимать и видѣть, что дѣлаетъ аресто-

ванный. Мнѣ было очень холодно и я попробовалъ постучать: послышались шаги и тряпка сейчасъ же поднялась и показалось смотрящее на меня чье-то лицо: «Чего стучишь?» спрашивало оно меня. «Надо затопить печь, очень холодно, затопите печь», отвѣта не послѣловало, тряпка опустилась и все оставалось по-прежнему.

Прошло нѣкоторое время, когда послышались въ корридорѣ шаги, бѣготня и звонъ связки ключей. Я слышалъ какъ втыкались въ двери другихъ келій ключи и они отворялись, и шествіе это производилось подрядъ во всѣ отдѣльныя помѣщенія. Вотъ и до меня очень скоро дошла очередь. Ключъ всунуть былъ не вдругъ, казалось, ошибкой не тотъ, потомъ щелкнула крѣпкая пружина замка, дверь отворилась настежь: въ нее вошелъ толстый, старый генералъ, въ сопровожденіи двухъ офицеровъ и служителей: «Что вы? — Какъ живете, все-ли благополучно? — Все ли имѣете? Я комендантъ крѣпости». (Это былъ генералъ Набоковъ). — «Мнѣ очень холодно, прикажите затопить печь» — отвѣтилъ я. Тогда отдано было, съ гнѣвомъ, приказаніе, затопить немедленно печи вездѣ, «чтобы не жаловались болѣе на холодъ». Съ этими словами онъ вышелъ со своей свитою и я остался вновь одинъ, запертый на ключъ. Таково было быстрое посѣщеніе генерала! — А другія всѣ нужды? «Все ли я имѣю»? — у меня ничего нѣтъ! Ни воды, ни пищи, я не умывшись съ утра... Но кружка стоитъ для воды, стало быть, полагается вода и, вѣроятно, подадутъ какую-нибудь и пищу. Черезъ нѣсколько времени все вновь утихло и затѣмъ вскорѣ вновь раздались хожденія съ отмыканіемъ дверей: и вотъ растворилась и моя дверь и въ комнату мою быстрыми шагами вошелъ солдатъ съ посудой и, поставивъ ее на столъ, ни слова не сказавъ, поспѣшно вышелъ, и дверь захлопнулась на ключъ. Наверху посуды лежалъ большой кусокъ чернаго хлѣба, а подъ нимъ была миска съ супомъ и въ немъ лежали куски говядины. Не помню хорошенько, было ли еще отдѣльно какое мясо — прошло 35 лѣтъ съ тѣхъ поръ и я совершенно забылъ. Помню только хорошо, что, несмотря на голодъ, я съѣлъ нѣсколько

супа и хлѣба, до мяса же не прикоснулся. Причина тому отчасти лежала въ предыдущей моей жизни: уже болѣе трехъ лѣтъ какъ я оставилъ привычку ѣсть мясо, желая, по убѣжденію моему, сдѣлаться вегетаріанцемъ. «Человѣкъ, думалъ я, по природѣ своей, какъ физической, такъ и духовной, не можетъ быть поставленъ въ отдѣлъ хищныхъ млекопитающихъ, а потому и употребленіе мясной пищи можетъ быть оправданъ только недостаткомъ растительной пищи или извращеніемъ его природныхъ условій жизни. Физиологи, думалъ я, во многомъ ошибаются, а Cuvier, въ своемъ сочиненіи «*Le règne animal*», описывая, между прочимъ, зубы обезьянъ, говоритъ, что они по виду своему, хищнѣе, чѣмъ зубы человѣка, а потомъ, говоря о ихъ пищи, замѣчаетъ, что онѣ питаются исключительно плодами, животную же пищу ѣдятъ только въ крайности, когда нечего ѣсть». Какъ бы то ни было, справедливо ли мое заключеніе или нѣтъ, — этого я и теперь себѣ достаточно уяснить не могу, но это было мое личное убѣжденіе, и я въ такой степени былъ уже отвыкшимъ отъ мясной пищи, что она мнѣ была противна и безъ нея я былъ здоровъ и крѣпокъ силами. При такомъ особенномъ моемъ отношеніи къ выбору пищи, тюремный обѣдъ, поставленный передо мною на столъ, пришелся мнѣ очень не по вкусу, но я былъ голоденъ и черный хлѣбъ мнѣ былъ очень пріятенъ. Черезъ полчаса вновь вошелъ солдатъ и за нимъ дежурный офицеръ, котораго я настойчиво просилъ приказать мнѣ сейчасъ подать воды въ количествѣ достаточномъ для питья и для умыванія, а также я заявилъ и о необходимой надобности въ полотенцѣ. Кружка, стоявшая у меня на окнѣ пустою, была схвачена служителемъ и, наполненная водою, принесена обратно. Затѣмъ безъ лишнихъ словъ всѣ исчезли, принявъ остатки обѣда, кромѣ чернаго хлѣба, который былъ въ достаточномъ количествѣ, и оставленъ былъ мною у себя, затѣмъ я снова былъ накрѣпко захлопнутъ въ моемъ жилищѣ. Полотенце было обѣщано въ будущемъ. Оставшись одинъ, я сталъ умываться, съ помощью рта, и вытерся рукавомъ рубашки. Вскорѣ затѣмъ замѣтилъ я, что въ комнатѣ стало теплѣе и,

приложивъ руку къ печной стѣнѣ, я убѣдился, что она нагрѣвается. Итакъ, я имѣю все, что нужно, хозева тюрьмы дали мнѣ все, что они могли—я сытъ, умытъ, одѣтъ и согрѣтъ.

Такъ началась и потекла моя жизнь въ тюрьмѣ; дни смѣнялись днями; каждый день, по однообразію и бездѣлю, казался чрезвычайно долгимъ, недоживаемымъ до вечера; недѣли текли за недѣлями, и мѣсяцы, къ ужасу моему, стали смѣняться мѣсяцами. Ежедневно, первое время, два, а потомъ три раза отворялась дверь, ставилась и принималась пища; черный хлѣбъ сталъ моею любимую пищею и его было у меня всегда достаточно. Въ первое время я настойчиво требовалъ большаго противу обыкновенно приносимаго количества воды для мытья и питья, но послѣ это дѣлалось уже и безъ моего докучливаго напоминанія; полотенце было мнѣ дано тоже. Бѣлье изъ грубаго подкладочнаго холста, старое, состоявшее изъ длинной рубахи и чулокъ выше колѣнъ, въ видѣ мѣшковъ, подвязывающихся тесемками, смѣняемо было каждую недѣлю.

Однообразно текла моя жизнь, при монотонномъ переливѣ колокольнаго звона, каждая четверть часа, на колокольнѣ Петропавловскаго собора. По временамъ однако же это однообразіе тюремной жизни и жестокая темничная тоска были нарушаемы чѣмъ-нибудь выходящимъ изъ ряда обыкновеннаго теченія, и всякое подобное, хотя бы и незначительное обстоятельство, освѣжало и развлекало меня. Объ этихъ особенныхъ пертурбаціяхъ, иногда сильно волновавшихъ меня, упомяну я въ хронологическомъ порядкѣ, насколько воспоминанія объ этихъ давно минувшихъ тяжкихъ дняхъ сохранились въ моей памяти. Но главное,—что желалъ бы я описать и разъяснить,—это мучительное, душевное, болѣзненное состояніе безвыходно и долго одиночно-заклученнаго, чувство жестокой темничной тоски, мрачныя мысли, преслѣдовавшія

меня безотвязно, и по временамъ упадокъ силъ до потери голоса и изнеможенія. Я дни и ночи говорилъ самъ съ собою, и, не получая ни откуда впечатлѣній извнѣ, вращался въ самомъ себѣ, въ кругу своихъ болѣзненныхъ представленій.

III.

Я тогда только-что окончилъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ кандидатомъ восточныхъ языковъ. Несмотря на окончаніе курса въ высшемъ учебномъ заведеніи и уже вполнѣ зрѣлый возрастъ, я былъ очень мало развитъ въ пониманіи самыхъ простыхъ и обыкновенныхъ для жизни вещей. По природѣ своей, я ненавидѣлъ зло, къ людямъ былъ очень довѣрчивъ и очень скоро сближался съ ними. Любилъ трудиться и составлять выписки изъ серьезныхъ общеобразовательныхъ сочиненій, но, не имѣя средствъ, большую часть ихъ покупалъ на толкучемъ рынкѣ и много времени проводилъ въ его книжныхъ рядахъ. Апраксинъ дворъ, въ былое время, вмѣщалъ въ себѣ особый отдѣлъ—ряды огромнаго склада книгъ самаго разнообразнаго содержанія. Гоненія на букинистовъ затрудняли это дѣло, а пожаръ, бывшій позже, окончательно разрушилъ этотъ драгоценный книжный складъ. Тамъ находилъ я разнообразнѣйшія книги и, заплативъ за нихъ бездѣлицу, какъ сокровище, несъ къ себѣ домой. Произведенія знаменитыхъ поэтовъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, были для меня самымъ лучшимъ чтеніемъ,—я восхищался ими, бредилъ ими и, находясь внѣ занятій, дома и по улицамъ города твердилъ ихъ. Англійскій и итальянскій языки мнѣ были почти незнакомы и я старался изучать ихъ, и съ помощью лексикона и грамматики перекладывалъ на русскій языкъ пѣсни Петрарка на смерть Лауры. Лѣтомъ со страстью занимался я ботаникою и зоологіей, *Atlas botanique Maout*, *Flora Deutschlands Kittel*'я и *régne animal de Cuvier* были моими настольными книгами. Ме-

дицинскія книги привлекали меня тоже и я съ увлеченіемъ читалъ *Enoheiridium medicum* Huffelland'a, *Medecin populaire* Raspail'я и описаніе анатоміи человѣческаго тѣла, составленное Загорскимъ. Астрономія Гершеля была прочтена мною съ большимъ любопытствомъ. Языкознание и сравнительное изученіе языковъ казалось мнѣ весьма интереснымъ; кромѣ европейскихъ языковъ, я былъ знакомъ съ языками латинскимъ, греческимъ, арабскимъ, персидскимъ и турецкимъ. По временамъ предавался я чтенію историческихъ монографій какого-либо періода времени, и исторія востока занимала меня не менѣе исторіи европейскихъ народовъ. Съ жадностью стремился я приобрѣтать себѣ познанія по всѣмъ отраслямъ наукъ (кромѣ философіи, политической экономіи и математики, которыя, въ то время, казались мнѣ слишкомъ утомительными). Событія 48-го года, происходившія въ Италіи, Франціи и Германіи, сильно интересовали меня. Соціальное ученіе Fourier, сочиненія его *Le nouveau monde industriel*, также различныя брошюры послѣдователей его *Considerant*, *Toussenel'*я и другихъ и популярнѣйшіе журналы того времени *Almanach phalanstérien* и болѣе ученый *Phalange*, увлекали меня нерѣдко до того, что я забывалъ все прочее. Большія сочиненія Fourier *Theorie des quatre mouvements* и *Theorie de l'unité universelle* были по временамъ просматриваемы мною, но по дороговизнѣ я не могъ ихъ приобрѣсть. Въ это время жизнь моя носилась въ какихъ-то идеальныхъ мечтаніяхъ, отчего и избранъ былъ мною факультетъ восточныхъ языковъ, чтобы уѣхать куда-то на дальній юго-востокъ. Петербургъ же со всѣмъ его разнообразіемъ жизни и множествомъ общественныхъ развлеченій, которыми я не имѣлъ ни малѣйшаго желанія пользоваться, казался мнѣ ничтожествомъ, въ сравненій съ привольною жизнью среди южной природы.

Таковъ я былъ, когда отъ меня потребовалось въ жизни первое серьезное испытаніе, совершенно иного рода, чѣмъ тѣ, которыя выдержалъ я въ университетѣ. Дѣло жизни, въ ея разнообразныхъ проявленіяхъ, есть высшая школа человѣка. Высокая доблесть терпѣть и безропотно, молчаливо и стойко переносить лишенія всякаго рода, никому не дается сразу, но прио-

брѣтается, вырабатывается, болѣе или менѣе продолжительнымъ опытомъ, какъ въ общественной средѣ, такъ и въ отдѣльныхъ личностяхъ. Никто не свѣдущъ достаточно въ великой наукѣ жизни и только трудомъ, терпѣніемъ и опытностью не многими пріобрѣтается мудрость, — потому столько ошибокъ жизни, сожалѣній и упрековъ, которые людьми понимаются очень различно. И мои воспоминанія этого времени не безупречны, — я расскажу все въ послѣдовательности.

Теперь прошло уже 35 лѣтъ, и я спрашиваю себя, въ чемъ же тогда состояла моя вина и за что былъ я такъ внезапно схваченъ, какъ преступникъ, и посаженъ въ крѣпость. Всякое дѣяніе человѣка можетъ быть оцѣнено различно, смотря по періоду времени, строю жизни, общественной средѣ и мѣсту, гдѣ оно совершается. То, что въ 49-мъ году вмѣнялось намъ въ вину и за что, послѣ восьми-мѣсячнаго одиночнаго заключенія, полевымъ уголовнымъ судомъ мы были приговорены къ смертной казни разстрѣляніемъ, — въ настоящее время показалось бы маловажнымъ и незаслуживающимъ никакого преслѣдованія: у насъ не было никакого организованнаго общества, никакихъ общихъ плановъ дѣйствія, но разъ въ недѣлю у Петрашевскаго бывали собранія, на которыхъ вовсе не бывали постоянно все одни и тѣ-же люди; иные бывали часто на этихъ вечерахъ, другіе приходили рѣдко и всегда можно было видѣть новыхъ людей. Это былъ интересный калейдоскопъ разнообразнѣйшихъ мнѣній о современныхъ событіяхъ, распоряженіяхъ правительства, о произведеніяхъ новѣйшей литературы по различнымъ отраслямъ знанія; приносились городскія новости, говорилось громко обо всемъ, безъ всякаго стѣсненія. Иногда, кѣмъ-либо изъ спеціалистовъ, дѣлалось сообщеніе въ родѣ лекціи: Ястржембскій читалъ о политической экономіи, Данилевскій — о системѣ Fourier. Въ одномъ изъ собраній читалось Достоевскимъ письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, по случаю выхода его «Писемъ къ друзьямъ». Бѣлинскаго избавила только болѣзнь и преждевременная смерть отъ общей съ нами участи. Для порядка и предупрежденія шума отъ одновременныхъ разговоровъ и споровъ мно-

гихъ лицъ, Петрашевскій поручалъ кому-либо изъ гостей наблюдать за порядкомъ въ качествѣ председателя. На собраніяхъ этихъ не вырабатывались никогда никакіе опредѣленные проекты или заговоры, но были высказываемы осужденія существующаго порядка, насмѣшки, сожалѣнія о настоящемъ нашемъ положеніи. Что было бы впослѣдствіи—конечно, неизвѣстно. Если и предположить, что, по истеченіи многихъ годовъ, могло бы образоваться общество, имѣющее цѣлью ниспроверженіе существующаго государственнаго строя, къ которому примкнули бы, можетъ быть, весьма многіе, то, во всякомъ случаѣ, можно почти навѣрно сказать, что, по новости и совершенной неопытности веденія такого дѣла, дѣйствія его были бы, въ раннемъ періодѣ обнаружены и дальнѣйшее его развитіе остановлено правительствомъ. Нашъ кружокъ, выражавшій собою современныя общечеловѣческія стремленія, былъ однимъ изъ естественныхъ передовыхъ явленій въ жизни народа и несомнѣнно оставилъ по себѣ нѣкоторые слѣды.

Число арестованныхъ, явно прикосновенныхъ къ этому дѣлу, хотя и казалось незначительнымъ, — оно доходило до 100, можетъ быть и превышало это число, но мы не были какими-либо выродками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, мы были произведенія образованнаго класса земли русской—эндатическія растенія страны, въ которой мы рождены, а потому и оставшихся на свободѣ людей одинаковаго съ нами образа мыслей, намъ сочувствовавшихъ, безъ сомнѣнія, надо было считать не сотнями, а тысячами. Нашъ маленькій кружокъ, сосредоточивавшійся вокругъ Петрашевскаго въ концѣ 40-хъ годовъ, носилъ въ себѣ зерно всѣхъ реформъ 60-хъ годовъ.

Вечера Петрашевскаго, по содержанію разговоровъ, касавшихся преимущественно соціально-политическихъ вопросовъ, представляли большой интересъ для насъ и потому, что они были единственными въ своемъ родѣ въ Петербургѣ. Собранія эти продолжались обыкновенно до поздней ночи, часовъ до двухъ или трехъ, и кончались скромнымъ ужиномъ. Знакомство собственно мое съ Петрашевскимъ началось съ весны

1848 года. Онъ былъ человѣкъ лѣтъ 34, средняго роста, полный собою, весьма крѣпкаго сложенія, брюнетъ, на одежду свою онъ обращалъ мало вниманія, волосы его были часто въ безпорядкѣ, небольшая борода, соединявшаяся съ бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Черные глаза его, нѣсколько прищуренные, какъ бы проникали въ даль. Лобъ у него былъ большого размѣра, нахмуренный; онъ говорилъ голосомъ низкимъ и негромкимъ, разговоръ его былъ всегда серьезный, часто съ насмѣшливымъ тономъ; во взорѣ болѣе всего выражались глубокая вдумчивость, презрѣніе и ѣдкая насмѣшка. Это былъ человѣкъ сильной души, крѣпкой воли, много трудившійся надъ самообразованіемъ, всегда углубленный въ чтеніе новыхъ сочиненій, и неустанно дѣятельный. Онъ воспитывался первоначально въ лицѣ, но, по своему рѣзкому поведенію, былъ оттуда исключенъ, послѣ чего поступилъ вольнослушателемъ въ петербургскій университетъ по юридическому факультету и, окончивъ курсъ, состоялъ на службѣ при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Онъ имѣлъ большую библіотеку новѣйшихъ сочиненій, преимущественно по части исторіи, политической экономіи и социальныхъ наукъ, и охотно дѣлился ею, не только со всѣми старыми своими пріятелями, но и съ людьми ему мало знакомыми, но которые казались ему порядочными, и дѣлалъ это по убѣжденію для общественной пользы. Онъ говорилъ мнѣ, что въ теченіе около 8 лѣтъ много людей перебивало у него и разѣхались въ разные города Россіи и преимущественно въ университетскіе. Онъ давалъ читать всѣмъ просившимъ его и снабжалъ уѣзжающихъ книгами, которыя, по его усмотрѣнію, были полезны для умственнаго развитія общества. Вовсе не интересуясь общественными увеселеніями, онъ бывалъ повсюду: въ клубахъ, дворянскихъ собраніяхъ, маскарадахъ, съ единственною цѣлью заводить знакомства для узнанія и выбора людей. Утро проводилъ онъ большею частью въ чтеніи книгъ и въ составленіи какого-либо имъ намѣченнаго труда. Плодомъ такихъ занятій былъ извѣстный въ свое время напечатанный имъ словарь употребительныхъ въ русской рѣчи иностранныхъ словъ.

въ которомъ разъяснялись въ особенности подробно слова, обозначающія извѣстныя формы государственнаго управленія. Таковъ былъ Миханлъ Васильевичъ Петрашевскій, окончившій жизнь свою 8 декабря 1867 г. въ Минусинскѣ Енисейской губерніи.

О прочихъ участникахъ нашего дѣла я не могу сказать ничего, по малому моему знакомству съ ними. Мы всѣ, кажется, жили, не помышляя о нашемъ единеніи, которое только и произошло послѣ претерпѣннаго нами общаго несчастія.

Иногда нѣкоторые изъ участвовавшихъ въ собраніяхъ Петрашевскаго собирались у Н. С. Кашкина. Такихъ было немного и опредѣленныхъ дней для того не было. Собирались также у К. М. Дебу люди близко другъ другу знакомые. Свой особенный кружокъ, сколько мнѣ извѣстно, съ особымъ направленіемъ, составлялъ Спѣшневъ, какъ-бы соперничая съ Петрашевскимъ, и нѣкоторое время готовый устранился отъ него, но Петрашевскій, видя въ этомъ ослабленіе общаго дѣла, сумѣлъ предупредить такое разъединеніе. — Кромѣ этихъ, извѣстныхъ мнѣ кружковъ, вѣроятно, были и другіе, и образованіемъ такихъ кружковъ имѣлась въ виду пропаганда и распространеніе въ обществѣ правильныхъ понятій о настоящемъ нашемъ положеніи. Нѣкоторые изъ насъ вносили деньги, кто сколько могъ, на общую библіотеку, для выписки новѣйшихъ сочиненій по различнымъ отраслямъ знаній, при-чемъ вовсе не имѣлись въ виду однѣ запрещенныя какія-либо цензурою книги, но вообще въ этомъ отношеніи разницы не дѣлалось никакой. Всѣ мы вообще были то, что теперь называютъ либералами, но общественнаго союза въ какомъ-либо опредѣленномъ направленіи между нами не было и мысли наши, хотя выражались словами въ разговорахъ, и ими иногда пачкались, наединѣ, клочки бумаги, но въ дѣйствіе онѣ никогда не приходили. Между нами было нѣсколько человекъ, называвшихся фурьеристами, такъ назывались мы потому, что восхищались сочиненіями Fourier и въ его системѣ, въ осуществленіи его проекта организованнаго труда, видѣли спасеніе человѣчества отъ всякихъ золъ, бѣдствій и напрасныхъ революцій. 7-го

апрѣля этого года (1849), въ день рожденія Fourier, былъ у насъ устроенъ въ память его banquet social. Обѣдъ былъ на квартирѣ А. И. Европеуса; портретъ Fourier въ настоящую величину, по поясъ, выписанный изъ Парижа къ этому дню, висѣлъ на стѣнѣ; насъ было 11 человѣкъ — Петрашевскій, Спѣшневъ, Европеусъ, Кашкинъ, Конст. Дебу, И. Дебу, Ханьковъ, Ващенко, меньшой братъ Европеуса, Есаковъ и я. Обѣдъ былъ очень оживленъ и пріятенъ для всѣхъ; сказано было 3 рѣчи: Петрашевскимъ, Ханьковымъ и мною. Н. С. Кашкинымъ прочтено было въ русскомъ переводѣ стихотвореніе Beranger «Les fous»; И. М. Дебу предложено было перевести на русскій языкъ болѣе доступное для всѣхъ сочиненіе Fourier — «Le nouveau monde industriel», которое, принесенное имъ, было тутъ же раздѣлено на части, и каждый взялъ себѣ часть для перевода. На обѣдѣ этомъ не было, однако же, самаго главнаго ревностнаго послѣдователя и талантливаго проповѣдника ученія Фурье — Н. Я. Данилевскаго, вполнѣдствіи извѣстнаго славянофила. Незадолго до моего знакомства съ Петрашевскимъ, читалъ онъ лекціи о системѣ Фурье, которыя сохранились въ памяти у всѣхъ присутствовавшихъ, и были, по словамъ слушателей, очень увлекательны. Ему извѣстно было о нашемъ обѣдѣ, и онъ обѣщалъ Петрашевскому быть, но обѣщанія своего не исполнилъ. Причины тому остались для насъ совершенно неизвѣстными и мы всѣ очень сожалѣли о его неприходѣ. Мы разошлись поздно вечеромъ. При выходѣ Петрашевскій задержалъ меня и двухъ Дебу и уговорилъ насъ сопровождать его къ Данилевскому, чтобы пристыдить его въ его ренегатствѣ. Былъ поздній часъ ночи и мы ѣхали на двухъ петербургскихъ гитарахъ — дрожки того времени, на которыхъ садились верхомъ или бокомъ.

Я ѣхалъ съ К. Дебу и мы оба были того мнѣнія, что Данилевскаго слѣдовало оставить въ покоѣ. Желаніе Петрашевскаго было исполнено; мы прибыли на квартиру Данилевскаго, — онъ жилъ, кажется, на Офицерской улицѣ. Петрашевскій разбудилъ его, вызвалъ его изъ спальни и въ нашемъ присутствіи упрекалъ его въ неприбытіи. Не помню, что Данилевскій отвѣ-

чалъ и какъ оправдывался, но при видѣ чловѣка разбуженнаго и сконфуженнаго, я пожалѣлъ еще болѣе о моемъ участіи въ этомъ дѣлѣ, да и, кромѣ того, мы не имѣли никакого права упрекать его. Если онъ живъ, то я отъ всей моей души прошу у него прощенія въ этомъ неразумномъ моемъ поступкѣ.

Вотъ въ чемъ состояла вина такъ называемыхъ нынѣ петрашевцевъ или апрѣлистовъ, какъ я слышалъ это названіе отъ нѣкоторыхъ случайно встрѣчныхъ людей на Кавказѣ и въ Россіи, и впервые отъ графа Лорисъ-Меликова, во время проѣзда его чрезъ Сунженскую станицу съ плѣнникомъ Хаджи-Муратомъ, тогда бывшимъ въ чинѣ полковника при корпусномъ штабѣ. Въ дѣйствительности однако же ни то, ни другое изъ выше приведенныхъ названій не соотвѣтствовало разнообразію кружковъ сходящихся людей въ домѣ Петрашевскаго. Болѣе подходящимъ для насъ было бы названіе «русскихъ социалистовъ» 1849 года, въ смыслѣ тогдашняго идеальнаго направленія различныхъ социальныхъ ученій во Франціи. Наше возбужденное, какъ бы протестующее, состояніе и было настоящимъ отголоскомъ событій, совершившихся въ Европѣ въ 1848 году. Между прочимъ, находясь въ ссылкѣ, и даже позже, я неоднократно слышалъ престранныя о насъ мнѣнія, высказываемыя мнѣ, при встрѣчѣ, разными лицами, что заставляеть меня полагать, что какіе-то злонамѣренныя люди съ умысломъ распускали о насъ самые нелѣпыя и позорящія насъ въ народѣ слухи,—быть можетъ, съ той цѣлью, чтобы уничтожить всякое къ намъ сожалѣніе и возстановить противъ насъ общественное мнѣніе,—такъ, напр., говорили, что кружокъ Петрашевскаго состоялъ изъ «безбожниковъ», не признававшихъ ничего святаго, что, будто бы, въ пятницу на Страстной недѣлѣ мы кощунствовали надъ плащаницею въ домѣ Петрашевскаго и тому подобныя нелѣпости! Люди, насъ судившіе или близко насъ знавшіе, были бы не менѣе, чѣмъ мы, удивлены этими слухами. Источникомъ ихъ, безъ сомнѣнія, могли быть только полное незнаніе или черная клевета.

IV.

Воспоминанія мои увлекли меня далеко за предѣлы тюрьмы, но мысли мои тогда безпрестанно возвращались къ этимъ, предшествовавшимъ заключенію, днямъ;—то думалъ я о виновности нашей, въ отдѣльности для каждаго, то воспоминалась мнѣ мнѣ моя родная семья—братья, сестра, старушка-тетушка, которые были напуганы ночью и глубоко огорчены моимъ, внезапно совершившимся, арестомъ. Мнѣ вспоминались они вмѣстѣ собравшимися, горяющими с случившемся, оплакивающими меня, какъ погибшаго, навсегда исчезнувашаго изъ нашего родного кружка. Слезы текли невольно изъ глазъ и, обращаясь къ каждому изъ нихъ, я жаловался на судьбу, мысленно обнималъ и прощался съ каждымъ: «Кончилась жизнь моя съ вами, миновали счастливые дни и долгіе годы моего съ вами житія, мои милые, мои дорогіе друзья! Останусь ли я живъ и, если уцѣлѣю отъ этого погрома, гдѣ я буду жить, и увижусь ли съ вами, и когда, и гдѣ?» Такъ говоря самъ съ собою, я плакалъ тихо, но горько; разлука съ ними, независимо ото всего остального, казалась мнѣ великимъ горемъ, и прежняя свободная жизнь моя казалась мнѣ идеаломъ счастья, потеряннымъ раемъ. Не одинъ я, однако же, подавленъ былъ до слезъ приступами жестокой тоски,—по временамъ, то съ одной, то съ другой отъ меня стороны слышенъ былъ плачъ въ кельяхъ заключенныхъ.

Промучившись еще день, не зная куда пріютиться, то становился я на окно, то ходилъ взадъ и впередъ въ моей клѣткѣ, безо всякихъ занятій; вращаясь все въ одномъ и томъ же кругу моихъ безотвязныхъ мыслей, ничѣмъ не перебиваемыхъ, дожилъ я до вечера: одиночество, бездѣлье, томленіе мучило меня. Нерѣдко садился я и на полъ и, сидя на колѣняхъ, закрывая лицо обѣими руками, я громко сѣтовалъ и плакалъ, затѣмъ, поспѣшно вставая, вскакивалъ на окно; минутно упиваясь воздухомъ у фортки, сходилъ съ окна, шелъ къ двери, садился на кровать, на табуретку и опять, лѣзъ

на окно,—такъ метался я, запертый въ тесномъ жилищѣ. Снова были слышны хожденія, звонъ ключей, отворялась дверь, приносима и принимаема была безмолвнымъ солдатомъ пища.

Наступила вторая ночь и на окнѣ моемъ зажглась снова сальная плошка. Она издавала особый запахъ съ копотью и видъ ея былъ мнѣ противенъ, я подошелъ къ окну и задулъ ее. Замученный, я легъ на кровать; спать хотѣлось, и я заснулъ, но отъ жесткой подушки и на покатомъ тюфякѣ я безпрестанно просыпался и перемѣнялъ положеніе. Такъ прошло не знаю сколько времени, какъ въ корридорѣ послышалось движеніе и разговоръ у моей двери. Потомъ я услышалъ стукъ въ окно двери и слова, обращенныя ко мнѣ: «Зачѣмъ потушили огонь?»—я ничего не отвѣчалъ и старался забыться и заснуть, но въ скоромъ времени, однако же, я услышалъ звонъ ключей у моей двери; дверь отворилась и вошелъ дежурный крѣпостной офицеръ и сторожъ,—мнѣ выговаривали за потушеніе свѣтильни и нарушеніе заведеннаго порядка. Плошка была снова зажжена и я остался одинъ. Въ эту ночь мнѣ не было холодно, но въ остальномъ она была такая же, какъ и предыдущая.

Въ эту ночь, кажется, мнѣ снился сонъ, котораго отдѣльныя картины сохранились у меня по сіе время въ памяти.

Мнѣ снилось мое жилище, въ Большой Морской, въ институтѣ восточныхъ языковъ (гдѣ я числился студентомъ). Оно состояло изъ комнаты, выходившей въ общій съ другими жилищами корридоръ, во второмъ этажѣ большого дома (министерства иностранныхъ дѣлъ).

Въ комнатѣ было одно окно и въ немъ большая фортка. Въ этомъ жилищѣ моемъ было нѣсколько запрещенныхъ цензурою книгъ и моихъ письменныхъ набросковъ, за которые я могъ быть обвиненъ, и о которыхъ я много думалъ въ эти два дня; мнѣ снилось, что я ночью вошелъ тихонько въ корридоръ, думая пробраться въ комнату, и вижу: всѣ спятъ, и часовой стоитъ у дверей комнаты, а на двери лежитъ большая печать. Сердце у меня сжалось и я тихонько

ушелъ, вышелъ на улицу и обошелъ кругомъ весь кварталъ и вошелъ вновь на дворъ этого дома, черезъ ворота (со стороны Мойки) и, найдя тамъ знакомаго дворника, подговорилъ его подставить къ окну моему, выходявшему на дворъ, высокую лѣстницу, чтобы можно было черезъ фортку пробраться въ комнату. И вотъ я уже отворилъ фортку и влѣзъ въ комнату; у меня въ рукахъ уже схвачены злополучныя письма, какъ вдругъ слышу я голосъ дворника: «Баринъ!— спасайтесь, идутъ!» Я хотѣлъ бѣжать, но въ форткѣ смотрѣло уже на меня знакомое мнѣ при арестѣ моему лицо...

Я проснулся, сердце стучало въ грудь... все было тихо, плошка горѣла.

Утромъ всталъ я, замученный еще болѣе прежняго. Ночь была столь же тяжела, какъ и предыдущая. Голова у меня болѣла, и мѣстами больно было дотрогиваться до нея, и пальцы мои, которые я подкладывалъ подъ голову, были чувствительны.

Уже разсвѣло; замазанное окно закрывало меня отъ всего живущаго. Вотъ третій день, какъ я одинъ, и все грознѣе встаютъ однѣ и тѣ же мысли! На душѣ было такъ же душно, какъ и въ комнатѣ. Я отворилъ фортку, — повѣяло чистымъ воздухомъ, всталъ на кружку и уткнулся носомъ въ открытое окно: передо мною былъ крѣпостной валъ и пустой дворикъ, гдѣ не было никого. Чистый весенній воздухъ пахнулъ мнѣ въ лицо. Я стоялъ такъ нѣсколько минутъ, какъ вдругъ услышалъ стукъ сзади меня; я обернулся и увидѣлъ, что въ окошкѣ двери тряпка поднята и сторожъ стучить пальцемъ въ стекло и, смотря на меня, кричитъ: «Сойдите съ окна!» Въ сердцѣ какъ бы кольнуло что-то; медленно сошелъ я съ окна. Надо же мнѣ умыться, хоть насколько возможно, отъ грязи, меня окружающей,—и вотъ я моюсь, набирая въ ротъ воды, наклонившись надъ упомянутымъ ящикомъ, мою лицо и руки, боюсь проронить напрасно каждую каплю воды, которой у меня было мало. Но вотъ умылся, что же я буду дѣлать въ настоящій день. Какъ доживу я до вечера? И сколько дней еще придется сидѣть взаперти?!. Вопросъ этотъ съ перваго же дня безпрестанно возни-

какъ во мнѣ, и я, по простотѣ души, въ соображеніи моемъ разрѣшалъ его очень наивно: — чрезъ двѣ недѣли, конечно, разъяснится уже все дѣло, но какъ прожить эти двѣ недѣли?! А затѣмъ, начинался другой, еще болѣе трудно разрѣшимый вопросъ: — «А послѣ этого заключенія, что будетъ съ нами?!..» Вопросъ этотъ былъ безотвѣтенъ, но предчувствія были зло-вѣщи и давали поводъ къ различнымъ мрачнымъ мыслямъ... Что же далѣе?—Стоить ли еще описывать это однообразное, мучительное верченіе въ себѣ самомъ и въ тѣсной клѣткѣ моего темничнаго заключенія? Изученіе послѣдовательныхъ измѣненій въ состояніи души и тѣла, наступающихъ у одиночно заключенныхъ на продолжительные сроки, составляетъ высокій интересъ для ученаго психолога и психіатра, но наблюдать ихъ не удалось еще никому, — ихъ только знаютъ и чувствуютъ на себѣ сами заключенные; а затѣмъ, если они и возвращаются въ свободную жизнь, то нуждаются въ продолжительномъ отдыхѣ и забвеніи всего перенесеннаго, а разрушенная прежняя обстановка жизни требуетъ новаго и большого труда отъ человѣка уже съ надломленными силами, и только, если кому-либо изъ таковыхъ, по истеченіи долгихъ лѣтъ, посчастливится оправиться, насколько возможно, и обезпечить вновь свою жизнь, — тотъ можетъ предаться воспоминаніямъ давно прошедшаго, сквозь туманную завѣсу десятковъ лѣтъ едва различая образы минувшаго.

V.

Въ дальнѣйшемъ теченіи моей тюремной жизни, какъ бы она, повидимому, въ сущности однообразна и монотонна ни была, вспоминаются, однако же, въ теченіе столь продолжительнаго времени, случавшіяся иногда и различныя отступленія отъ обыкновеннаго порядка, — случайныя происшествія дня, развлекавшія или отягчавшія меня еще большими мученіями. Объ нихъ хотѣлось бы упомянуть въ хронологическомъ

порядкѣ и на нѣкоторыхъ остановиться большее время. Хронологическій порядокъ, однако же, хотя и желателенъ, но онъ едва ли исполнимъ,—потому я желаю, насколько не измѣнить память, придерживаться его.

По прошествіи нѣсколькихъ дней у меня сильно болѣла голова, отъ маленькихъ на ней опухолей, переходившихъ въ нагноенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ стали дѣлаться нарывы на концахъ пальцевъ—вродѣ ногтедѣ, которые меня немало мучили. Нагноеніе было на всѣхъ пальцахъ рукъ, кромѣ большихъ пальцевъ. На головѣ оно произошло отъ давленія жесткою подушкой и, можетъ быть, отъ грязной наволочки, на рукахъ же потому, что ладонная часть и пальцы руки были постоянно подкладываемы подъ щеку и голову. Въ сравненіи съ тюремнымъ заключеніемъ эта маленькая бѣда была, конечно, ничтожна, но, однако же, она мнѣ причиняла ежеминутныя страданія и озабочивала меня желаніемъ избавиться отъ нея. Я тогда же понялъ настоящую причину этой несносной complicаціи общей большой нашей бѣды, и вотъ, въ утренній приходъ ко мнѣ дежурнаго офицера, я просилъ его дать мнѣ мыла и воды, какъ можно болѣе, а также и переменить подушку, — по крайней мѣрѣ приказать дать мнѣ чистое постельное бѣлье. Просьба моя относительно воды и мыла была исполнена въ тотъ же день, но подушка осталась до субботы, — дня, въ который перемѣнялось бѣлье всѣмъ. Чувствительность кожи головы у меня стала мало-по-малу уменьшаться и нарывы всѣ стали проходить. Вся эта болѣзнь, однако же, продолжалась около двухъ недѣль.

Безпрестанно предавался я соображеніямъ о томъ, какъ долго будемъ мы заключены въ крѣпости, и всегда утѣшалъ себя тою мыслью, что недѣли двѣ необходимо нашимъ судьямъ для разсмотрѣнія нашего дѣла, но болѣе этого срока, я никакъ не давалъ имъ. Съ одной стороны, дѣло казалось мнѣ весьма несложнымъ и незначительнымъ, а съ другой—я просто съ отвращеніемъ и боязнью убѣгалъ отъ всякой мысли о возможности продолжительнаго сидѣнія нашего въ крѣпости, и каждый прошедшій день считалъ уже пережитымъ жестокимъ страданіемъ. Невозможно же че-

ловѣка запереть безвыходно, безъ воздуха, въ полутемную комнату, одного, безъ всякихъ занятій и не торопиться освободить его. Вѣдь теперь весна, а мы всѣ задыхаемся въ гниломъ воздухѣ грязныхъ тѣсныхъ келій.

Такъ думалъ я и, влѣзая на окно къ форточкѣ, вливалъ въ себя струю свѣжаго воздуха. Каждый день прошедшій приближаетъ меня къ выходу. „Алчущіе и жаждущіе правды“ судьи наши, безъ сомнѣнія, торопятся привести въ извѣстность и кончить дѣло, и для нихъ тоже неимѣющее ничего привлекательнаго. Часто также думалъ я о времени: я спрашивалъ себя: «да какой-же у насъ теперь день и число?» На этотъ вопросъ я никакъ не могъ дать себѣ вѣрнаго отвѣта,— до того при этомъ внезапномъ погромѣ перепуталось въ головѣ исчисленіе. Каждый день спрашивалъ я себя: «Конецъ-ли апрѣля у насъ или уже май мѣсяцъ?» Прошло уже много дней—ію или болѣе, много думъ перемѣнялось въ головѣ, какъ вдругъ услышалъ я голоса людей, и звонъ въ этотъ день на Петропавловскомъ соборѣ, казалось, былъ болѣе, чѣмъ въ обыкновенные дни, я вскочилъ съ особеннымъ любопытствомъ на окно и на кружку и увидѣлъ проходящихъ и останавливающихся на валу крѣпости передъ нашими окнами: люди, повидимому, различныхъ сословій, по праздничному одѣтые мужчины, женщины и дѣти проходили и, приостанавливаясь, вглядывались въ наши окна и зарѣшетками спрятанныя въ нихъ лица, и бросали мѣдные деньги на маленькій дворъ нашъ. Я, устремивъ на нихъ глаза, всматривался въ каждого изъ любопытства, а также и изъ возможности увидѣть кого-либо изъ знакомыхъ. Пятаки шлепали о землю, въ разговорахъ упоминалось о святомъ Николаѣ, иные шептались, смотря на насъ. Грустное чувство произвело на меня это шествіе людей, подающихъ намъ милостыню. Насъ жалѣютъ, помочь не могутъ и бросаютъ деньги, какъ несчастнымъ замученнымъ. Шествіе это продолжалось недолго—съ $\frac{1}{4}$ часа, потомъ все утихло, исчезло, какъ видѣнье, и мы остались по-прежнему одинокими. Неожиданное явленіе это имѣло вліяніе на разъясненіе путаницы счета дней. Я уразумѣлъ вдругъ, что этотъ

день есть 9-е мая, Николинъ день, и былъ даже обрадованъ моимъ неожиданнымъ открытіемъ истиннаго времени. Съ этого дня я твердо установился въ исчисленіи времени и неупустительно велъ его въ продолженіе всѣхъ 8 мѣсяцевъ моего заключенія въ крѣпости.

Въ одинъ изъ дней первой половины мая тюремная жизнь моя была вдругъ нарушена слѣдующимъ обстоятельствомъ: въ утренній часъ я услышалъ хожденіе и бѣготню въ корридорѣ и вскорѣ затѣмъ звонъ ключей, остановившійся у моей двери: вошелъ знакомый уже мнѣ дежурный офицеръ по крѣпости. (Ихъ было всего два и третій плацъ-майоръ,—и они смѣнялись поочередно). Вмѣстѣ съ этимъ, служитель принесъ мое платье, въ которомъ я былъ арестованъ и которое у меня было отобрано. Мнѣ сказано было одѣваться. Сердце мое забилося; неужели меня освободятъ?—Нѣтъ, что-то другое ожидаетъ меня! Да, конечно,—меня требуютъ въ судъ, къ допросу. А потомъ?—Потомъ приведутъ опять сюда! Я одѣлся поспѣшно; офицеръ не расположенъ былъ разговаривать и мы вышли.

И я увидѣлъ днемъ тѣ мѣста, по которымъ меня вели ночью при арестѣ 23 апрѣля. Я проходилъ дворикъ поперекъ и затѣмъ продѣланный ходъ черезъ толстую крѣпостную стѣну, потомъ мостикъ, и затѣмъ я увидѣлъ себя на большемъ дворѣ крѣпости у задняго фаса со стороны Невы. Несмотря на мое безпокойство и мысли, сосредоточенныя на предстоящемъ допросѣ, я ощущалъ какое-то особое чувство радости, благосостоянія, отъ воздуха, меня объявшаго внѣ стѣнъ и потолка душной тюрьмы;—я смотрѣлъ на небо и по сторонамъ съ какимъ-то наслажденіемъ, взоръ отдыхалъ на представшихъ вдругъ глазамъ моимъ новыхъ предметахъ. Весенній день казался мнѣ ослѣпительнымъ, чуднымъ, живительнымъ. Вотъ я прохожу бульваромъ, — на немъ распускающіяся деревья и зеленая трава. Не видѣвъ ихъ въ этомъ году, я былъ удивленъ, какъ вдругъ все выросло, послѣ апрѣльскихъ холодныхъ дней, и готово уже перейти въ лѣто. «Охъ! засидѣлся я въ тюрьмѣ!—думалъ я. Какъ хороша жизнь

на свободѣ!» Рядомъ со мною шелъ офицеръ, а сзади слѣдовалъ солдатъ. Мы подошли къ бѣлому двухъ-этажному дому и вошли въ него. Тамъ введенъ я былъ по лѣстницѣ во второй этажъ, и затѣмъ предо мною отворилась дверь и я вошелъ въ небольшую свѣтлую комнату: въ ней увидѣлъ я сидящихъ за столомъ нѣсколькихъ человѣкъ. — Они имѣли видъ старыхъ, заслуженныхъ генераловъ и между ними одинъ былъ въ статскомъ платьѣ, со звѣздою. Ихъ было пятеро; какъ я узналъ впослѣдствіи, это были: князь Гагаринъ, — въ статскомъ платьѣ, — полный, блѣдный, сѣдой, казался старѣйшимъ изъ нихъ; князь Долгоруковъ; генералы: Ростовцевъ, Набоковъ, — комендантъ крѣпости, и Дуббельтъ. Сначала удостовѣрены были мое имя и фамилія, а потомъ князь Гагаринъ объявилъ мнѣ, что я состою участникомъ преступнаго дѣла, за которое и арестованъ, и единственная возможность смягченія моей участи — это полное признаніе во всемъ и открытіе всего мнѣ извѣстнаго въ дѣлѣ злоумышленія. Я долженъ былъ отвѣчать немедленно: какое у насъ было общество, кто члены его, поименовать всѣхъ и объяснить какая цѣль была тайнаго общества, какія средства употреблялись для достиженія цѣли.

Закиданный такими вопросами я былъ удивленъ и отвѣчалъ, что у насъ не было никакого общества, а потому и отвѣтить на всѣ остальные вопросы я не знаю что. Я же не могу нарочно вымышлять... Тогда я былъ спрошенъ о собраніяхъ въ домѣ Петрашевскаго, на которыхъ и я бывалъ. Мнѣ прибавлено было, что имъ все извѣстно и всякимъ скрытіемъ я только запутаю себя еще болѣе. «Что происходило на такомъ-то собраніи, такого-то числа и на томъ — тогда-то?» — Я отвѣчалъ, что я бывалъ иногда на вечерахъ Петрашевскаго, тамъ говорилось о различныхъ предметахъ — ученыхъ, литературныхъ, политическихъ. Что именно говорилось въ какой-либо день, я не помню, тѣмъ болѣе, что я не всегда же и бывалъ на этихъ вечерахъ.

«Нѣтъ, вотъ такого-то числа — 5 декабря вы были и вы не можете не знать, что тамъ дѣлалось и кто о чемъ говорилъ».

— Я рѣшительно не помню и не могу сказать. Мнѣ казались эти разговоры не столь важными, чтобы ихъ помнить, и я никакъ не думалъ, чтобы когда-либо я долженъ былъ отвѣчать объ этомъ.

«Кто бывалъ на этихъ вашихъ сходкахъ? Назовите всѣхъ, кого вы видѣли». — Я назвалъ нѣсколькихъ лицъ изъ тѣхъ, кого видѣлъ арестованными въ 3-мъ отдѣленіи 23 апрѣля. — «Я былъ знакомъ съ немногими, отвѣтилъ я, — большинство людей, встрѣчаемыхъ тамъ мною, было мнѣ неизвѣстно, и Петрашевскій не имѣлъ обыкновенія знакомить насъ».

Такимъ образомъ, я былъ допрашиваемъ въ этотъ разъ съ полчаса времени. Вопросы предлагаемы мнѣ были то тѣмъ, то другимъ изъ присутствующихъ, съ увѣщаніями и угрозами, но, видя, что отвѣты мои ничего не разъясняютъ, они не знали что уже спрашивать, и я былъ отпущенъ.

Допросомъ этимъ я былъ сильно взволнованъ и спускался съ лѣстницы, сопровождаемый тѣми же провожатыми.

Мы вышли снова на крѣпостной дворъ, меня снова обнялъ нѣжнымъ своимъ дыханіемъ весенній, чистый, незамкнутый воздухъ; я упивался имъ съ наслажденіемъ и замедлялъ ходъ.

«Опять туда же вы меня ведете?».

— Опять туда же, — отвѣтилъ сопровождавшій меня офицеръ

«Надолго-ли, — какъ думаете?».

— Не могу вамъ сказать, — мнѣ вѣдь ничего неизвѣстно.

Мы придвигались все ближе къ прежнему подсводному ходу и мостику, и вотъ я вновь перехожу маленький дворикъ, и двери тюремнаго корридора уже отворились, и я вошелъ въ него и сразу почувствовалъ разительную перемѣну воздушной среды. — Темно и душно; въ амбразурахъ видна Нева; вотъ и дверь моей кельи открыта, и я вновь введенъ въ нее и запертъ на ключъ. Вотъ и судъ начался, думалъ я, а уже болѣе двухъ недѣль сижу я въ тюрьмѣ и сколько еще времени просижу. Неужели еще двѣ недѣли? И отчего такъ медленно ведутъ они дѣло? Развѣ оно такое боль-

шое?!... Тяжело было на душѣ и мысли съ каждымъ днемъ все болѣе мрачныя отягчали меня! Тюремная моя келья была, кажется, четвертая отъ входной двери мрачнаго корридора. Стѣны отдѣляли меня отъ моихъ сосѣдей справа и слѣва. Мнѣ слышны были ихъ шаги, повременамъ слышались глубокіе громкіе вздохи. Иногда, то тамъ, то здѣсь, слышенъ былъ по корридору, черезъ нѣсколько стѣнъ, плачь кого-либо,—то рыданіе, то всхлипываніе.

Тишина, спертый воздухъ, полнѣйшее бездѣлье, доходившіе до меня то возгласы, то вздохи заключенныхъ товарищей, неизвѣстныхъ мнѣ,—все это вмѣстѣ производило удручающее вліяніе, отнимавшее окончательно бодрость духа. Нервное утомленіе, или, лучше сказать, переутомленіе начало выражаться безпрестанной зѣвотой; часто слезы текли изъ глазъ, иногда пробѣгала какая-то дрожь по спинѣ. Повременамъ появлялись приступы болѣе сильной тоски и выражались какимъ-то, прежде сего никогда не знакомымъ мнѣ, неостановимымъ плачемъ, послѣ чего впадалъ я въ совершенную апатію и оставался безъ движенія, безъ мысли. Запасъ жизни, однако, меня пробуждалъ снова къ дѣятельности въ замкнутомъ кругу. Мысли роились снова, то блуждая въ воспоминаніяхъ прошедшаго, то останавливаясь на безвыходномъ положеніи настоящаго. По истеченіи нѣкотораго времени, стали слышаться не одни печальные стоны, но и пѣсни кое-гдѣ между заключенными. Пѣсни становились болѣе частыми и болѣе громкими; по содержанію онѣ были весьма разнообразны: то слышалась знакомая пѣсня, протяжная, заунывная, то незнакомые мнѣ напѣвы,—словъ нельзя было разобрать: однажды услышалъ я «A'lons enfants de la patrie, le jour de la gloire est arrivé...» что было какъ бы ободряющимъ и призывающимъ къ терпѣнію. Дѣлать нечего, надо было утѣшать и ободрять себя чѣмъ возможно, хотя бы минутнымъ обманомъ, лишь бы какъ-нибудь пережить это трудное, мучительное заключеніе. Вскорѣ и сосѣдъ мой съ правой стороны сталъ пѣть, и голосъ его и пѣніе, слышанные мною часто, привлекали мой слухъ и развлекали меня немало. Онъ пѣлъ какъ соловей поетъ въ

клѣткѣ. Имя его я узналъ прежде выхода моего изъ тюрьмы, какъ о томъ я объясню ниже.

Однажды, осматривая кровать мою, старую, расшатанную временемъ уже, я замѣтилъ въ одномъ углу ея торчащій гвоздь; взявшись за него, я увидѣлъ, что онъ сидитъ не очень крѣпко, его можно съ усиліемъ расшатать и вытащить. Гвоздь этотъ казался мнѣ вещью полезною въ моемъ положеніи: какъ орудіе самозащиты и самоубійства въ случаѣ уже невозможности перенести неизвѣстное, ожидаемое мною. Я ухватилъ его крѣпко и шаталъ и тянулъ съ роздыхами, до тѣхъ поръ, пока не вытянулъ. Гвоздь оказался длиннымъ, съ палецъ и толстымъ—съ писчее перо. У меня ничего не было, потому и гвоздь этотъ составлялъ для меня цѣнную вещь, и онъ мнѣ, въ безпомощномъ моемъ положеніи, оказался не бесполезнымъ, какъ я объясню послѣ. Первое употребленіе, которое я извлекъ изъ него,—это чистка ногтей нѣсколько разъ въ продолженіе дня. По извлеченіи его, онъ почти не выходилъ у меня изъ рукъ. Я его тщательно пряталъ отъ взоровъ сторожей и входившихъ ко мнѣ ежедневно, для подачи пищи, офицеровъ и служителей. Стоя на окнѣ у фортки, я точилъ его о желѣзную рѣшетку, или слегка затуплялъ его, смотря по расположенію духа. Гвоздь этотъ я берегъ, какъ вещь мнѣ весьма нужную и тщательно сохранялъ его до конца моего пребыванія въ крѣпости. Объ употребленіи его я скажу послѣ.

Первый мѣсяцъ тюремной жизни въ Петропавловской крѣпости казался мнѣ жестокимъ, невыносимымъ, но, по истеченіи его, образовалась уже нѣкоторая выносливость. Не то чтобы пребываніе это въ заключеніи сдѣлалось болѣе сноснымъ,—нѣтъ, я жилъ одною мыслью, что дѣло наше должно окончиться, если не сегодня, то завтра, но вмѣстѣ съ тѣмъ меня не удивляла уже и не возбуждала во мнѣ омерзенія моя душная, съ загрязненными стѣнами, тюремная келья. Я примѣнился къ минимальной простѣйшей жизни и размышлялъ о томъ, какъ сдѣлать ее менѣе тягостною, менѣе вредною для здоровья, убѣждая себя, что вѣдь пройдетъ же это время не завтра, такъ послѣзавтра, черезъ недѣлю. Фортка держалась открытою день и

ночь, во всякую погоду; воды я не переставалъ требовать два раза въ день, большую кружку; сталъ ходить по комнатѣ для движенія, а иногда прыгалъ и дѣлалъ гимнастику; ѣлъ чрезвычайно мало. Большую часть дня сталъ проводить я, стоя на окнѣ, носомъ въ фортокѣ.— Сторожъ, присматривавшій въ наши кельи, рѣдко исполнялъ свои обязанности. Иногда, увидѣвъ меня стоящимъ на окнѣ, онъ стучалъ и говорилъ: «сойдите съ окна», я сейчасъ же сходилъ, но потомъ вскорѣ опять вспрыгивалъ на площадку окна и стоялъ, пока не уставалъ. Наконецъ, и сторожа, все одни и тѣ же, уже привыкли къ нашимъ безвреднымъ привычкамъ и, внося пищу столько разъ, и не получая ни отъ насъ, ни черезъ насъ никакихъ непріятностей по службѣ, считали насъ уже какъ бы своими людьми, которыхъ обижать, безъ надобности, не слѣдуетъ, и эти напоминанія о схожденіи съ окна совершенно прекратились. Офицеры, посѣщавшіе насъ, которыхъ было всего три (одинъ рыжій, всегда кашлявшій, больной, худой, для меня весьма непріятный, другой—брюнетъ, очень высокій, худой тоже, который мнѣ нравился, и третій—миловидный плацъ-майоръ—нѣмецъ—для меня безразличный), вначалѣ бывшіе съ нами почти совершенно безсловесными, стали болѣе внимательны къ намъ и не такъ молчаливы и безучастны. Одинъ изъ нихъ, не помню который, на просьбу мою, нельзя ли получить какую-нибудь книгу для чтенія, предложилъ мнѣ сначала имѣющуюся у него въ распоряженіи библію, которую я и просилъ его принести мнѣ, а потомъ онъ досталъ мнѣ вскорѣ и другую книгу,—одинъ изъ старыхъ журналовъ, — кажется «Отечественныя Записки». На книги эти я набросился съ жадностью и читалъ.

VI.

Чтеніе доставленныхъ мнѣ, кажется, плацъ-майоромъ, книгъ было для меня большимъ развлеченіемъ. Библію на славянскомъ языкѣ я нерѣдко перелистывалъ и

прежде, когда былъ на волѣ, и многое было прочитано мною уже прежде, но, имѣя эту книгу въ такое бѣдственное время, я накинута на нее съ особеннымъ увлеченіемъ, ища въ ней пищи для размышленія и утѣшенія. Я развертывалъ ее въ разныхъ мѣстахъ и прочитывалъ цѣлыя главы. Пятикнижіе прочитано было уже мною прежде, все подрядъ, потому я читалъ далѣе—изъ книгъ: Иисуса Навина, Судей, Царей и Пророковъ, Псалмы Давида, страданія Іова и книга Эсфирь прочитаны были съ большимъ вниманіемъ. Но все тяжелая, убійственная тоска не оставляла меня, и повременамъ я впадалъ въ какое-то малодушное отчаяніе. Чѣмъ долѣе длилось заключеніе, тѣмъ ненавистнѣе и ужаснѣе казалось оно мнѣ. Въ груди начинало появляться какое-то судорожное дрожаніе—не то плачь, не то смѣхъ. Какъ ни старался я утѣшать себя размышленіемъ, что не я одинъ, но всѣ же мы страдаемъ, и что и прежде было такъ, и люди—и лучше и выше меня во всѣхъ отношеніяхъ бывали заключаемы въ темницахъ и нерѣдко кончали и жизнь свою въ мукахъ, такъ отчего же мнѣ должна быть лучшая судьба? И чья въ дѣйствительности лучшая судьба, живущаго ли въ довольствѣ на свободѣ, угодника людскихъ страстей, или гонимаго людьми, заключеннаго въ темницу? Такого рода разныя размышленія, наводившія меня на истинный правдивый путь, посѣщали меня повременамъ, возвышали духъ мой надъ обыкновеннымъ уровнемъ житейскаго моря, въ которомъ такъ легко захлебнуться и пойти ко дну, но это было кратковременно, минутно, а все остальное время я готовъ былъ горько расплакаться о потерянной мною жизни, которую я страстно любилъ! Но вотъ настало второе испытаніе—я вновь приведенъ былъ предъ лицо судей:

«Вы говорили намъ, что вы ничего не знаете и мы повѣрили тому, но теперь изъ дѣла обнаружилось, что вы одинъ изъ болѣе виновныхъ, замышлявшихъ произвести государственный переворотъ. Вы стремились перевернуть вверхъ дномъ весь настоящій порядокъ—разрушить всѣ города!»

Я стоялъ и слушалъ. «Они, безъ сомнѣнія, прочли набросанную мною рѣчь за обѣдомъ Фурье», думалъ я.

«Какія собранія были у васъ? Какой обѣдъ у васъ былъ, и у кого, и что тамъ было?»

— У Петрашевскаго—отвѣчалъ я.

«Это же неправда,—вы лжете. Назовите вашего товарища, у котораго былъ обѣдъ!»—Обѣдъ былъ у меня,—отвѣчалъ я,—смущенный.

«Вы насъ не можете обмануть или скрыть чего-либо: все дѣло ваше намъ извѣстно... у кого былъ обѣдъ,—кто былъ тамъ и о чемъ было тамъ говорено?»

— «Вамъ же извѣстно все наше дѣло, зачѣмъ же вы меня спрашиваете? О себѣ хочу я объяснить, что я не имѣлъ въ виду никакого насильственнаго переворота...

«Да, только хотѣли разрушить столицы и города!.. Знаете ли вы, что васъ ожидаетъ по закону?»

При этихъ словахъ, князь Гагаринъ развернулъ томъ закона и прочиталъ соотвѣтственное мѣсто о смертной казни. Я стоялъ, не зная, что говорить.

«Ахшарумовъ!»—сказалъ мнѣ справа сидѣвшій за столомъ генералъ,—это былъ Ростовцевъ, какъ я узналъ впоследствии,—«мнѣ жаль васъ! Я зналъ вашего отца,—онъ былъ заслуженный генералъ, преданный Государю, а вы, сынъ его, сдѣлались участникомъ такого дѣла!» Обращаясь ко мнѣ съ этими словами, онъ смотрѣлъ на меня пристально, какъ бы съ участіемъ, и въ глазахъ его показались слезы. Меня удивило это участіе незнакомаго мнѣ лица и оно казалось мнѣ искреннимъ.

«Вы поймите то, говорилъ князь Гагаринъ, что ваша жалкая участь можетъ быть только облегчена вашимъ признаніемъ и раскрытіемъ всего,—какъ это означено въ этомъ пунктѣ закона».

Я стоялъ молча и меня, сколько мнѣ помнится больше ни о чемъ не спрашивали.

«Намъ съ нимъ больше говорить нечего»,—продолжалъ князь Гагаринъ,—«ему надо дать время одуматься; дѣло это касается его жизни. Вотъ, мы вамъ предлагаемъ писать все, что у васъ было.—Ступайте!»

Мы вышли.—Нечего не говоря, шелъ я, куда меня вели; представшая минутно моимъ удивленнымъ глазамъ картина уже вполнѣ наставшаго лѣта, перехода

котораго съ весны я совсѣмъ не видѣлъ, и живительный воздухъ свѣтлаго майскаго дня исчезли для меня, и я захлопнуть былъ снова тюремную дверь.

Замученный мѣсячнымъ тюремнымъ заключеніемъ, передъ судомъ, однако же, предсталъ я въ возбужденномъ состояніи и былъ сдержанъ въ моихъ отвѣтахъ, но когда остался я одинъ, самъ съ собою, слезы полились, и я заплакалъ, какъ никогда въ жизни со мною не случалось.

Отдавшись весь тоскѣ, я плакалъ горько, какъ вдругъ услышалъ, что ключъ воткнутъ былъ снова въ замокъ моей двери. — Это остановило меня сейчасъ же. Дверь отворилась; вошелъ какой-то чиновникъ и, положивъ ко мнѣ на столъ бумагу, чернила и перо, обратился съ вопросомъ: «здѣсь 6 листовъ, довольно ли будетъ?» — Возьмите вашу бумагу и оставьте меня, — сказалъ я ему. Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ и, не отвѣтивъ мнѣ ничего, ушелъ.

Не могу вспомнить я болѣе, что было со мною въ этотъ день, какъ прожилъ я его, но день этотъ былъ для меня одинъ изъ самыхъ мучительныхъ. На другой день я проснулся очень утомленный. Во снѣ преслѣдовали меня все тѣ же дневныя картины предшествовавшаго дня, смертная казнь, въ различныхъ ея видахъ, начала представляться мнѣ. Вспомнились мнѣ и рассказы, слышанные мною прежде о заключенныхъ въ казематахъ крѣпости.

.....
Бумага лежала на столѣ, — писать или не писать? Вопросы эти начинали все болѣе и чаще неотвязно преслѣдовать меня. «Они увеличиваютъ нашу вину; имъ представляется Богъ знаетъ что: — тайное общество, заговоры!.. Если бы они знали въ дѣйствительности всю правду, то, можетъ быть, и успокоились бы!» Такія мысли начинали все чаще появляться и все болѣе упрочиваться въ моемъ мышленіи, и привели меня мало-по-малу къ тому заключенію, что лучше изложить имъ дѣло, какъ оно было въ дѣйствительности, упомянувъ объ обстоятельствахъ, которыя несомнѣнно должны быть имъ извѣстны, или не могутъ не быть узнаны изъ найденныхъ у насъ бумагъ. Нѣ-

которые изъ насъ незадолго до ареста говорили, что хорошо бы все происходящее записывать, и одинъ изъ нихъ—Ханыковъ—человѣкъ самаго живого характера, котораго любимымъ дѣломъ было поддерживать связь между всѣми нами, имѣвшій огромный кругъ знакомства, уже принялся, какъ это было мнѣ извѣстно, за описаніе дѣятельности отдѣльныхъ кружковъ. Кромѣ того, А... агентъ 3-го отдѣленія, болѣе полугода посѣщалъ собранія Петрашевскаго. Онъ же былъ родственникъ Толя, который гораздо раньше былъ знакомъ съ Петрашевскимъ, чѣмъ я. Отъ него разузналъ онъ, безъ сомнѣнія, обо всемъ и предалъ его и насъ всѣхъ.—«Мнѣ надо писать,—говорилъ я,—писаніемъ моимъ я не сдѣлаю ни малѣйшаго вреда никому изъ арестованныхъ, а, можетъ быть, даже кого-либо удастся оправдать или уменьшить вѣняемую ему вину; Петрашевскаго, конечно, оправдать я не могу—на немъ лежить вина всѣхъ насъ вмѣстѣ».

Что касается меня самого, то вопросъ этотъ казался мнѣ всего менѣе труднымъ: нечего болѣе и думать скрыть что-либо, а надо прямо, откровенно, рассказать все, признать себя виновнымъ и просить прощенія, — такъ какъ смерть моя не принесетъ пользы никому, а жизнь я любилъ слишкомъ горячо, чтобы разстаться съ нею.

Такъ размышлялъ я, съ различными варіаціями, еще цѣлый слѣдующій день, а на третій утромъ сталъ писать.

И вотъ, написалъ, что Петрашевскій одинъ только и виновенъ, онъ одинъ только и дѣйствовалъ, желая измѣнить общественное мнѣніе, но дѣйствіе какимъ-либо насиліемъ никогда не было у него въ виду. Я поименовалъ тѣхъ лицъ, которыхъ видѣлъ арестованными, и выражалъ мнѣніе, что неправильно думать, что всѣ, посѣщавшіе собранія Петрашевскаго, были съ нимъ одинаковыхъ мыслей относительно политическихъ и соціальныхъ вопросовъ; что у Петрашевскаго собирались весьма различные люди и были не одни только осужденія настоящаго государственнаго порядка, но и горячіе споры въ защиту его. Одно посѣщеніе собраній Петрашевскаго никакъ не можетъ быть кому-либо

поставлено въ вину. Наконецъ, окончивъ описаніе фактовъ, вмѣняемыхъ намъ въ общую вину, я перешелъ къ подробному изложенію объ участи моемъ въ этомъ дѣлѣ и, признавая себя виновнымъ письменно и мысленно, я написалъ, по правдѣ сказать, о себѣ много лишняго, чего бы вовсе не слѣдовало писать, но я былъ очень упавши духомъ и испуганъ смертною казнью. Окончилъ я мое писаніе нѣсколькими строками, обращенными къ государю, въ которыхъ я изъявлялъ искреннее мое во всемъ раскаяніе и просилъ о прощеніи моей вины, но я не могу не прибавить теперь, что я постыдно лгалъ на себя, такъ какъ по совѣсти не чувствовалъ за собой никакой вины.

Рукопись эта была у меня взята, а нѣкоторые листы бумаги, написанные мною, разорваны въ мельчайшіе клочки и выброшены. На другой день я былъ позванъ въ судъ. Меня пригласили прочесть написанное, оставивъ меня на нѣкоторыхъ мѣстахъ разспросами. Ростовцевъ интересовался однимъ вмѣстѣ съ нами арестованнымъ офицеромъ Московскаго полка (фамилію его я не помню), о которомъ я упоминалъ, какъ о заслуживающемъ отъ правительства награды, а не наказанія. — Онъ и не былъ въ послѣдствіи въ числѣ обвиненныхъ.

Меня спросили еще о Данилевскомъ, но я отвѣчалъ, что онъ прежде посѣщалъ собранія Петрашевскаго, но потомъ удалился ото всѣхъ. Меня заставили написать сказанное о немъ, что и было мною сдѣлано между строками.

Такова была моя письменная апологія, составленная подъ страхомъ насильственной смерти. Послѣ этого прошло уже слишкомъ 35 лѣтъ, и вотъ я стою передъ концомъ моей жизни и пишу рукопись о быломъ — какъ мою исповѣдь!

VII.

Прошелъ мѣсяцъ моего пребыванія въ крѣпости. Приблизительно около этого времени, въ концѣ 4-й недѣли или началѣ 5-й, произошли нѣкоторыя пере-

мѣны вообще въ ежедневномъ, однообразномъ ходѣ нашей жизни, кромѣ того, и нѣкоторыя случайныя новости, собственно мои, на которыя я натолкнулся въ моемъ одиночествѣ, составившія для меня, въ свое время, событія дня весьма важныя. Въ точности не могу вспомнить, но приблизительно въ это время двери наши отворялись не два, — а три раза; — намъ подавался чай утромъ, затѣмъ обѣдъ, и съ вечерней пищей приносился и чай. Для этого были у меня стаканъ, блюдечко и чайникъ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ были у меня: свѣча и спички, гребенка и зеркальце, и я ежедневно дѣлалъ кое-какъ свой туалетъ.

Однажды съ вѣтромъ залетѣлъ ко мнѣ въ фортку табачный дымъ, и запахъ этотъ, котораго я давно не слышалъ, былъ мною воспринятъ съ особеннымъ удовольствіемъ. Я курилъ въ то время, и хотя лишеніе этого, въ виду лишенія вообще свободы, я почти не чувствовалъ, но при ощущеніи пріятнаго запаха, прежде любимаго мною куренія, я пожалѣлъ, что у меня нѣтъ нужныхъ для того припасовъ, и, при первомъ же отвореніи двери, я спросилъ объ этомъ дежурнаго офицера. Онъ очень любезно отвѣтилъ, что куреніе дозволяется, но только на свой счетъ. Я сказалъ, что въ день ареста у меня былъ въ карманѣ кошелекъ съ нѣсколькими рублями и просилъ его купить мнѣ какую-нибудь простую, небольшую трубку—тогда папиросъ еще не было — и Жукова табаку. Желаніе это было исполнено въ тотъ же день; не помню я, какая трубка у меня была, но $\frac{1}{4}$ фунтовую, въ синей бумагѣ, пачку знаменитаго желтаго «Жукова кнастеру» едва ли кто изъ курившихъ его въ прежнія времена можетъ забыть. Ароматъ его, кажется мнѣ, и теперь я узналъ бы изъ множества въ природѣ существующихъ запаховъ, такъ же, какъ и въ послѣдствіи *Mariland-doux* и соломенныхъ пахитосъ. Какъ мнѣ ни было тоскливо и отвратительно на душѣ, но, набивъ трубку милѣйшимъ табакомъ и потянувъ его, я почувствовалъ какъ бы разлившееся по жиламъ моимъ пріятнѣйшее ощущеніе. Удовольствіе, какъ бы опьяненіе какое, продолжалось, конечно, минутно и было только въ первый разъ для меня столь пріятно. Потомъ скоро оно сдѣлалось

обыкновеннымъ и даже, полагаю, оказывало свое угнетающее вліяніе на выносливость заключенія.

Въ одно время произошло еще одно обстоятельство, имѣвшее самое большое вліяніе на все это мучительное и долгое время заключенія. Оно внесло отвлекающій элементъ отъ мыслей о себѣ самомъ:—роднымъ заключенныхъ, вѣроятно, своими просьбами, удалось получить разрѣшеніе имѣть непосредственныя свѣдѣнія отъ насъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, улучшить, насколько возможно, наше довольно суровое содержаніе. Мнѣ было предложено написать письмо роднымъ и просить ихъ прислать книгъ и всего, что нужно для развлеченія. По написаніи же, бумага и чернила были отобраны, корреспонденція отдавалась открытою. Я, конечно, съ радостью воспользовался этимъ, и вотъ мнѣ въ скоромъ времени присланы были книги, которыя я желалъ. Я получилъ нѣсколько частей сочиненій Гете, нѣкоторые романы Вальтеръ-Скотта, *Comdiès de Molière* и другіе, которые я теперь не помню. Вмѣстѣ съ этимъ мнѣ было сообщено, что получены деньги для моихъ издержекъ, присланы фрукты и конфекты. Когда я взглянулъ на все мнѣ доставленное, то меня это прежде всего ужасно огорчило: такъ много прислано мнѣ, стало быть, нѣтъ надежды на скорое окончаніе нашего дѣла и, мнѣ казалось, что прежде, чѣмъ я не съѣмъ всю корзину, наше дѣло не можетъ кончиться. Величина запаса, присланнаго для моего утѣшенія моими братьями и тетушкой моей, произвела на меня угнетающее впечатлѣніе. Они же, вѣроятно, освѣдомились, что дѣло еще не скоро кончится, и вотъ потому и прислали такъ много, чтобы хотя чѣмъ-нибудь облегчить мое тяжелое заключеніе. Несмотря на это, однако же, я въ мысляхъ моихъ никакъ не могъ допускать,—единственно потому, что это казалось мнѣ ужаснымъ,—чтобы дѣло наше могло продолжаться еще болѣе двухъ недѣль. Это самый долгій срокъ, думалъ я, но какъ же дожидаться окончанія его. Сладости, присланныя мнѣ, меня нисколько не радовали,—горе и лишеніе существенныхъ, жизненныхъ потребностей были слишкомъ велики, и всѣ мысли и желанія мои были фиксированы на одномъ вопросѣ: когда-же, наконецъ, окончится судъ надъ нами.

Въ одно утро, стоя у форточки, я услышалъ тихій разговоръ справа отъ меня сидящаго съ заключеннымъ, своимъ тоже правымъ сосѣдомъ. Я вслушивался, но словъ разобрать не могъ,—амбразура, оконное углубленіе каменной стѣны было глубиною болѣе полуаршина; непосредственно за рамой окна—на разстояніи вершковъ двухъ—была вбитая въ камень желѣзная рѣшетка, да и высунуться головой изъ маленькой фортки было невозможно. Какъ я ни вслушивался, но словъ разслышать не могъ. Слыша, однако же, какъ сосѣди мои безпрепятственно, мило бесѣдуютъ, и я, наконецъ, тихимъ голосомъ обратился къ моему сосѣду,—и отъ него сейчасъ получилъ отвѣтъ: фамилія его была Щелковъ, моя сдѣлалась извѣстна ему также. Я узналъ отъ него, что подлѣ него сидитъ такой-то—не помню кто, а за нимъ Дебу старшій. Далѣе сего свѣдѣнія его не простирались. Щелкова видѣлъ я иногда у Петрашевскаго, но знакомъ съ нимъ не былъ. Мы начали разговаривать тихо, и такъ бы, можетъ быть и продолжалось все время, пока мы сидѣли рядомъ, но вдругъ, слѣва отъ меня кто-то громко назвалъ меня по фамиліи и часовой, ходившій около оконъ, закричалъ: «послать ефрейтора», и затѣмъ произошли на дворѣ переговоры стражи. Этимъ прекратились всѣ наши дальнѣйшія попытки къ тихой бесѣдѣ—столь благодѣтельному и отрадному развлеченію для одиночно-заключенныхъ. Наши невинныя обращенія одного къ другому, могшія доставить намъ истинное утѣшеніе въ одиночествѣ, не остались безъ послѣдствій. О Щелковѣ суду, кажется, осталось совершенно неизвѣстнымъ, но полагалось, что я съ какимъ-то арестованнымъ вступилъ въ недозволенное сношеніе, вслѣдствіе чего на другой же день я потребованъ былъ въ судъ. Арестованный этотъ былъ Европеусъ, но это осталось суду неизвѣстнымъ.—Въ судѣ въ этотъ разъ на меня напустился со всею военною строгостью—комендантъ Набоковъ. Затѣмъ, послѣ допроса о томъ, съ кѣмъ я говорилъ и о чемъ и послѣ полученныхъ отъ меня во всемъ отрицательныхъ отвѣтовъ,—«что разговора еще не было, но была только попытка разговора, и что я даже не знаю съ кѣмъ»,—мнѣ сказалъ князь

Гагаринъ, что фортка моя будетъ запечатана. Мнѣ было ужасно услышать это и я съ горячностью возразилъ:

— Да развѣ возможно запечатать фортку?—вѣдь я же задохнусь!

«Невозможно? А развѣ фортка у васъ для разговора?»

— Я обѣщаю, что болѣе не буду говорить, а фортку прошу мнѣ оставить, я безъ воздуха жить не могу.

«Вы довольны своимъ помѣщеніемъ?»—спросилъ у меня гнѣвнымъ тономъ Набоковъ.

Я не зналъ, что отвѣчать на такой неожиданно поставленный мнѣ вопросъ, но чувствовалъ, что надо отвѣтить утвердительно:

— Надо быть довольнымъ—сказалъ я тихимъ голосомъ.

«Въ крѣпости у меня есть куда васъ посадить—такія мѣста...»—тутъ онъ не договорилъ, — «тамъ не будете разговаривать!»

Существовали ли въ дѣйствительности въ 1849 г. такія мѣста въ Петропавловской крѣпости, или слова эти сказаны были только для устрашенія меня, но они на меня произвели сильное впечатлѣніе, и когда меня отпустили, то я шелъ съ большимъ опасеніемъ, чтобы меня не перевели куда-либо въ подвальную яму; занимаемое мною помѣщеніе казалось мнѣ приютомъ, убѣжищемъ еще отъ большихъ страданій. «Еще новая бѣда!—подумалъ я,—и въ худшемъ есть еще гораздо худшее!» Вся моя забота, все мое желаніе сосредоточилось въ этотъ день на томъ, какъ бы мнѣ сохранить мою драгоценную келью.

Прошло еще недѣли двѣ или болѣе, какъ я вновь потребованъ былъ въ судъ. Во всѣ эти единственные выходы мои изъ полутемной и душной кельи, въ которой меня держали взаперти, безвыходно, въ самое прекрасное лѣтнее время года, когда я только ступалъ на дворъ крѣпости и кругомъ меня не было ни стѣнъ, ни потолка, а надъ головою открывалось ничѣмъ не заслоненное небо, меня обнимало какое-то упоительное чувство. Глаза, привыкшіе къ полутъмѣ, немного при-

щуривались отъ ослѣпительнаго блеска лѣтняго дня и воздухъ, обдававшій меня со всѣхъ сторонъ, казался мнѣ живительнымъ, чуднымъ, но что болѣе всего поражало меня—это скачки временъ года, прежде въ жизни никогда невиданные, внезапные переходы въ природѣ: я взятъ былъ 23 апрѣля, когда деревья еще не распускались; выведенный черезъ 2 недѣли, я увидѣлъ весну въ полномъ ея развитіи, а затѣмъ вдругъ передъ глазами моими вполнѣ облиственныя деревья и, наконецъ, внезапно, какъ бы съ поднятіемъ занавѣса, полная картина цвѣтущаго лѣта. Едва успѣвалъ я предаваться этимъ оживляющимъ ощущеніямъ, какъ уже вводимъ былъ въ бѣлый двухэтажный домъ, стоявшій среди крѣпости. Тамъ засѣдала слѣдственная комиссія,—казавшаяся мнѣ, по невѣднію моему, окончательнымъ уже судомъ надъ нами.—И въ этотъ разъ, воспріавъ наслажденіе выхода изъ тюрьмы, я черезъ пять минутъ, стоялъ уже вновь передъ лицомъ моихъ судей.

«Въ послѣднемъ вашемъ съ нами разговорѣ, и письменномъ вашемъ показаніи, вы утверждали, что у васъ не было никакого тайнаго общества и никакихъ опредѣленныхъ цѣлей, а между тѣмъ это оказалось ложью».

— Я все сказалъ, что я знаю, и теперь утверждаю то же,—что у насъ не было никакого общества.

«Ну, такъ, чтобы доказать вамъ, уличить васъ во лжи, вотъ»—при этихъ словахъ князь Гагаринъ показалъ мнѣ какой-то листъ и, обернувъ его ко мнѣ и закрывъ рукою подпись, сказалъ—читайте!

— Я прочелъ слѣдующія строки, меня не мало удивившія:

«Вступая въ общество, я обязуюсь, когда комитетъ объявитъ, что общество уже въ силѣ, быть въ назначенный день и часъ въ назначенномъ мѣстѣ, имѣя при себѣ холодное или огнестрѣльное оружіе...»

Далѣе я былъ остановленъ въ чтеніи.

«Теперь вы видите! Чья это рука, — развѣ вы не знаете, кто были участники этого общества?»

— Я не знаю объ этомъ ничего,—отвѣчалъ я.

«А если будетъ доказано, что вы это знали, то вамъ не будетъ сдѣлано никакого снисхожденія».

— Если будетъ доказано это, тогда только я и могу быть обвиненъ.

«Вы надѣетесь на то, что это не будетъ доказано,— сказалъ Ростовцевъ,—и потому считаете себя вправѣ умолчать объ этомъ».

— Я васъ увѣряю, что объ этомъ я ничего не знаю, и не знаю, кто писалъ эти строки. Между нами, арестованными по одному дѣлу, вовсе не было такихъ близкихъ отношеній, чтобы мы могли знать почеркъ каждаго, и кто что дѣлалъ.

— «Знакомы вы съ Черносвитовымъ?»—спросилъ меня князь Гагаринъ.

— Я первый разъ слышу такую фамилію и не знаю, о комъ вы меня спрашиваете.

Я вышелъ подъ особымъ впечатлѣніемъ узнанной мною новости. Воздушное путешествіе мое было кратковременно, и я вновь былъ запертъ въ ненавистную мнѣ тюрьму. Мысль о прочтенныхъ мною, для меня весьма интересныхъ, строкахъ и какой-то загадочной для меня личности Черносвита не выходила у меня изъ головы. Я зналъ, что между лицами, посѣщавшими собранія Петрашевскаго, были и самыя отчаянныя личности, которымъ собранія Петрашевскаго, по мирному ходу бесѣдъ, казались бездѣтельными и ни къ чему не ведущими, и что они готовы были отдѣлиться и составить свой рѣшительно дѣйствующій кружокъ, но съ ними я почти не былъ знакомъ и вовсе не желалъ сближаться.

Существованіе тайнаго общества, которое было бы достаточно сильно, чтобы избавить отъ заключенія всѣхъ приговариваемыхъ къ смертной казни, безъ сомнѣнія, было бы великою новостью для всѣхъ арестованныхъ, но надежды на это у меня вовсе не было никакой,—потому и это, казалось бы, очень важное, новое для меня свѣдѣніе, было только новостью дня, нарушившею нѣсколько однообразіе тюремнаго заключенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ показало мнѣ еще болѣе, какъ легкомысленны и безумны были люди, замышлявшіе насильственный государственный переворотъ. Новость эта отягчала мои мысли еще тѣмъ, что обнаружили новыя обстоятельства, которыя усложняли и потому

затягивали разсмотрѣніе нашего дѣла, уже и такъ продолжавшагося около двухъ мѣсяцевъ. Надежда на скорое окончаніе рушилась и отложена была вновь на двухнедѣльный срокъ, казавшійся мнѣ наиболѣе длиннымъ и совершенно, по моему крайнему легкомыслію, достаточнымъ для выясненія всякаго сложнаго дѣла.

Послѣ столькаго сидѣнья, думалъ я, еще двѣ недѣли!—Это невыносимо!

Двухнедѣльнымъ срокомъ обманывалъ я себя все время заключенія и, если бы не этотъ утѣшавшій меня самообманъ, я впалъ бы въ совершенное уныніе, съ полнымъ убѣжденіемъ не выжить этой долгой пытки.

И вотъ прошло еще двѣ недѣли, какъ не въ обыкновенное время отворилась дверь моей кельи и принесена была мнѣ большая, сшитая *in folio*, тетрадь. Принесшій, вручая мнѣ ее, сказалъ: «это вопросы, поставленные вамъ судомъ, на которые требуется вашъ письменный отвѣтъ». Сказавъ это, онъ ушелъ, оставивъ меня въ непріятномъ удивленіи и новомъ тягостномъ вопросѣ, что это еще такое?!

— Опять задержка! Когда же будетъ конецъ всему этому?!

Принесенная тетрадь, прежде всего, поразила меня своею тяжеловѣсностью; положивъ ее на столъ, я раскрылъ и увидѣлъ на каждой страницѣ особый вопросъ. Нѣкоторыя оставлены были пустыми, для полноты отвѣта. Первый вопросъ казался мнѣ лишнимъ: спрашивалось, какъ меня зовутъ, мое имя, отчество, фамилія, лѣта, гдѣ воспитывался; а второй затѣмъ вопросъ былъ для меня удивителенъ и страшенъ: спрашивалось, когда я исповѣдывался и приобщался Святыхъ Тайнъ!—Для чего это, какъ не для предстоящей мнѣ смертной казни. Такъ думалъ я тогда, да и теперь не знаю, предлагается ли такой вопросъ вообще всѣмъ подсудимымъ или только тѣмъ, которые осуждаются на смертную казнь. Сердце у меня сжалось какъ-то по прочтеніи этого вопроса, и всѣ остальные вопросы казались мнѣ уже ничтожными. И въ дѣйствительности они оказались такими, — тѣ же самые вопросы, что и были предложены мнѣ на судъ и на которые я отвѣчалъ уже словесно и письменно. Но во-

просовъ этихъ было очень много—ихъ было всѣхъ 43. Начиналось вопросомъ о моихъ отношеніяхъ къ Петрашевскому, давно ли я съ нимъ знакомъ и что побудило меня познакомиться съ нимъ, затѣмъ слѣдовали вопросы о томъ, что за общество было у насъ и т. д.—Между прочимъ, спрашивалось еще—знакомъ ли я былъ съ Черносвитовымъ и что мнѣ о немъ извѣстно. Вопросъ этотъ заставилъ меня вновь задуматься объ этой загадочной, неизвѣстной мнѣ личности и наводилъ меня на мысль, что Черносвитовъ этотъ долженъ быть главою какого-либо мнѣ вовсе неизвѣстнаго заговора.

Перелистывая дальше, я увидѣлъ вопросы, касающіеся собственно меня, моего соучастія и, главнымъ образомъ, о рѣчи моей, произнесенной на обѣдѣ въ память Фурье, сохранившіеся наброски которой оканчивались приблизительно словами:

«Намъ предстоитъ великая задача: разрушить всѣ столицы и города, и нынѣ существующую безобразную, глупую, жалкую, мученическую жизнь людей замѣнить жизнью разумною, счастливою, въ довольствѣ и трудѣ». Я уже объяснялъ на судѣ, и письменно и словесно,—какъ понимать это аллегорическое выраженіе о «разрушеніи столицъ и городовъ», что не огнемъ и мечемъ имѣлось въ виду произвести громадное дѣло, а понималось подъ этимъ тихое, мирное измѣненіе жизни, безо всякихъ политическихъ потрясеній, вслѣдствіе устройства особаго рода поселеній, приспособленныхъ къ разнообразному труду и общему хозяйству и благосостоянію живущихъ вмѣстѣ поселенцевъ. Такого рода были приблизительно мои толкованія и разъясненія этихъ поразившихъ судей моихъ ужасныхъ словъ о предвѣщаемомъ мною разрушеніи столицъ и городовъ. Но и эти разъясненія мои не сняли съ меня жестокаго обвиненія.

Между обыкновенными вопросами обратилъ мое вниманіе, при дальнѣйшемъ перелистываніи, одинъ,—написано было: «Какое вліяніе имѣлъ на васъ Ипполитъ Дебу?»

Ипполитъ Дебу былъ мнѣ самый близкій чело-
вѣкъ—товарищъ мой по гимназіи, одного выпуска по университету. Съ малыхъ лѣтъ я подружился съ нимъ,

дѣлился съ нимъ всѣми моими мыслями и впечатлѣніями. Наша жизнь была какъ бы общая и мы шли вмѣстѣ съ нимъ рука объ руку,—пока судьба насъ не разлучила. Вспоминается мнѣ, когда уже мы были разлучены,—мнѣ пришлось жить арестантомъ въ Херсонской арестантской ротѣ, а ему въ Килійской крѣпости на Дунаѣ,—какъ часто мысленно соединялся я съ нимъ, съ чувствомъ самой нѣжной и крѣпкой дружбы, которую и выражалъ словами самъ съ собою, а иногда и стихами. Вспоминаются мнѣ и теперь,—по прошествіи 35 лѣтъ,—отрывки стиховъ, мною не записанныхъ, но часто произносимыхъ въ это памятное время моей жизни,—не записанныхъ потому, что я жилъ въ тюремномъ редутѣ, подъ строгимъ надзоромъ, и читать и писать мнѣ строго запрещалось. Одно изъ стихотвореній, обращенныхъ къ Ипполиту Дебу, кончалось слѣдующимъ четверостишіемъ:

Судьба съ тобой насъ разлучила:
Тебя загнала на Дунай,
Меня въ Херсонъ похоронила, —
Прощай, мой милый другъ, прощай!

Благодаря Бога, по прошествіи 12 лѣтъ мы увидѣлись снова и крѣпко обнялись послѣ столь долгой разлуки, и старая дружба сдѣлалась еще крѣпче, еще нѣжнѣе.

Все это предисловіе написалъ я, отчасти, увлекаясь воспоминаніями этого незабвеннаго времени, но, главнымъ образомъ, для того, чтобы объяснить мои отношенія къ Ипполиту Дебу и вытекающія изъ него значеніе и происхожденіе такого мнѣ поставленнаго вопроса.

Ипполитъ Дебу въ общественномъ и политическомъ отношеніяхъ всегда упреждалъ меня; отъ него узнавалъ я о новыхъ ходившихъ сочиненіяхъ, преимущественно тогда во Франціи, по части новѣйшей исторіи, политико-экономическихъ вопросовъ и социальныхъ системъ. Онъ же раньше меня познакомился съ Петрашевскимъ и меня познакомилъ съ нимъ. Желая меня выгородить, онъ передъ судомъ объяснялъ свое вліяніе на меня, чтобы оправдать меня и принималъ, такимъ образомъ, еще большую вину на себя. Этотъ благо-

роднѣйшій поступокъ его мною былъ оцѣненъ и вызвалъ сейчасъ же во мнѣ отвѣтъ, не менѣе соответствовавшій нашей безукоризненной дружбѣ и взаимной поддержкѣ: я отрицалъ его вліяніе на меня и признавалъ себя самостоятельно дѣйствовавшимъ.

VIII.

Мое сидѣніе въ крѣпости продолжалось неизмѣнно и надежда на скорое окончаніе нашего дѣла исчезала, а мысли становились все болѣе болѣзненно-мрачными; зловѣщія предчувствія тяготѣли надъ мною и по временамъ мелькали передъ глазами туманныя картины: затягиванія шеи веревкой и другихъ родовъ насильственной смерти. Болѣзненный бредъ преслѣдовалъ меня и въ сновидѣніяхъ, — я помню хорошо сонъ: ночь, внезапный шумъ и бѣготня въ корридорѣ, затѣмъ переговоры шепотомъ и шаги многихъ людей, остановившихся у моей двери; потомъ воткнутіе ключа и движеніе щелкнувшей замочной пружины; сердце мое билось, я вскочилъ съ постели и стоялъ въ ожиданіи и недоумѣніи; зачѣмъ пришли ко мнѣ неизвѣстные люди?.. Чего они хотятъ отъ меня?

Отворилась дверь и въ ней показалась фигура высокаго роста, блѣдная, худая, съ прилизанными волосами и маленькой головой; за нею стояли нѣсколько человѣкъ и держали какія-то машины и дымящуюся посуду. Вся эта компанія двинулась на меня.

— Что вамъ надо?! — закричалъ я въ испугѣ, отскочивъ и прижавшись къ окну. Молча подошли и набросились на меня палачи и, растянувъ меня, положили на бокъ. Я силился кричать, но былъ безгласенъ, и одинъ изъ нихъ сталъ вливать мнѣ въ ухо расплавленный металлъ... Я почувствовалъ, какъ что-то горячее полилось въ лѣвое ухо и, закричавъ, проснулся и увидѣлъ себя лежащимъ на кровати и плошка горѣла на моемъ окнѣ. Сердце билось сильно, повсюду была тишина и ужасный сонъ стоялъ передъ моими глазами. Нервы мои были сильно разстроены отъ болѣе двухмѣсячнаго уже сидѣнія въ тюрьмѣ, въ ожи-

даніи Богъ знаетъ чего, и мнѣ представлялась разная чепуха. Плакать я уже пересталъ, но взамѣнъ плача и слезъ появлялся неудержимый, подобно дрожанію, хохоть и затѣмъ громкая, съ продолжительнымъ донельзя разбавнымъ рта, зѣвота. Часто хохоталъ я, сидя на полу, и затѣмъ зѣвалъ страшно. Гвоздь былъ при мнѣ и, приберегая его, я его оттачивалъ на желѣзной рѣшеткѣ у фортки: «Это мой другъ, мой вѣрный другъ,—я имъ буду защищаться и безнаказанно не позволю себя взять!»

На дворикѣ передъ моими глазами не было ни одного деревца, кое-гдѣ виднѣлась трава. Иногда показывался кто-либо изъ сторожей съ метлою. Часовой ходилъ вдоль нашихъ оконъ и смѣняемъ былъ другимъ каждые два часа. Однажды увидѣлъ я какого-то служителя на этомъ дворѣ,—за работою: онъ сидѣлъ, прислонившись къ противоположному валу, и шилъ мѣшки изъ грубаго холста:—«Что это за новость?—думалъ я.—для чего эти мѣшки?» Онъ былъ усердно занятъ работою, вѣроятно, спѣшною, и не воображалъ, что сталъ предметомъ, меня заинтересовавшимъ, а я на него смотрѣлъ съ болѣзненнымъ любопытствомъ, и безотвязно звучалъ во мнѣ вопросъ: «зачѣмъ шьются эти мѣшки,—какъ разъ величины человѣка, и всякаго туда можно запихнуть?..» Такъ думалъ я и повременамъ теръ моего друга о желѣзную рѣшетку.

Наступилъ уже іюль, не помню въ точности, какой былъ это день, кажется, въ первыхъ числахъ, когда однажды, подъ вечеръ, въ сумеркахъ, я выглядывалъ моей замученной рожею изъ фортки, а часовой, прохаживаясь взадъ и впередъ, всякій разъ смотрѣлъ мнѣ въ лицо, какъ бы вызывая на разговоръ. Я былъ желтъ и худъ, и волосы длинные висѣли ниже головы. Я смотрѣлъ на часового тоже и, видя его, казавшееся мнѣ несомнѣннымъ, сочувственное участіе, не могъ не заговорить: «Теперь не жарко, какъ днемъ?» — спросилъ я его тихимъ голосомъ. — Тутъ ничего, а вотъ придется надѣть ранецъ и идти въ походъ...

«Куда же въ походъ?» спросилъ я, удивленный.

— На венгра, въ Австрію: туда уже много нашихъ пошло!

«А что же тамъ, воюють нѣмцы?»

— Нѣмцы и венгры бунтуются, — такъ ихъ усмирять пошли!

«А царь въ городѣ?»

— Нѣтъ, и онъ тоже при войскахъ... А можетъ быть и въ Варшавѣ... А вы давно посажены сюда?

«Я,—съ апрѣля мѣсяца».

— Ого, давненько!—сказалъ онъ, всматриваясь въ меня.—Между тѣмъ темнѣло все болѣе и разговоръ этотъ, составлявшій для меня драгоцѣнную находку, вдругъ прекратился вечернею визитаціею дежурнаго офицера, для подачи намъ вечерней пищи, а потомъ все было уже темно и нельзя было уже различить человѣка, тотъ ли самый, съ которымъ я говорилъ. Такъ быстро промелькнулъ для меня этотъ призракъ, утѣшенія, принесшій мнѣ, однако же, очень важную новость, сдѣлавшуюся для меня живымъ предметомъ освѣжающаго размышленія въ этой однообразной тюремной жизни.

IX.

Прошло около двухъ съ половиною мѣсяцевъ нашего сидѣнія въ крѣпости. То бодрясь, то упавая духомъ, проводилъ я кое-какъ дни и ночи. Я дѣлалъ надъ собою большія усилія, старался развлекать себя чтеніемъ книгъ, которыя тогда уже были мнѣ доставляемы родными; я вытирался по утрамъ весь холодною водою; фортка у меня не затворялась вовсе,—ни днемъ ни ночью; иногда, стараясь дѣлать гимнастику, я махалъ руками, скакалъ до усталости, но все это было недостаточно, чтобы поднять мой павшій духъ, и зѣвота, страшная зѣвота одолѣвала меня—я зѣвалъ во всеуслышаніе на весь корридоръ. Сосѣдъ мой лѣвый почти не былъ слышенъ; я удивлялся, что онъ почти не ходилъ,—а правый сосѣдъ мой, Шелковъ, постоянно пѣлъ, и пѣсни его доставляли и мнѣ развлеченіе и удовольствіе.

По выходѣ моемъ изъ крѣпости, когда былъ разговоръ объ этомъ времени моего заключенія, всѣ, говорившіе со мною объ этомъ, съ первыхъ же словъ

спрашивали о пищѣ—какова была пища въ крѣпости. но вопросъ этотъ, повидимому, совершенно естественный, всегда меня или сердилъ, или вызывалъ улыбку,— онъ казался мнѣ страннымъ, забавнымъ, нестоящимъ отвѣта: сидящій въ заключеніи до того истомленъ, что пища для него, какъ для индійскаго брамина или фарсистанскаго дервиша,—лишь бы существовать. Аппетита у меня совсѣмъ не было и я почти ничего не ѣлъ,—питался нѣсколькими ложками супа, кусочкомъ чернаго хлѣба и чаемъ; воды пилъ довольно много. И что бы было, если-бъ при заключеніи, безвыходно подъ гнетомъ суда, какъ подъ мечемъ надъ головой, я сталъ бы ѣсть, какъ на свободѣ, — я совсѣмъ сошелъ бы съ ума. Къ пищѣ я былъ совершенно равнодушенъ.

Я цѣлый день почти говорилъ самъ съ собою вполголоса. Иногда посѣщалъ меня стихотворный бредъ, и я потѣшался имъ и выскабливалъ его гвоздемъ по стѣнамъ. Книги развертывались часто, но немного читались еще въ это время. Душа была слишкомъ безпокойна, и я не могъ отрѣшиться на цѣлые часы отъ своего положенія. Ужели еще двѣ недѣли придется сидѣть въ одиночномъ заключеніи и въ неизвѣстности, что будетъ потомъ?!

Въ эту пору уже и входившіе къ намъ офицеры и служители не оберегались насъ и не убѣгали такъ быстро изъ нашихъ келій, какъ это было первое время. Присмотрѣвшись къ намъ, они уже были не безучастны къ нашему положенію, и иногда случалось слышать отъ нихъ и доброе слово участія. Я нерѣдко спрашивалъ офицеровъ: «не знаете-ли, скоро-ли кончится наше дѣло?»—и получалъ отвѣты разные, съ выраженіемъ сожалѣнія, что они въ это дѣло вовсе не посвящены. Въ эту же пору, кажется, одинъ изъ нихъ сказалъ мнѣ, что государя въ городѣ нѣтъ, а при немъ было бы скорѣе; офицеры, съ теченіемъ времени, болѣе ознакомившись съ нами, имѣли къ намъ довѣріе и потому иногда удавалось отъ нихъ услышать кое-что. Они, казалось, были отягчены трудными и многочисленными обязанностями нашего содержанія, и въ словахъ ихъ проглядывала нерѣдко и злость на продолжительность дѣла.

Комендантъ Набоковъ посѣщалъ иногда наши кельи, желая удостовѣриться лично въ нашемъ благополучномъ проживаніи въ командуемой имъ крѣпости и показать тѣмъ свою заботливость о насъ. При посѣщеніи своемъ онъ, однако же, ни разу не удостоилъ меня никакимъ добрымъ словомъ участія, а только исполнялась имъ формальная обязанность коменданта: войдя въ келью онъ спрашивалъ о здоровьѣ, а я при видѣ его спрашивалъ: «скажите, пожалуйста, скоро ли кончится наше дѣло?»—на что онъ обыкновенно отвѣчалъ:—я почему знаю?—вы лучше знаете, что вы надѣлали! — и, какъ бы избѣгая дальнѣйшаго вопроса, онъ сейчасъ же уходилъ. Онъ посѣщалъ насъ черезъ нѣсколько недѣль, а въ послѣдніе мѣсяцы нашего пребыванія въ крѣпости визитъ его былъ рѣдкостью. Такъ время шло и дожили мы до 20 іюля, въ который день услышалъ я не въ обыкновенный часъ хожденіе и шумъ въ корридорѣ, затѣмъ отвореніе дверей. Комендантъ визитировалъ насъ недавно, что же бы это могло быть?—думалъ я. Вскорѣ затѣмъ я замѣтилъ, что двери отворялись не всѣ, а только немногія, и моя дверь была мимо пройдена, но сосѣдъ мой правый, Щелковъ, получилъ визитъ и затѣмъ уведенъ былъ изъ кельи,—вѣроятно, къ допросу, въ судъ, но, однако же, прошло нѣсколько часовъ, а возвращенія его не послѣдовало. Меня это очень заинтересовало, куда онъ пропалъ: перевели ли его въ другую келью, и гдѣ онъ теперь, и каково ему? Всѣ эти вопросы вдругъ возникли во мнѣ. При вечерней визитации обратился я съ вопросомъ къ дежурному офицеру,—о сосѣдѣ моемъ. Онъ отвѣтилъ мнѣ, что сегодня освобождены многіе, и въ томъ числѣ и сосѣдъ вашъ, и что государь возвратился вчера. Можетъ быть, его присутствіе ускорить окончаніе нашего затянувшагося дѣла?

Итакъ, Щелковъ на волѣ! Какъ птица вылетѣлъ онъ изъ своей желѣзной клѣтки и исчезъ въ воздушномъ пространствѣ! Я радъ за него, но при этомъ мысли мои невольно обращались къ себѣ. «А я все сижу и что будетъ, не знаю»,—говорилъ я.—Ужели еще двѣ недѣли придется мнѣ ждать чего-то неизвѣстнаго и очень дурного?!... Чтобы ни послѣдовало, оно будетъ

лучше этого сидѣнія взаперти и ожиданіи. Пускай уже сошлютъ куда; уже и жизни, кажется, готовъ бы я лишиться, лишь бы быстро, не страдая; но одного я страшно боюсь и не вытерплю — вновь назначенное наказаніемъ заключеніе—одиночное, безвыходное въ какой-либо тюрьмѣ!—Этого я перенести не могу! Какъ проживу я еще двѣ недѣли?! И странно, что, не смотря на то, что срокъ этотъ уже столько разъ обмывалъ меня, и что я соображалъ по количеству вопросовъ, поставленныхъ намъ всѣмъ для письменныхъ отвѣтовъ, приблизительно въ какое время могутъ быть они написаны, а затѣмъ прочтены, и все-таки не вѣрилъ продолжительности заключенія, а между тѣмъ, я помню, я самъ же дѣлалъ расчетъ такой: мнѣ было дано 43 вопроса, я отвѣтилъ на нихъ въ два дня; положимъ, каждому изъ насъ дано столько-же, и всѣхъ насъ приблизительно 100 человѣкъ, слѣдовательно, сколько же страницъ должно быть, во-первыхъ, написано подсудимыми, а во-вторыхъ, прочтено со вниманіемъ судившими насъ? Если въ день они прочтутъ отвѣты двухъ, то и тогда составитъ 50 дней! Мои предположенія о двухнедѣльномъ срокѣ, очевидно, были невѣрны, но я прогонялъ отъ себя всякую мысль о большей продолжительности, такъ она казалась мнѣ страшною, и, утопая въ этой мутной и грязной пучинѣ, хватался за мою двухнедѣдную соломинку!

Въ эти дни произошла внезапно большая перемѣна въ содержаніи арестованныхъ: постель измѣнилась совершенно: тюфяки и подушки ветхіе, жесткіе были приняты и замѣнены новыми—чистыми, мягкими. Поданы были новыя одѣяла и халаты байковые, темно-сѣрые, мягкіе; грубое бѣлье все замѣнено было болѣе тонкимъ, мягкимъ. Все это казалось мнѣ ничтожнымъ и вовсе не утѣшительнымъ, но когда я легъ на мягкую и чистую постель, мнѣ показалась она чудесною, и я всѣми членами отдыхалъ отъ прежняго жесткаго ложа. Въ это же время послѣдовало и измѣненіе въ пищѣ: вмѣсто солдатской порціи, намъ подавалась офицерская; — но къ пищѣ я былъ гораздо болѣе равнодушенъ.

Такъ прожилъ я еще нѣсколько дней, часто думая

о вышедшемъ на волю Шелковѣ. Никто уже болѣе не утѣшалъ меня пѣснями. Сожалѣя о себѣ, я вмѣстѣ съ тѣмъ отъ души радовался его счастью: для него уже миновало это мучительное время, и онъ теперь среди своей семьи и друзей, цѣнитъ еще болѣе свободу и жизнь. Хотѣлось бы очень встрѣтиться съ нимъ въ жизни, но жизнь моя... продолжится ли она еще?!...

Вдругъ, не въ обычный часъ, вновь хожденіе въ корридоръ, звонъ связки ключей и остановка у моей двери. Вошелъ офицеръ—плацъ-мѣюръ и сказалъ мнѣ, что онъ пришелъ перевести меня въ другое отдѣленіе. Меня это очень озадачило,—я не приготовился къ тому и это было для меня совершенною неожиданностью: «куда, зачѣмъ, я лучше останусь здѣсь... Вѣдь уже недолго осталось, такъ зачѣмъ же это!?» Къ тому же возникли вдругъ и смутныя догадки и опасенія, чего-то для меня неизвѣтнаго!...

«О чемъ вы беспокоитесь?»—отвѣчалъ мнѣ офицеръ. «Тамъ будетъ вамъ удобнѣе, и комната больше этой».—Да развѣ нужно? Если вы это для меня хотите, то оставьте меня здѣсь до конца дѣла... Вѣдь уже осталось недолго!...

Офицеръ, однако же, вѣжливо убѣждая меня, говорилъ настойчиво, что ему поручено меня перевести отсюда въ другое мѣсто и онъ не можетъ не исполнить этого. Видя, что дѣлать нечего, я сталъ собирать мои книги и боялся, чтобы не былъ какъ-нибудь обнаруженъ мой другъ, который былъ у меня бережно запрятываемъ подъ подушкой. Я уловилъ удобный моментъ и захватилъ тихонько мой драгоценный гвоздь, а остальные всѣ вещи были взяты служителями, и мы вышли изъ комнаты и изъ корридора на дворъ.—Конецъ іюля,—лѣто, цвѣтущее лѣто въ полномъ разгарѣ явилось вновь мгновенно передъ моими глазами. Мы вышли на крѣпостной бульваръ, гдѣ росли деревья, повернули направо, прошли весь длинный фасъ, параллельный Невѣ, выходящій окнами на большой дворъ, и въ концѣ его, дойдя до поворота налево, круто повернули направо—прямо въ темный корридоръ. И я введенъ былъ въ новую комнату,—болѣе просторную,

чѣмъ прежняя моя келья, съ двумя окнами и потолкомъ со сводами. Вещи всѣ были положены, какъ попало, постлана постель, и я былъ оставленъ и запертъ въ этой новой комнатѣ.

Переселеніе это произвело на меня большое впечатлѣніе, и новое мое жилище сдѣлалось сейчасъ же предметомъ моего любопытства. Я сталъ осматриваться, гдѣ я и что меня окружаетъ:—два окна, болѣе низкихъ, но довольно широкихъ, съ большою площадкою, гдѣ можно сидѣть подъ самой форткой; фортка на правомъ окнѣ, довольно низкая, легко достижимая при стояніи на колѣняхъ, и немного большей величины противъ прежней,—все это было для меня пріятною новостью. Межоконный промежутокъ выполненъ былъ круглою печью, затапливающеюся изъ комнаты. И это хорошо, думалъ я. Затѣмъ открылъ я фортку и увидѣлъ впереди себя длинную, довольно широкую улицу, ведущую отъ моихъ оконъ къ переднему фасу собора, къ его подъѣзду. Кромѣ того, подъ окномъ проходила и другая улица, поперечная, доступная для прохожихъ, по которой можно было видѣть проходящихъ, не у самой стѣны, но нѣсколько поодаль отъ нея. Это пріобрѣтеніе было для меня тоже весьма дорогимъ. Комната сама, съ чистыми стѣнами и вдвое больше тоже радовала меня. Все это было маленькимъ отдыхомъ среди большого томленія,—пока было ново,—дня два, три, а затѣмъ возвратилась вся прежняя тоска, но все-таки преимущества новаго жилища были мною ощущаемы постоянно.

Передъ окномъ моимъ, на другой сторонѣ улицы, стояло дерево я уже забылъ какое, но, кажется, береза или ольха; оно было все густо обросшее зеленою листвою и видъ его мнѣ былъ пріятенъ. Вѣтви его качались иногда по вѣтру и листья дрожали, и были обливаемы обильнымъ дождемъ, и я смотрѣлъ на него съ особеннымъ чувствомъ изъ фортки, вдыхая влажный воздухъ и свѣжесть промчавшейся грозы. Передъ моими глазами это одно дерево было представителемъ всего лѣта. Въ продолженіе цѣлаго дня видѣлъ я нѣсколькихъ проходящихъ — военныхъ, гражданскихъ, иногда женщинъ. Еще помню я, что на противопо-

ложной сторонѣ улицы была какая-то покинутая постройка и большая куча песку, къ которой часто прибѣгали мальчишки и заводи́ли между собою разные драки и игры, въ которыхъ, глядя, и я участвовалъ, и зналъ ихъ всѣхъ поименно. Однажды, вспоминается мнѣ, послалъ я изъ окна обиженному и плачущему мальчику, оставшемуся одному, какое-то ободрительное слово и самъ, испугавшись, спрятался потомъ за окно. Когда я посмотрѣлъ, его уже не было, и я опасался, чтобы не возникло отъ этого какихъ-либо для меня тягостныхъ послѣдствій, и упрекалъ себя въ столь непростительномъ легкомысліи...

Такъ началась моя жизнь въ новомъ жилищѣ. Воздухъ въ немъ былъ чище, солнечный свѣтъ болѣе проникалъ въ мрачную келью, чѣмъ прежде, и созерцательное мое положеніе у фортки было не столь однообразно. Часовой не ходилъ у оконъ, а иногда лѣниво прохаживался сторожъ, казалось, совершенно беззаботно относившійся къ своей обязанности. Колокольный звонъ Петропавловскаго собора каждыя четверть часа, однообразно переливаясь квинтами и терціями, звучалъ надоѣвшей мнѣ пѣснью. Я сидѣлъ въ новомъ жилищѣ моемъ и думалъ: какъ-нибудь проживу еще двѣ недѣли! Я спалъ лучше, да и мягкая постель была для меня еще новостью. Въ этомъ жилищѣ пришлось мнѣ прожить остатокъ лѣта и наблюдать, какъ все болѣе желтѣли и опадали листья на стоявшемъ передъ моими глазами деревѣ, какъ, наконецъ, не осталось болѣе ни одного, и вѣтви стояли голыя.

Въ этотъ періодъ времени я былъ нѣсколько бодрѣе, болѣе имѣлъ развлеченій извнѣ, черезъ окно, что отвлекало меня отъ постоянныхъ мыслей и соображеній о своемъ положеніи. вмѣстѣ съ этимъ наступили темные вечера августа и я болѣе покойно предавался чтенію. Въ это время я читалъ съ особеннымъ увлеченіемъ Космосъ Гумбольдта, романы Вальтеръ-Скотта на французскомъ, Гете у меня было нѣсколько частей и, кромѣ того, я занимался англійскимъ и итальянскимъ языками. На англійскомъ былъ у меня романъ Купера—«The Spy» и я понемногу читалъ его; на итальянскомъ—пѣсни Петрарки на смерть Ла-

уры, которыя я силился перекладывать на русскія пѣсни.

Почти цѣлый день говорилъ я самъ съ собою вполголоса, а иногда и очень громко, и потолокъ сводами давалъ особый резонансъ всякому звуку. Иногда я былъ въ возбужденномъ состояніи и говорилъ нараспѣвъ стихами, декламируя ихъ; иногда же пѣлъ какія-либо старыя, памятныя мнѣ, пѣсни, или же и новосочиненныя мною—на извѣстный какой-либо мотивъ. Звуковыя условія моей концертной залы я скоро изучилъ, становясь въ различныхъ пунктахъ и, разыскавъ мѣсто наибольшаго отраженнаго звука, становился обыкновенно въ немъ, когда чувствовалъ призваніе дать себѣ, а также и мышамъ, по комнатѣ ходившимъ безбоязненно, вокальный концертъ. Нерѣдко вмѣсто концерта выходила репетиція съ вытягиваніемъ высокихъ нотъ, все болѣе усовершенствованнымъ. Сосѣдей моихъ я вовсе не слышалъ, казалось, они отсутствовали, да иногда я полагалъ, что мое пѣніе можетъ и развлечь кого-нибудь. — «Всякая птица услаждается своимъ пѣніемъ», — говоритъ арабская пословица, — (Куллу, Тайринъ ясгаллизу саутага), а потому и мое пѣніе доставляло мнѣ удовольствіе въ моей клѣткѣ.

Въ этомъ жилищѣ жизнь моя имѣла свои особенности, и этотъ періодъ моего заключенія продолжавшійся съ двадцатыхъ чиселъ іюля по первыя сентября, былъ для меня не столь тягостенъ, какъ предыдущій и какъ самые послѣдніе мѣсяцы. На душѣ было также скверно, но я сдѣлался уже болѣе выносливъ и имѣлъ болѣе силы бодрить себя и забывать въ различныхъ развлеченіяхъ, къ которымъ благопріятствовали условія моей новой комнаты; они же освѣжали мои мысли. Я не былъ здѣсь совершенно удаленъ отъ людей, иногда даже долетали до меня нѣкоторыя слова изъ разговоровъ проходящихъ мимо окна. По большому простору кельи моей я болѣе ходилъ, да и, кромѣ того, случайныя обстоятельства были для меня развлеченіемъ: днемъ смотрѣлъ я въ фортку почти постоянно, тѣмъ болѣе, что можно было примоститься у нея. Когда на дворѣ крѣпости ничего не было занимательнаго, а погода была облачная, я разсматривалъ облака, въ ихъ

безпрестанно измѣняющихся формахъ. Облака составляли для меня предметъ наблюдений и въ предыдущемъ моемъ жилищѣ. Множество разъ въ теченіе дня влѣзалъ я на окно и сходилъ съ него.

Внутри самой комнаты предметомъ моихъ наблюдений сдѣлались мыши: онѣ выползали безпрестанно и бѣгали по комнатѣ, подбирая крошки пищи. Онѣ были маленькія, и мордочки ихъ нравились мнѣ. Лѣвое окно, съ просторною площадкою, было у меня буфетомъ и тамъ лежалъ хлѣбъ и онѣ иногда пытались вскакивать на окно, но это имъ не удавалось. Все лишнее,—а его было у меня много,—отдавалось мышамъ и онѣ мало-по-малу, все болѣе смѣло придвигались ко мнѣ, не видя съ моей стороны никакой непріязни и не имѣя вовсе причины бояться меня и не довѣрять мнѣ. Въ извѣстные часы дня, соотвѣтствующіе подачѣ пищи, онѣ выходили въ большомъ числѣ изъ своихъ норокъ и, для полученія пищи, должны были подходить ко мнѣ близко. Большого движенія, съ моей стороны, онѣ опасались, но небольшія шевеленія не тревожили ихъ вовсе, также какъ и громкое пѣніе, которое, казалось мнѣ, даже интересовало ихъ. Въ это время занимался я много чтеніемъ. Съ Гумбольдтомъ восходилъ я на Кордильеры и на берегу Тихаго океана наблюдалъ Зодиакальный свѣтъ, съ нимъ носился я по небеснымъ пространствамъ и созерцалъ міры нашей солнечной системы и отдаленныя, неподвижныя звѣзды. По вечерамъ читалъ я большею частью Вальтеръ-Скотта, и романы его доставляли мнѣ большое развлеченіе. Читая книги, я всегда имѣлъ въ рукѣ мой желѣзный карандашъ, который былъ слегка затупленъ и сглаженъ — для отмѣтокъ на поляхъ книги. На мягкой книжной подстилкѣ писаніе гвоздемъ очень разборчиво, и часто я писалъ имъ мои мысли. Въ этотъ періодъ времени предавался я часто стихотворству и оно меня по временамъ увлекало сильно. Я ходилъ по комнатѣ взадъ и впередъ то скоро, то тихо и бормоталъ самъ съ собою, а иногда громко декламировалъ и потомъ гвоздемъ писалъ на стѣнахъ или на поляхъ книгъ сочиненное. Изъ таковыхъ инныя у меня сохранились отрывочно въ памяти и были мною позднѣе въ 1856 го-

ду—воспроизведены. Къ таковымъ принадлежатъ слѣдующія стихотворенія этого періода времени, которыя отчасти остались нацарапанными мною гвоздемъ на стѣнахъ моей кельи.

I.

Едва я на ногахъ—шатаюсь, какъ пьяный;
Мысль отуманена и голова горитъ.
Охъ! тяжело сидѣть въ тюрьмѣ поганой—
Въ ея стѣнахъ одинъ я, какъ живой, зарытъ:
Томлюсь, переносу тяжелыя лишенья
Свободы, воздуха и голоса людей.
— Все въ одиночествѣ, въ тюремномъ заключеннѣ,
При кликахъ часовыхъ, шептаньяхъ сторожей,
Иль шумной бѣготни со связками ключей.
И колокольный звонъ, всегда однообразный,
Переливаясь, и день и ночь звучитъ;
Куда ни поглядишь—тюрьмы видъ безобразный,
Передъ глазами все шпицъ крѣпостной торчитъ.
Охъ, тяжело, тяжело мнѣ,—мои воспоминанья
Влекутъ меня въ былые счастья дни,
И плакать хочется: безъ слезъ мои рыданья—
Ихъ замѣняетъ смѣхъ, трепещущій въ груди,
И злобой, и тоской исполненный глубокой,
Я хохочу одинъ здѣсь одинокій.
О, Боже, праведный! Спаси и сохрани
Мой павшій духъ въ тюрьмѣ отъ истомленья.
Сибирь и каторга—мечты мои одни,—
Въ нихъ счастье все мое и радость избавленья.

II.

Позоромъ вѣка
Для человѣка
Стоитъ тюрьма.
Туда сажаютъ
И запираютъ—
Тамъ полутьма.
И, задыхаясь,
Въ грязи валяясь,
Тамъ люди ждутъ,
Пока все длится,
Пока свершится
Надъ ними судъ.
Обитель страха
Куда съ размаха,
Вдругъ я попалъ;

Гдѣ одинокій
Въ тоскѣ жестокой
Я духомъ палъ!
И все зѣваю,
Безъ слезъ рыдаю—
Нѣтъ больше силъ!
О, Боже, Боже!
Чтожъ это, что же
Ты мнѣ судилъ!

Стихотвореніе это было длинное съ вариантами, но вспомнить всего я не могъ.

III.

Какъ длинны эти дни, какъ долго это время,
Не понимаю я, какъ я переносу
Темницы тягостной мучительное бремя,
Какъ не задохнусь я и все еще живу,
Какъ въ жиламъ моихъ кровь еще бѣжитъ и льется.
Испорченная кровь, гонимаго судьбой?
Какъ сердце у меня въ груди не разобьется,
Замученное все темничною тоской!
О, жизнь свободная! вернешься-ль ты ко мнѣ?
Увижу-ль снова васъ, друзья, мои родные!
Или мнѣ суждено погибнуть здѣсь въ тюрьмѣ?
Ахъ! Божій судъ жестокъ, какъ и суды людскіе!

IV.

Земля, несчастная земля,—
Міръ стоновъ, жалобъ и мученья!
На ней вся жизнь подъ гнетомъ зла
И всюду плачъ,—со дня рожденья;
Въ дѣлахъ людскихъ—раздоръ и крикъ,
И трубный звукъ, и гулъ орудій,
И вопль, и дикой славы кликъ;
Другъ друга жгутъ и рѣжутъ люди!
Но время лучшее придетъ:
Война кровавая пройдетъ,
Земля произрастетъ плодами,
И бѣдный мученикъ-народъ
Свободу жизни обрѣтетъ
Съ ея высокими страстями:
Обильный хлѣбъ возрастетъ надъ взрытыми полями
И нищая земля покроется дворцами!

ф у р ь е. { Тогда и для земной планеты
Настанетъ періодъ иной.
Не будетъ ни зимы, ни лѣта,
Измѣнится нашъ шаръ земной:
Эклиптика съ экваторомъ сольется
И будетъ вѣчная весна...
И для людей другая жизнь начнется—
Гармоніей живой исполнится она.
Тогда измѣнятся и люди, и природа
И будутъ на землѣ—миръ, счастье и свобода!

Такимъ фантастическимъ бредомъ à la Fourier утѣшалъ я себя въ это трудное время.

Не менѣе меня занимавшее стихотвореніе этого періода времени, которое я долго вырабатывалъ съ различными варіаціями и затѣмъ пѣлъ съ припѣвами нѣкоторыхъ четверостишій, пѣлъ, слышимый только однѣми мышами, было слѣдующее:

V.

День за днемъ все идетъ да идетъ,—
Что прошло—не вернется обратно,
Время мѣсяцы, годы несетъ,
И пройдетъ наша жизнь безвозвратно.

И пройдутъ всѣ людскія нелѣпости,
Все исчезнетъ—и тюрьмы, и крѣпости,
И не будутъ сажать въ нихъ людей,
Какъ въ желѣзныя клѣтки звѣрей,

И вѣка за вѣками катятся,
Застилаетъ ихъ мракъ и туманъ.
Не узнаешь, куда они мчатся...
Тамъ пустыня, гдѣ былъ океанъ!

Измѣняется жизнь всей вселенной,
Въ новыхъ образахъ все зацвѣтеть.
Но законъ, и законъ неизмѣнный—
Все пройдетъ, все умретъ, что живетъ.

Не умретъ одна мысль лишь живая—
Въ ней безсмертье и вѣчность лежитъ,
Въ ней дыханье—весна молодая,
И безчисленъ ея чудный видъ:

То въ землѣ червячкомъ обитаетъ,
То плыветъ въ океанѣ китомъ,
Вольной птицей подъ небомъ летаетъ,
По землѣ мчится быстрымъ конемъ.

Яркимъ солнцемъ на небѣ сіяетъ,
Катитъ волны, гремитъ въ облакахъ
И въ бесчисленныхъ звѣздахъ блистаетъ,
Разносясь въ разноцвѣтныхъ лучахъ:

Она въ мірѣ живетъ Аполлономъ
Со глубокою думой въ очахъ,
Съ звонкой лирой, съ челомъ вдохновеннымъ
И могучею пѣснью въ устахъ.

Вы, горящія въ небѣ свѣтила!
Горъ вершины, моря и лѣса!
Вы скажите мнѣ, гдѣ эта сила,
Что такія творитъ чудеса?

Но отвѣта не давъ, все шумѣли
Океаны моря и лѣса
И свѣтила на небѣ горѣли...
Однѣ горы отвѣтомъ гласили:—
По ущельямъ своимъ и скаламъ
Громкимъ эхо вопросъ раскатали
И подняли его къ небесамъ!

X.

Былъ, кажется, конецъ августа, какъ однажды, вскорѣ послѣ обѣда, когда вновь наступила въ кельяхъ нашихъ тишина и мы, томимые скукою, кто, можетъ быть, лежалъ и засыпалъ, а кто измышлялъ какія - либо развлеченія вродѣ кормленія мышей и т. п.,—вдругъ мы были всѣ встревожены—и, вѣроятно, многіе испуганы, —страшнымъ гуломъ орудій, стрѣлявшихъ надъ нашими потолками: стекла въ окнахъ дрожали и изъ корридора потрясались двери. — Выстрѣлы одинъ за другимъ обходили кругомъ всей крѣ-

пости. Такое неожиданное явленіе, наблюдаемое и чувствуемое всѣми нами, дало толчекъ разнымъ догадкамъ: «что бы это значило? Зачѣмъ стрѣляютъ?» Выстрѣлы продолжались, вся крѣпость гремѣла. «Да что же это такое?» Какія мысли не приходили въ голову утомленнымъ тюремнымъ жителямъ! Казалось бы, всего проще и вѣроятнѣе было бы сказать, — «знать, родился нѣкій царь!» — но и этого въ голову не пришло. На дворѣ было все спокойно и форточный осмотръ не далъ никакого объясненія столь трескучему, внезапно возникшему шуму. Я постучалъ въ окно двери, — тряпка скоро поднялась, подошелъ сторожъ и посмотрѣлъ на меня: «что это значитъ, зачѣмъ стрѣляютъ?» — спрашивалъ я. Онъ посмотрѣлъ, но, ничего не отвѣтивъ, опустилъ тряпку. Судя по неизмѣняемости внутренняго состоянія въ крѣпости, неторопливой ходьбѣ, обычной тишинѣ, отсутствію всякихъ признаковъ тревоги, можно было скоро придти къ положительному заключенію, что все обстоитъ благополучно и нерушимо, а потому и весь этотъ шумъ долженъ быть изъ пустяковъ. Все казалось мнѣ, въ это время, пустякомъ, что не имѣло какого-либо отношенія къ выходу моему изъ крѣпости.

Въ этотъ же день, часа черезъ два, въ корридорѣ сдѣлалось хожденіе, бѣготня со связкою ключей, и стали отворяться наши кельи.

Вотъ и до меня дошла очередь: — вошелъ комендантъ и, устремивъ на меня какъ бы сердитый взоръ, сказалъ: «Ну что? — Здоровы? — Слышали пальбу?»

— Пожалуйста, скажите мнѣ, скоро-ли окончится наше дѣло? — спросилъ я его умоляющимъ голосомъ.

«А что? Сами надѣлали, — теперь сидите, пока кончится. А вотъ новость вамъ скажу: императоръ Николай Павловичъ Европу покорилъ!»

Это были его подлинныя слова и они врѣзались у меня въ памяти. Я смотрѣлъ на него, пораженный отвѣтомъ его и возвѣщенной имъ мнѣ новостью о какой-то мнѣ неизвѣстной побѣдѣ. Это въ Венгріи, думалъ я, какъ мнѣ сказалъ добрый часовой. Онъ больше сказалъ мнѣ, чѣмъ комендантъ. Посѣщеніе его всегда оставляло по себѣ еще большій упадокъ духа, а, между

тѣмъ, ему такъ легко было сказать мнѣ что-либо ободряющее и оставить въ сердцѣ моемъ навсегда доброе воспоминаніе.

Другое происшествіе, не менѣе интересное, совершившееся въ это время въ крѣпости и которое судьба привела мнѣ наблюдать, какъ театральное зрѣлище изъ моей фортки, было нѣсколько позднѣе по времени. Фортка у меня была день и ночь открытою и я безпрестанно смотрѣлъ въ нее и иногда примащивался на площадкѣ окна для сидѣнья у него, съ книгою въ рукахъ, прислушиваясь къ говору проходящихъ вдоль крѣпостной стѣны, въ которой вдѣлано было мое жилище. При отворенной форткѣ я слышалъ постоянно гулъ ѣзды по деревянному Троицкому мосту и для меня этотъ гулъ движенія и жизни, долетавшій въ мое одинокое жилище, былъ пріятенъ.

Однажды, вставъ утромъ съ постели и подойдя къ форткѣ, я былъ очень удивленъ, не услышавъ этого обычнаго гула: значить, моста нѣтъ? Куда же дѣвался онъ?—Развели,—но для чего же?—Теперь еще не время. А мостъ все-таки разведенъ, и несомнѣнно разведенъ! Обстоятельство это не переставало меня занимать и въ то же время замѣтилъ я черезъ фортку какое-то необыкновенное движеніе на крѣпостномъ дворѣ передъ моими глазами. Многіе шли туда и сюда, появилась полиція, прохожіе шли скорѣе и говорили громче. Я вслушивался, и вотъ мнѣ удавалось уже не разъ слышать слово «похороны». Что бы это такое было? Будемъ далѣе наблюдать... смотрѣть, слушать, думать я, и еще ближе уткнулся носомъ въ фортку. Всякое развлеченіе для меня было великимъ благомъ: оно освѣжало мысли и давало отдыхъ отъ неотвязчивыхъ думъ.

Настало время утренняго чая; оно пришло даже позже обыкновеннаго, и при посѣщеніи меня дежурнымъ офицеромъ я спросилъ его:

— Скажите, зачѣмъ развели сегодня Троицкій мостъ?

«А вы какъ же это знаете?»—спросилъ меня офицеръ, какъ бы встревожась. Я успокоилъ его, объяснивъ, что свѣдѣніе это досталось мнѣ совершенно невиннымъ и дозволеннымъ путемъ, и просилъ его отвѣта на мой вопросъ.

— Вѣдь вы уже меня посѣщаете пятый мѣсяцъ, потому уже отчасти знаете меня, и развѣ это тайна такая, что мостъ на глазахъ всѣмъ развели?!...

«Да, я вамъ скажу... только вы не говорите никому.... Михаилъ Павловичъ умеръ въ Варшавѣ, — сказалъ онъ мнѣ почти шепотомъ, — и сегодня его похороны».

— Михаилъ Павловичъ умеръ! Что же, онъ боленъ былъ?

«Нѣтъ, — шепталъ онъ, — умеръ скоропостижно».

Больше онъ уже боялся продолжать этотъ разговоръ и просилъ меня еще о молчаніи объ этомъ, какъ бы мнѣ ничего неизвѣстно.

Такъ вотъ что, думалъ я, когда остался одинъ. Насилу выпыталъ отъ него эту, извѣстную всѣмъ не заключеннымъ, тайну!

Но для чего понадобилось разведеніе моста, это осталось мнѣ неизвѣстнымъ*).

Но все-таки, думалъ я, онъ изъ хорошихъ — это былъ высокій, худой офицеръ, который болѣе прочихъ былъ внимателенъ и, вѣроятно, не ко мнѣ одному, а ко всѣмъ заключеннымъ. Если онъ живъ теперь, то онъ долженъ быть очень старъ, и если прочтеть эти слова, то увидить въ нихъ мое доброе о немъ воспоминаніе. День его дежурства былъ для меня всегда желателенъ. Въ его обращеніи и его словахъ видѣлъ я человѣколюбіе, уваженіе къ страданію и сочувственное участіе. Имя его и фамилія остались мнѣ неизвѣстными, но я отдаю ему долгъ мой этими словами моего о немъ воспоминанія.

Оставшись одинъ, я пригвоздился безотлучно къ форткѣ и былъ зрителемъ сначала всей бѣготни, приготовления, хожденія взадъ и впередъ одѣтыхъ въ трауръ офицеровъ, и затѣмъ, наполненія соборной площади войсками — пѣхота и конница прибывала все болѣе въ крѣпость. Затѣмъ послышалась музыка, погребальный маршъ и показалась изъ-за собора колесница, сопровождаемая высокою свитою и генералитетомъ. Гробъ внесенъ былъ въ церковь — я видѣлъ, какъ

*) Вѣроятно, мостъ былъ разведенъ для прохода военныхъ кораблей.

все дѣлалось, такъ какъ подъѣздъ собора виденъ былъ изъ моего окна,—а колесница двинулась далѣе по продолженію улицы и прямо по направленію къ моему окну. Доѣхавъ до конца улицы, почти передъ самою форткою, она остановилась и потомъ стали поворачивать запряженныхъ цугомъ лошадей и везомую ими колесницу.

Колесница была роскошно убранная, огромной величины по всѣмъ измѣреніямъ: золото блистало повсюду, даже и колеса, массивныя, помнится мнѣ, были по виду золотыя. Она была громадна, очень тяжеловѣсна и неудобопомѣщаема въ тѣсной улицѣ. Когда завернули лошадей и дѣло дошло до поворота колесницы, то, при крутомъ поворотѣ, переднее колесо подвернулось круто и высокая колесница, нагнувшись сильно, начала вдругъ терять свое равновѣсіе,—я смотрѣлъ на все это съ сильнѣйшимъ любопытствомъ и, при видѣ склонившейся къ паденію величественной колесницы, готовой разбиться вдребезги, сердце мое забилося съ особеннымъ чувствомъ какой-то насмѣшливой радости,—таково было мое мрачное, болѣзненное душевное состояніе.

Паденіе, едва не совершившееся, было, съ трудомъ и съ опасностью быть задавленными, предупреждено криками остановки лошадей и подскочившими для подпора десятками людей.

По окончаніи богослуженія, все вновь задвигалось, слышна была пушечная пальба съ кораблей, и все двинулось прочь изъ крѣпости.

Такъ окончился этотъ эпизодъ—рѣдкое зрѣлище, которое пришлось мнѣ увидѣть изъ окна моей тюрьмы. Мы всѣ эти часы были забыты, потому смотрѣть можно было безпрепятственно.

Во время пребыванія моего въ этомъ же помѣщеніи случилось еще одно происшествіе, сохранившееся у меня въ памяти: присутствія сосѣдей моихъ, заключенныхъ, я не ощущалъ вовсе,—ни голоса, ни шаговъ по комнатѣ не слышно было, но вдругъ, въ одинъ день, утромъ, я услышалъ страшный, пронзительный крикъ во все горло. Такой раздирающій вопль могъ быть только отъ ужаснаго тѣлеснаго страданія, или

же отъ жестокой душевной боли,—это былъ крикъ отчаянія или крикъ, галлюцинирующаго что-либо ужасное, сумасшедшаго. Въ продолженіе четверти часа, или болѣе, кричалъ мой сосѣдъ слѣва—во все горло. Кто же бы это былъ изъ моихъ товарищей по заключенію, думалъ я. Судьба его обидѣла болѣе всѣхъ насъ и довела до сумасшествія. Такъ, — прежде онъ страдалъ втихомолку, его присутствія возлѣ меня не было вовсе слышно, — надо полагать, что была промежуточная между нами келья, — а теперь вдругъ обнаружилась жизнь жестокимъ, нестерпимымъ страданіемъ. Пронзительный крикъ этотъ, возобновлявшійся съ перерывами нѣсколькихъ секундъ, и теперь, при воспоминаніи объ этомъ, звучитъ въ моихъ ушахъ!..

Вскорѣ услышалъ я хожденіе въ корридорѣ, суматоху, отвореніе двери этой кельи и тамъ разговоры... плачь, какая-то возня и крикъ другого рода, хожденіе вновь нѣсколькихъ людей въ корридорѣ, и затѣмъ все затихло. Я бросился къ форткѣ съ величайшимъ любопытствомъ узрѣть этого страдальца, взятаго, вѣроятно, на руки служителями и вынесеннаго изъ его одиночнаго заключенія. И я увидѣлъ молодого человека, небольшого роста, въ арестантскомъ халатѣ, съ длинными волосами, ведомаго подъ руки двумя служителями при офицерѣ. Мгновенно увидѣлъ я его лицо:— оно было маленькое, худое, блѣдное, съ выраженіемъ, казалось мнѣ, страшнаго утомленія. Его провели черезъ дорогу мимо моего окна и повернули въ прямую улицу. Я слѣдилъ за его медленнымъ шествіемъ:—по плечамъ висѣли въ безпорядкѣ длинные волосы и ноги его переступали медленно.

При первомъ, вслѣдъ за тѣмъ, появленіи ко мнѣ дежурнаго офицера, я допрашивалъ его, убѣдительно прося сказать мнѣ, что сдѣлалось съ моимъ сосѣдомъ и кто онъ, несчастный. Мнѣ отвѣчено было, что это больной человекъ и что съ нимъ случился какой-то припадокъ, но фамилію его узнать мнѣ тогда не удалось. (Это былъ, какъ я впослѣдствіи узналъ, изъ арестованныхъ между нами, Катеневъ, сынъ почетнаго гражданина, который и сошелъ съ ума во время оди-

ночнаго заключенія). Дальнѣйшая его судьба осталась мнѣ неизвѣстною.

Было начало сентября; осень напоминала о своихъ правахъ все болѣе частыми и болѣе продолжительными налетами пасмурныхъ, холодныхъ, дождливыхъ дней. Фортка моя, однако, не закрывалась ни ночью, ни днемъ. Часто садился я на подоконникъ или стоялъ на колѣняхъ, лицомъ прислонясь къ форткѣ. Движущіяся массы облаковъ, съ ихъ разнообразными очертаніями, то быстро несомыя вѣтромъ въ различныхъ слояхъ воздуха, то медленно и незамѣтно переливающіяся въ какія-то туманныя изображенія громадной величины одушевленныхъ предметовъ, часто привлекали мои взоры и перебивали однообразное теченіе печальныхъ мыслей.

«Вотъ и лѣто прошло,—думалъ я,—а я все сижу въ тюрьмѣ!» Всякій день смотрѣлъ я на желтѣвшіе все болѣе листья бывшаго передъ глазами зеленого дерева, опадавшіе все большими группами, и говорилъ: «хотя бы самый послѣдній кончикъ лѣта далъ Богъ мнѣ увидѣть еще на свободѣ!» Погода становилась все болѣе суровою и вѣтеръ, холодный вѣтеръ, уносилъ съ дерева послѣдніе листья. Въ комнатѣ становилось уже очень свѣжо и я просилъ протопить печь. Несмотря на то, что печь затапливалась прямо изъ комнаты, мнѣ въ этомъ отказано не было. И вотъ я сижу передъ горящими дровами, для помѣшиванія которыхъ мнѣ дарована была деревянная палка и предоставлено самому закрытіе трубы. Топка печи меня развлекала, и видъ горящихъ углей былъ мнѣ пріятенъ. Вечера, темные уже, проводилъ я въ чтеніи, и Вальтеръ-Скотту, преимущественно ему, обязанъ я многими и многими часами отдыха, столь драгоцѣннаго въ такое тяжелое время. Ничего почти не дѣлая цѣлый день, я страшно скучалъ и томился; зѣвота громкая продолжительная, съ судорожнымъ раскрытіемъ рта нападала на меня приступами, много разъ въ день, и она, съ тѣхъ поръ отчасти, осталась у меня и на всю жизнь. Я и теперь зѣваю не такъ, какъ цѣльные, здоровые люди, зѣваю ежедневно болѣе или менѣе часто и продолжительно и никакъ не могу избавиться отъ

этой развившейся у меня въ тюрьмѣ привычки. По временамъ нападала на меня приступами жестокая тоска и истерическій хохотъ, при которомъ я почти всегда сидѣлъ на полу. Ночи были часто тревожныя, и сновидѣнія носили отпечатокъ мрачныхъ предчувствій и невозможности исполненія самыхъ горячихъ желаній. Такъ, иногда видѣлъ я себя подходящимъ къ крыльцу дома Юнкера въ 3-й линіи Васильевского острова, гдѣ жилъ я столько лѣтъ въ родномъ мнѣ семействѣ, и, готовый взойти на крыльцо, я былъ останавливаемъ и хватаемъ какими-то полицейскими. Иногда видѣлъ я передъ собою идущимъ кого-либо изъ близкихъ мнѣ друзей и отъ меня убѣгающимъ. Однимъ словомъ, все любимое мною ушло отъ меня и сдѣлалось мнѣ невидимымъ. Ложась спать, говорилъ я себѣ: «ложусь въ неволѣ и завтра проснусь въ неволѣ!» И это чувство глубоко отягчало меня. Часто вращался я въ догадкахъ о предстоящемъ мнѣ будущемъ, и мнѣ приходило на мысль, что, можетъ быть, я буду прощенъ и освобожденъ, но мысль объ этомъ не только не утѣшала меня, но развивала во мнѣ еще большія мученія: «нѣтъ, думалъ я, я хотѣлъ только избавиться отъ смертной казни, но прощеннымъ быть было бы для меня стыдомъ на всю жизнь, несчастіемъ, которое я не въ состояніи буду перенести». Мысль о возможности такого оборота дѣла представлялась мнѣ по временамъ и составляла для меня особаго рода пытку.

«Но когда же, наконецъ, окончится наше дѣло?» — спрашивалъ я себя, — уже много времени прошло и оно приблизилось несомнѣнно къ концу, — такъ что двѣ недѣли за глаза довольно имъ для окончанія!»

Однажды я спросилъ одного изъ вошедшихъ ко мнѣ офицеровъ, — сколько память не измѣняетъ, это былъ рыжій, всегда кашлявшій: «что это значить, что такъ затянулось наше дѣло, что они тамъ дѣлаютъ?» На этотъ вопросъ я получилъ отвѣтъ прямой и чисто-сердечный: — «А Богъ ихъ знаетъ, что они тамъ дѣлаютъ! Они вѣдь и насъ мучаютъ!» —

Время шло, и дожилъ я, кажется, до половины сентября, когда однажды утромъ, не въ урочный часъ,

отворилась моя дверь и вошелъ ко мнѣ дежурный офицеръ.

«Я пришелъ перевести васъ въ другое помѣщеніе», — сказалъ онъ. Слова его меня сильно встревожили. — Зачѣмъ же? — я бы желалъ остаться здѣсь... да развѣ предполагается еще долгое сидѣніе? Вѣдь уже дѣло наше пришло, надо полагать, къ концу; стоитъ ли еще переходить мнѣ куда-либо! Оставьте меня здѣсь!

«Вы напрасно беспокоитесь, — тамъ комната будетъ вамъ лучше этой, при томъ же, вѣдь это помѣщеніе лѣтнее; здѣсь зимою жить нельзя».

— Да развѣ предполагается, что и зиму мы будемъ въ заключеніи?! — спросилъ я его, испуганный.

«Нѣтъ, видите, я этого ничего не знаю, но здѣсь вѣдь и теперь уже холодно. Тамъ вамъ будетъ гораздо удобнѣе».

Я не могъ сопротивляться и увидѣлъ себя вновь въ необходимости собраться, лишь бы захватить съ собою дорогой для меня мой желѣзный карандашъ. Служители въ числѣ трехъ или четырехъ, похватили всѣ мои вещи и постель и я, бросивъ послѣдній взглядъ, не безъ сожалѣнія, на эту, для меня болѣе сносную комнату, вышелъ изъ нея, съ чувствомъ немалаго опасенія за новое предстоящее мнѣ жилище.

XI.

Мое шествіе, съ офицеромъ и служителями, послѣдовало по улицѣ, которая вела передъ моими глазами по направленію къ соборной площади. Пройдя улицу эту, мы повернули нѣсколько влѣво; слѣва отъ меня я увидѣлъ тотъ самый двухъэтажный бѣлый домъ, въ которомъ засѣдали члены слѣдственной комиссіи, справа было крыльцо собора. Миновавъ его, мы направились черезъ площадь къ воротамъ Петербургской стороны, гдѣ была гауптвахта, и съ правой стороны отъ воротъ вошли въ узкій корридоръ, раздѣляющій два ряда казематовъ, вдѣланныхъ въ толстую крѣпостную стѣну. Корридоръ этотъ былъ болѣе узкій,

чѣмъ въ предыдущихъ помѣщеніяхъ, и очень длинный и темный. Такая узкость обуславливалась двусторонними жилищами. Миновавъ нѣсколько дверей, я былъ введенъ въ одну изъ комнатъ съ правой стороны коридора.

Видъ ея меня обрадовалъ своею, сравнительно съ предыдущими моими кельями, большою величиною и притомъ она была опрятна и чиста, такъ-же какъ и только-что оставленная мною. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ я ухода всѣхъ моихъ спутниковъ, чтобы вскочить на окно съ форточкою, которая была невысока и легко достижима при моемъ ростѣ. Комната эта была какъ залъ—я даже не думалъ, чтобы такія обитатели были въ мрачномъ царствѣ Набокова. Она была вдвое длиннѣе моей послѣдней кельи и шире ея, съ двумя большими окнами; на правомъ была фортка. Вскочивъ на окно, я увидѣлъ передъ собою ту площадь; по которой мы шли — всю передсоборную площадь; вдали рядъ строеній и между ними знакомый мнѣ бѣлый двухъэтажный домъ, который и сдѣлался постояннымъ предметомъ моихъ наблюдений, въ особенности по вечерамъ, когда онъ былъ освѣщенъ и въ немъ видны были движущіяся фигуры. Кромѣ того, мѣсто это было несравненно болѣе люднымъ, чѣмъ предыдущее. Приведя въ порядокъ мое тюремное имущество, на большихъ площадкахъ оконъ положивъ книги и скромный мой тюремный туалетный *peccsaire*, я почувствовалъ желаніе воспользоваться сейчасъ же пространственнымъ преимуществомъ этой комнаты и сталъ бѣгать назадъ и впередъ, пока не усталъ.

По прошествіи 24-хъ лѣтъ послѣ этого, въ 1873 году, весною, посѣщая Шенбруннъ, загородный дворецъ около Вѣны, видѣлъ я въ зоологическомъ отдѣленіи выпущеннаго на моихъ глазахъ носорога изъ зимняго стойла въ большое, огороженное для него помѣщеніе; первую потребностью его было разминаніе ногъ и бѣгъ въ предѣлахъ ограды. При видѣ этомъ, я сейчасъ же вспомнилъ мой бѣгъ въ этой комнатѣ. Въ этомъ жилищѣ товарищами моими были не мыши,—ихъ я вовсе не видѣлъ, а большіе черные тараканы и голуби въ амбразурѣ окна. Объ нихъ я разскажу въ

своемъ мѣстѣ. Колокольна Петропавловскаго собора еще громче переливалась звономъ въ моихъ ушахъ—высокій шпигъ ея блисталъ передъ моими глазами. Звонъ этотъ, повторявшійся каждыя $\frac{1}{4}$ часа, въ продолженіе 8 мѣсяцевъ съ его timbr'омъ и мотивомъ, вызывается во мнѣ и теперь при всякомъ воспоминаніи о томъ. Новое жилище нѣсколько освѣжило и развлекло меня, но неужели я буду еще долго сидѣть въ крѣпости, неужели придется зимовать мнѣ здѣсь? Эта мысль меня страшно отягчала и ввергала еще въ большее уныніе.

Новоизмѣненная тюремная жизнь моя имѣла свои особенности по мѣстности заключенія и по времени теченія нашего дѣла. Воспоминанія этого періода времени столь же тяжеловѣсны и незабвенны для меня, какъ и предыдущихъ двухъ. Первые дни занимала меня моя новая обстановка, и это меня нѣсколько отвлекало отъ мрачныхъ мыслей. Въ этомъ просторномъ жилищѣ я былъ болѣе подвиженъ; въ первой половинѣ моего пребыванія здѣсь, т.-е. до начала ноября, часто бѣгалъ, прыгая до усталости, скакалъ черезъ табуретку, вытирался холодной водою, ѣлъ, какъ и прежде, весьма мало; фортка окна только въ концѣ октября закрывалась на ночь, днемъ же она была всегда открытою. Я дѣлалъ все, что было въ моей власти, чтобы сохранить себя отъ совершеннаго упадка душевныхъ и тѣлесныхъ силъ. И мнѣ казалось, что я отчасти достигалъ этого. То бѣгалъ я, то стоялъ у фортки, то, двигаясь медленно, говорилъ я громко, никѣмъ не слышимый, самъ съ собою, и такъ доживалъ до вечера;—истинное время хорошо я зналъ, часы и минуты отбивались колоколомъ. Были послѣднія числа сентября, въ четвертомъ часу уже смеркалось, а въ восьмомъ утра едва разсвѣтало, при пасмурномъ сентябрьскомъ небѣ. Вечера проводилъ я въ чтеніи книгъ, съ моимъ карандашомъ въ рукахъ, садясь такъ, чтобы сторожъ не замѣтилъ моего писанія, если бы ему вздумалось взглянуть, а потомъ уже я даже и вовсе не принималъ этихъ предосторожностей, такъ какъ хожденіе въ корридорѣ весьма рѣдко было слышно, когда не было начальства. Тишина была полная. Я предавался чтенію

все того же романа Купера, которое шло медленно, по малому знанію англійскаго языка, съ огмѣтками словъ на поляхъ книги. Въ это время также были у меня сатиры Ювенала и Персія—въ оригиналахъ, и я ихъ изучалъ при помощи лексикона и точнаго французскаго перевода. Также для легкаго чтенія были у меня два романа Eugen'a Su—*Comédies de Molière* и другіе, которые были мною прочтены почти всѣ. Такимъ образомъ, развлекаясь, не безъ пользы проводя день, я и спалъ лучше и просыпался бодрѣе. Но для чего эти труды, для чего эта польза,—говорилъ я самъ себѣ,—человѣку, которому нѣтъ выхода никуда: на волю выйти, послѣ всего, что было—мнѣ одному, тогда какъ прочіе товарищи мои будутъ присуждены къ какому-либо тяжкому наказанію, было бы для меня величайшимъ несчастіемъ, которое я, съ моимъ характеромъ, пережить былъ бы не въ состояніи. Смертная казнь казалась мнѣ, утомленному, замученному тюремною жизнью, уже не столь ужасною, но я страшно боялся быть вновь присужденнымъ къ одиночному заключенію въ какой-либо тюрьмѣ—это казалось мнѣ невыносимымъ, жесточайшимъ наказаніемъ. Ссылка куда-либо въ каторгу была единственнымъ желаемымъ мною исходомъ изъ этой нависшей надъ головою моею со всѣхъ сторонъ неизбѣжной грозы. Думая обо всемъ этомъ, я страдалъ и мучился жестоко и всею душею моею желалъ быть сосланнымъ въ каторгу. «Въ Сибирь, на каторгу,—говорилъ я,—одно спасеніе для меня, одна отрада! Когда бы скорѣе она пришла!» Все остальное казалось мнѣ ужаснымъ. Повременамъ, думая такимъ образомъ, впадалъ я въ глубокое отчаяніе и, упадая на колѣни, восклицалъ: «Господи! вразуми меня;» и потомъ, опустившись на полъ, съ закинутой назадъ головою, хохоталъ неудержимымъ истерическимъ смѣхомъ и затѣмъ зѣвалъ до изнеможенія. Слезъ не было вовсе въ этомъ періодѣ заключенія. Бодрость моя была напускная, кратковременная и сокрушалась въ прахъ возникавшими во мнѣ все болѣе грозными приступами неотвязныхъ мыслей.

Продолжительное, пятимѣсячное, одинокое, безвыходное на воздухъ заключеніе томило меня все болѣе.

Жизнь текла однообразно; въ мысляхъ моихъ не находилъ я никакого утѣшенія. Однажды служитель, подававшій ежедневно пищу, сказалъ мнѣ: «баринъ! вы похудѣли, вы бы приказали себѣ купить вина,— другіе пьютъ вино, вы же не пьете ничего и мало кушаете!» Слова эти, сказанныя съ участіемъ, меня удивили:—другъ мой,—сказалъ я ему,—я не привыченъ пить вино и боюсь, чтобы не было еще хуже.—Совѣтъ его, однако же, остался у меня въ памяти и, на основаніи того, что другіе пьютъ вино, я рѣшился попробовать тоже подкрѣплять свои силы небольшимъ количествомъ вина; быть можетъ, думалъ я, не такъ тяжело будетъ. По выраженному мною желанію была принесена мнѣ бутылка хорошей мадеры, откупорена и поставлена у меня на столѣ, рюмка считалась лишней, такъ какъ у меня было два стакана—одинъ чайный, другой для питья и умыванья. И вотъ насталъ вечерній часъ, сижу я за столомъ и, окончивъ чай, читаю «The Spy» Купера; передо мною на столѣ $\frac{1}{4}$ стакана мадеры, и я, роясь въ лексиконѣ, дѣлаю на поляхъ отмѣтки моимъ карандашомъ и маленькими глотками, по временамъ, отвѣдываю налитое въ стаканѣ вино. Мнѣ оно показывается вкуснымъ и я, по слабости силъ, чувствую съ каждымъ глоткомъ легкое, пріятное оживленіе. Чтеніе романа, однако же, замедляется и, прерывая чтеніе, я разговариваю самъ съ собою, потомъ прохаживаюсь по комнатѣ, все въ разговорѣ самъ съ собою, влѣзаю на окно и стою у фортки нѣсколько минутъ, чувствую лѣность, усталость, зачерпываю изъ кружки полстакана свѣжей воды и выпиваю его съ большимъ удовольствіемъ, затѣмъ ложусь и засыпаю. Ночью просыпался я чаще обыкновеннаго и съ біеніемъ сердца. Меня преслѣдовали какіе-то страстные кошмары, я плакалъ и стоналъ и, проснувшись раньше обыкновеннаго, всталъ усталымъ, съ головою болью; мысли были отуманены и въ какомъ-то эротическомъ бреду я производилъ стихи. «Вотъ что сдѣлало со мною вино!—думалъ я,—пожаръ въ крови, въ головѣ, груди, во всемъ тѣлѣ! Нѣтъ уже къ этой отравѣ больше не прикоснусь я!» На другой день утромъ я отдалъ солдату бутылку вина, сказавъ ему, чтобы онъ

выпилъ ее, а я уже больше пить не буду. — А что же, — развѣ не хорошо? — спросилъ онъ меня. — «Нѣтъ, оно хорошее, да мнѣ не впрокъ, и ты его возьми, можеть быть, выпьешь», — отвѣтилъ я ему. Слова мои были, кажется, ему не вполнѣ понятны, — онъ въ недоумѣннй посмотрѣлъ на меня и, взявъ бутылку, ушелъ. Такъ кончился этотъ эпизодъ съ виномъ и я только спрашивалъ себя, какъ это другіе товарищи мои въ заключеннй переносятъ этотъ вредный напитокъ?! Для человѣка, въ цвѣтѣ лѣтъ, заключеннаго въ тюрьмѣ, вино — страшный ядъ!

XII.

Безпрестанно въ теченіе дня вскакивалъ я на окно и стоялъ у фортки. Всѣ прохожіе по крѣпости на Петербургскую сторону шли мимо или противъ моего окна. Я всматривался въ нихъ, не пройдетъ ли кто изъ моихъ знакомыхъ. Въ особенности хотѣлось мнѣ увидѣть кого-либо изъ моихъ братьевъ, но, къ сожалѣнію, проходившіе мимо меня были люди все мнѣ незнакомые. Впослѣдствіи узналъ я, что братья мои искали меня долго въ различныхъ доступныхъ проходимъ мѣстахъ крѣпости, высматривая всѣ окна казематовъ, но не находя меня нигдѣ, бросили уже свои бесполезные поиски. Это было въ первые три мѣсяца нашего заключенія, когда я былъ спрятанъ отъ всѣхъ проходившихъ въ одномъ изъ равелиновъ. Потомъ, по переходѣ моемъ во второе помѣщеніе, я былъ уже доступенъ взорамъ проходившихъ, но напрасные поиски въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ отбили уже охоту и отняли всякую надежду достичь желаемого, потому никто изъ людей мнѣ близкихъ не считалъ возможнымъ открыть мѣсто моего заключенія. Такъ смотрѣлъ я нѣсколько дней, наблюдая проходившихъ, и вотъ вижу: двѣ женщины, прилично одѣтыя, появились изъ-за деревяннаго забора, выведеннаго, вѣроятно, временно вдоль лѣваго фаса церкви, и, помѣстившись въ глубинѣ выступа, образуемаго болѣе толстою стѣною входной части собора, остановились тамъ, сокрытыя отъ взоровъ

постороннихъ людей, но передъ самыми окнами нашихъ казематовъ. Онѣ стояли тамъ съ четверть часа, пови-
димому, оживленно разговаривая, смотрѣли на тюрем-
ныя окна нашего фаса и иногда дѣлали руками какіе-
то знаки. Я смотрѣлъ съ особеннымъ вниманіемъ и
слѣдилъ за всѣми ихъ движеніями. Вскорѣ одна изъ
нихъ отдѣлилась и направилась медленнымъ шагомъ
по направленію какъ бы къ воротамъ на Петербург-
скую, мимо нашихъ оконъ. И вотъ она медленно про-
ходитъ мимо моего окна, смотря на меня пристально,
и передъ глазами вдругъ спала завѣса: Варинька!—
воскликнулъ я довольно громко. изумленный неочи-
даннѣйшимъ явленіемъ. — Это вы? — Она посмотрѣла на
меня со взоромъ участія и, движеніемъ головы преду-
предивъ меня быть осторожнымъ, исчезла со взора
моего за глубокой амбразурой окна. Какъ мимолетное
видѣніе промелькнула передъ моими глазами особа,
любившая одного изъ моихъ товарищей, любимая имъ
и посѣщаемая нерѣдко нами вмѣстѣ во дни свободы и
счастья. Это была дѣвушка лѣтъ 18-ти, небольшого
роста, блондинка, довольно полненькая собою, съ выра-
зительными чертами лица. Въ эту минуту она предстала
передо мною похудѣвшею, блѣдною, какъ бы запла-
канною. Какъ часто и много бѣсѣдовали мы втроемъ
и какъ беззаботно проводили эти счастливые дни, те-
перь навсегда пропавшіе для насъ! Всѣ мы разлучены,
она осталась на свободѣ одна и долго, конечно, бродила
по Петропавловской крѣпости, высматривая казематы,
пока доискалась того окна, гдѣ увидѣла исхудавшаго,
замученнаго друга. Безмолвно, украдкой, тайкомъ раз-
говаривала она знаками изъ сокрытаго отъ взоровъ
людскихъ уголка у подъѣзда собора, а затѣмъ возвра-
щалась въ городъ одна, одинокая, плачущая. Сколько
страданій, сколько горя у нея на душѣ. Любить и быть
любимой, жить вмѣстѣ, наслаждаться полнымъ сча-
стьемъ и вдругъ все потерять, — порвалось все и она
осталась одна на этомъ свѣтѣ, страдальца, скиталица,
не находящая себѣ нигдѣ покоя. Всѣ мысли ея,
вся душа въ тюрьмѣ, а тѣло одно, какъ бы лишенное
жизни, бродитъ безцѣльно, не наслаждаясь свободой.
Такое раздвоеніе ужасно и многіе не переживаютъ его.

Я стоялъ у фортки, мысли мои были то у ней, то у него, я ждалъ, не пройдетъ ли она еще, но для нея прогулки эти не обходились безъ свѣжихъ горькихъ слезъ, и въ этотъ день я больше ее уже не дождался. Весь день я былъ оживленъ подъ вліяніемъ новаго впечатлѣнія. Въ теченіе пяти съ половиною мѣсяцевъ я былъ изолированъ совершенно отъ всей обстановки моей прежней жизни и вотъ впервые увидѣлъ человѣка мнѣ близко знакомаго,—происшествіе высокой важности для одиночно-заключеннаго! Воспоминанія драгоцѣнныхъ часовъ, прожитыхъ нами втроемъ, мысли о немъ и о ней весь день переливались въ различныхъ варіаціяхъ въ моей замученной головѣ. Стемнѣло, я сѣлъ читать, по обыкновенію, но не читалось въ этотъ вечеръ; я вставалъ, ходилъ по комнатѣ, разговаривалъ самъ съ собою и все вращался въ кругу тѣхъ же воспоминаній. Я говорилъ съ ними и голоса ихъ слышались мнѣ. Настала ночь и я заснулъ подъ вліяніемъ взволновавшаго меня впечатлѣнія дня. И вотъ мнѣ снится сонъ: улица на Пескахъ и домикъ знакомый мнѣ, и я спѣшу туда въ безпокойствѣ. Вхожу въ комнату и вижу какое-то разрушеніе и Варинька исхудалая, блѣдная, сидитъ на полу...—въ сѣромъ арестантскомъ халатѣ; столъ изломанъ, вещи разбросаны по полу. Увидѣвъ меня, она вскочила и, вытаращивъ глаза, воскликнула: «это вы! какъ вы пришли? А онъ, гдѣ же онъ?» И въ эту минуту, вдругъ, шумъ, бѣготня со звономъ ключей и, окруженный своею свитою, какъ привидѣніе, сталъ передъ нами Набоковъ! Такъ неразрывно въ мысляхъ связались вмѣстѣ лучшія желанія съ невозможностью ихъ исполненія, все любимое сдѣлалось недоступнымъ, представленія свободы, счастья, радости свиданія завернуты были крѣпко въ мрачный тюремный покровъ...

Утромъ проснувшись, я не могъ, не желалъ отвязаться отъ мыслей вчерашняго дня. Я видѣлъ ее вчера, быть можетъ, увижу ее и сегодня! Насталъ часъ первый дня и она появилась вновь, въ сопровожденіи незнакомой мнѣ спутницы, все въ томъ же мѣстѣ, въ углубленіи за стѣной собора. Оттуда показывала она мнѣ какія-то крупныя надписи на листѣ бумаги, но за дальнимъ разстояніемъ,—саженей 50,—прочестъ ихъ

было нельзя. Затѣмъ она вновь отдѣлилась отъ своей спутницы и скрылась за деревяннымъ заборомъ, откуда пришла. Я смотрѣлъ и ждалъ: въ этотъ разъ она совершила обходъ и прошла параллельно тюремному фасу къ Петербургскимъ воротамъ. Когда она проходила мимо меня, она что-то сказала мнѣ, но раз- слышать я не могъ. Два дня свиданія съ лицомъ мнѣ близкимъ, принимающимъ во мнѣ живое участіе, перебунтовали совершенно тюремную мою жизнь. Мысли были все объ одномъ: она приходитъ часто, если не ежедневно, на свиданіе съ своимъ другомъ и при этомъ и меня какъ бы считаетъ долгомъ навѣстить.

Вечеромъ сажусь я за чтеніе, но оно не идетъ. Различныя мысли о переговорахъ съ нею роятся у меня въ головѣ, и вотъ зарождается смѣлая мысль: карандашъ у меня есть, бумага въ книгахъ, такъ можно и написать ей—выкинуть изъ окна письмо. Мысль эта меня такъ заинтересовала, что, еще не вполнѣ рѣшившись, я отодралъ заглавный листъ, почти свободный отъ печати, листъ Ювенала, на веленовой бумагѣ и пишу гвоздемъ предполагаемое письмо. Рѣчь изъ глубины души сама выливается на бумагу, желѣзный карандашъ, какъ электрическій проводникъ, быстро чертитъ всѣ тончайшія представленія мозгового аппарата; легко, какъ слезы, льются горькія слова изъ сердца, переполненнаго темничною тоскою. Заглавные листы не одной книги оторваны были въ этотъ памятный вечеръ,—я писалъ обо всемъ: о нашемъ положеніи въ тюрьмѣ, объ ужасной тоскѣ, о мучительной неизвестности, когда, наконецъ, окончится наше дѣло, и спрашивалъ ее, не знаетъ-ли она чего. Утѣшалъ, ободрялъ ее, что мы переживемъ все это ужасное время и встрѣтимся снова, какъ прежде; просилъ ее зайти къ братьямъ моимъ на Васильевскій островъ, въ домъ Юнкера и рассказать имъ, гдѣ я нахожусь, чтобы они пришли ко мнѣ... Писалъ многое, чего теперь и не припомню. Писать было непреодолимое желаніе и мнѣ казалось, что и для нея письмо мое получить было бы очень интересно. Было поздно, я писалъ, повременамъ вставалъ, прохаживался, бормоталъ слова, подходилъ къ столу, опять писалъ,—наконецъ, поставилъ

окончательную точку. Теперь какъ же мнѣ сложить или скрутить эти 4 или 5 листочковъ и чѣмъ закрѣпить, заклеить, чтобы они составляли толстый, маленький пакетъ? Долго не пришлось мнѣ думать: волосы у меня были длинные, густые и крѣпкіе, я вырвалъ нѣсколько волосъ и, сложивъ бумажный пакетикъ въ видѣ толстенькаго маленькаго комка, величиною съ грецкій орѣхъ, приплюснулъ его рукою, проткнулъ гвоздемъ насквозь и, вдѣвъ пучекъ изъ волосъ, завязалъ его крѣпко. Печать вышла очень красивая, оригинальная и пакетикъ былъ веленовой бумаги,—снѣжной бѣлизны. Обращаю особое вниманіе читающаго, въ виду послѣдовавшаго, на снѣжную бѣлизну этого пакета. Въ первый разъ, на шестомъ мѣсяцѣ одиночнаго заключенія, разговаривалъ я, хотя и письменно, съ человѣкомъ мнѣ близкимъ, и въ разговорѣ этомъ вылилась вся радость свиданія, вся скорбь измученной души,—за себя и за нее. Дѣло рѣшенное, стало быть, все готово, остается исполнить отважное предпріятіе... Въ такихъ мысляхъ легъ я въ постель и въ соображеніяхъ и думахъ о завтрашнемъ днѣ заснулъ; и вотъ насталъ слѣдующій день: занятый одною мыслью, я стою у окна и слѣжу съ напряженнымъ вниманіемъ за каждымъ проходящимъ изъ-за забора. Тамъ, впереди за заборомъ была еще какая-то калитка, которой верхняя часть была видна. Рѣдко кто проходилъ тутъ, но всякій разъ, когда она отворялась, было видно. Часу въ первомъ дня калитка отворилась и сейчасъ же показались двѣ знакомыя мнѣ личности и стали, какъ обыкновенно, въ застѣнку собора. Поклоны и непонятные знаки руками передавались мнѣ. Но вотъ и я прошу вниманія и, выставя въ фортку мой бѣлый пакетъ, держу его, показывая и дѣлая знакъ бросанья. Пакетъ былъ замѣченъ и сказанное понято. Варинька закивала головой и исчезла за заборомъ. Минутъ черезъ десять она, сдѣлавъ обходъ, явилась прохожей слѣва вдоль фаса. И вотъ, она приближается къ моей форлкѣ. Готовый выкинуть пакетъ, я имѣлъ осторожность подождать ея одобрительнаго знака и вдругъ она махаетъ отрицательно головою и, отвернувшись, какъ бы испуганная, проходитъ мимо. Я остался съ

письмомъ въ ожиданіи, досадѣ и неизвѣстности. Такъ, не удалось въ этотъ разъ, надо подумать, подождать. Черезъ $\frac{1}{4}$ часа она вновь стала въ углубленіи собора и оттуда, указывая рукою на гауптвахту и сторожей, знаками передавала мнѣ, что она не знаетъ, какъ сдѣлать, но такъ нельзя. Тогда мнѣ пришло на мысль, что теперь свѣтло, но когда будетъ смеркаться, это будетъ возможно; но какъ ей передать это?.. И вотъ я показываю на колокольню и махаю пальцемъ — разъ, два, три, четыре, потомъ показываю рукою на небо и на свои глаза, что будетъ темно и не будетъ такъ видно. Повторяя знаки эти раза два, я вдругъ увидѣлъ, что она закивала головой и продѣлала тоже самое: показала на колокольню, махнула рукою 4 раза, затѣмъ показала на небо и на глаза и вскорѣ затѣмъ ушла со своею спутницею, оставивъ меня въ надеждѣ и ожиданіи.

Для заключеннаго въ тюрьмѣ такіе дни спасительны—они прерываютъ подавляющее однообразіе, отвлекаютъ отъ неотвязныхъ горькихъ думъ, освѣжаютъ завядшую жизнь заключеннаго. Весь поглощенный одною мыслью исполненія задуманнаго, я былъ въ возбужденномъ состояніи и ожидалъ означеннаго часа. «Это должно удасться,—говорилъ я самъ себѣ,—письмо будетъ у нея въ рукахъ. Она въ полутьмѣ проходитъ будетъ близко и я кину ей какъ разъ въ ноги довольно вѣскій пакетикъ. Вотъ пробило 3 часа, стало смеркаться, погода была еще къ тому же пасмурная и къ половинѣ четвертаго стемнѣло настолько, что еще большая темнота казалась уже мнѣ неудобною для удачи дѣла. Въ нетерпѣннѣмъ смотрю я на скрытый уголокъ собора и онъ уже едва виднѣется; вотъ пробило $\frac{3}{4}$ четвертаго и я теряю всякую надежду, даже сомнѣваюсь, видно ли отъ собора, что я стою съ открытой форткою и жду. Соскочивъ съ подоконника, я зажегъ свѣчу и поставилъ на площадку окна въ знакъ ожиданія. И вотъ я вижу какія-то двѣ тѣни пришли и стали въ углубленіи собора. «Это онѣ, несомнѣнно онѣ, никого другого быть не можетъ»,—думалъ я. Одна изъ нихъ отдѣлилась и ушла. Я стоялъ, смотрѣлъ... насталъ желанный моментъ, сейчасъ я увижу ее: по темнотѣ уже

и узнать нельзя прохожаго, но это она, — другой быть не можетъ: и вотъ слѣва, медленно приближаясь, движется мимо окна какая-то женская фигура, — она поровнялась съ моей форткой и я, съ непреодолимымъ влеченіемъ, безъ страха и сомнѣнія, какъ безумецъ, швырнулъ къ ея ногамъ мой бѣлый пакетъ!.. Онъ упалъ вблизи отъ нея и она, подбѣжавъ, схватила его съ земли и продолжала свой путь къ петербургскимъ воротамъ. Было уже такъ темно, что я не могъ видѣть, нашла ли она мое письмо и унесла съ собою, или же оно осталось на дорогѣ. Въ тотъ самый моментъ, когда она перешла за мое окно, услышалъ я озадачившія меня слова сторожа: «Сударыня, что вы подняли?» — Платокъ, — отвѣчала она знакомымъ мнѣ голосомъ. Затѣмъ я болѣе ничего не слышалъ и, задувъ свѣчу, стоялъ у фортки. Черезъ нѣсколько минутъ вслѣдъ за тѣмъ я вижу пришли двое сторожей, одинъ изъ нихъ былъ съ фонаремъ, и, остановившись у моего окна, осматривали сомнительное мѣсто и искали, не осталось ли чего на землѣ: «Она что-то подняла». — говорилъ одинъ. — «Не видать тутъ ничего. — Для чего же она подбѣжала къ окну?» — Нѣсколько минутъ они осматривали землю, бормотали что-то, то приближаясь, то удаляясь отъ окна. Было совсѣмъ уже темно. Лица ихъ освѣщены были фонаремъ и голоса хорошо слышны, хотя и не всѣ слова можно было разобрать. Я видѣлъ, какъ одинъ изъ нихъ посматривалъ съ недовѣріемъ на мое окно, но не видѣлъ въ немъ ничего, такъ какъ было темно и фортка имѣла видъ закрытой, хотя въ ней была щелка, черезъ которую я слушалъ. Они ушли, не найдя моего письма, но, можетъ быть, думалъ я, оно и лежитъ на землѣ. Съ такою мыслью слѣзъ я съ окна. Остальную часть этого дня провелъ я въ раздумьи: «Письмо-то я выкинулъ, — говорилъ я, — но взяла ли она его, вотъ это вопросъ? Темнота могла помѣшать и ей. Но, кажется мнѣ, она схватила его и вышла сейчасъ же, миновавъ гауптвахту, изъ воротъ крѣпости». Читая въ этотъ вечеръ, какъ и во всѣ эти дни, я не могъ, мысли заняты были однимъ, я весь поглощенъ былъ одною думою, которая непреодолимо влекла меня къ

исполненію задуманнаго. Когда теперь, по прошествіи 35 лѣтъ, вспоминается мнѣ продѣланное мною въ этотъ день, то я удивляюсь не смѣлости, а безумству и легкомыслію моему, съ которыми было совершено такое опасное для дальнѣйшей жизни моей въ крѣпости дѣйствіе. Послѣ этого я былъ бы навѣрно посаженъ въ какое-либо ужасное помѣщеніе. Разсерженное начальство не пожалѣло бы у меня отнять и книги, не говоря уже о дорогомъ мнѣ гвоздѣ, и сколько людей получило бы изъ-за меня большія непріятности, — ко всему этому отнесся я какъ-то совершенно беззаботно. Одинокъ-заклученному въ тюрьму, разлученному уже полгода со всѣмъ живущимъ міромъ, увидѣть вдругъ близкаго человѣка, имѣть возможность выкинуть ему изъ окна письмо и не сдѣлать этого едва-ли было возможно, если въ немъ еще билось сердце и не остыла кровь. Это было сдѣлано мною безсознательно, въ какомъ-то безумномъ увлеченіи, и только по совершеніи задуманнаго, я получилъ желаемое успокоеніе. Оно продолжалось, однако же, недолго. Прохаживаясь по комнатѣ, я говорилъ самъ съ собою: «теперь она пришла къ себѣ, въ свою комнату и читаетъ мое письмо и плачетъ надъ нимъ» .. Но вслѣдъ за этимъ сейчасъ же появлялось и сомнѣніе: «А можетъ быть письмо мое и лежитъ у окна; искать его въ темнотѣ и при сторожахъ было невозможно». Опасеніе это начинало уже вечеромъ возрастать, но я утѣшалъ себя, что письмо у нея въ рукахъ. Ночью я спалъ тревожно, часто слышалъ бой часовъ на колокольнѣ и, просыпаясь, все думалъ о завтрашнемъ днѣ, — что принесетъ онъ мнѣ. Утромъ очень рано вскочилъ я съ постели, подошелъ къ окну, отворилъ фортку, — все еще темно и не видно ничего, на колокольнѣ било 6 часовъ. Въ этотъ періодъ времени моего заключенія у меня ночью горѣла въ умывальной чашкѣ свѣча. Я прилегъ снова, но спать уже не могъ и слышалъ всѣ удары колокольнаго гимна. Теперь темно, — думалъ я, — и на землѣ что лежитъ ничего не видно, а вотъ разсвѣтетъ и тогда что будетъ!.. Но вотъ свѣтаетъ и бьетъ 7 часовъ. Я затушилъ свѣчу, вскочилъ на окно и, отворивъ фортку, былъ пораженъ представшею глазамъ моимъ картиною: земля была покрыта снѣгомъ,

вышиною вершка на 4. Снѣгъ закрылъ все, что лежало на дорогѣ, и мое письмо. Это меня очень успокоило: «Зима, вотъ и зима—4-е время года вижу я изъ окна тюрьмы; не напрасно меня перевели сюда, я долженъ зимовать еще! Сегодня 1-е октября—какъ рано выпалъ уже снѣгъ!» Въ такихъ мысляхъ стоялъ я у окна; развѣтало все болѣе и вотъ вижу: пришелъ солдатъ съ метлою и сталъ разметать дорогу. Съ каждымъ взмахомъ метлы летѣли по сторонамъ мелкій снѣгъ со снѣжною пылью и комочки снѣга, величиною и бѣлизною совершенно похожіе на мой запечатанный пакетъ:— «Вотъ мое письмо, вотъ оно лежитъ! А! слава Богу, что онъ его не видитъ. Когда бы онъ его уже забросилъ!» Но вотъ новые комки подбрасываются имъ и ложатся на боковыя снѣжныя горки.

Вотъ, это оно, непременно оно, а можетъ быть вотъ это;—сколько писемъ моихъ набросалъ онъ! Эта множественность писемъ, однако же, меня нѣсколько утѣшала, но я все еще всматривался въ снѣжные комочки.—такъ поразительно похожи они были на мое письмо, и по временамъ раздумывалъ, какой изъ двухъ, трехъ комковъ бумажный. Вотъ и сторожъ, уже окончивъ свое дѣло, ушелъ, я все посматриваю на эти валяющіяся на виду всѣхъ мои письма. Проходятъ люди и не обращаютъ вниманія. Я схожу съ окна, и опять влѣзаю, и вижу: идетъ одинъ изъ крѣпостныхъ офицеровъ и что-то говоритъ сторожу, затѣмъ прошелъ еще какой-то военный и мнѣ думается, не отыскана ли ночью улика совершеннаго мною по тюремнымъ законамъ преступленія. Опасенья мои все усиливались и я спрашивалъ себя, какъ могъ я сдѣлать такую непростительную шалость, которая пользы мнѣ не принесетъ, а озлобитъ противъ меня всѣхъ стерегущихъ меня драконовъ и раньше окончанія дѣла они меня задушатъ въ какой-либо подвальной ямѣ!

Былъ уже часъ двѣнадцатый,—день этотъ помнится мнѣ очень хорошо,—я часто вспрыгиваю на подоконникъ и почти не схожу съ него, и на моихъ глазахъ происходитъ что-то не ежедневное. Хожденіе сторожей болѣе частое и скорое, офицеръ, идущій поспѣшно къ гауптвахтѣ, и вдругъ, къ моему изумленію, вижу

и Набокова, идущаго мимо собора прямо къ нашимъ окнамъ. Тутъ я уже болѣе не сомнѣвался, что мое тюремное злодѣяніе открыто и вся эта тревога происходитъ изъ-за меня. Теперь настаетъ расправа. Комендантъ вошелъ уже въ нашъ корридоръ съ подобающимъ ему шумомъ и бѣготней людей; его сопровождаетъ, кажется, цѣлая свита; служитель бѣжитъ впереди, гремя ключами... идутъ, всѣ идутъ и ключъ воткнуть какъ разъ въ мою дверь! «Насталъ мой часъ!»—думалъ я. «О! я несчастный! Блудливъ какъ кошка, скажутъ мнѣ, но далѣе этого, по крайней мѣрѣ, что бы не сказали мнѣ!» Сердце замерло при звукѣ повернушагося въ замкѣ ключа, и я покорился моей судьбѣ...

Дверь отворилась, вошелъ комендантъ съ двумя офицерами и служителемъ.

Устремивъ на меня свой взглядъ, онъ спросилъ: «Ну что?—Здоровы?»—Я поклонился и что-то ему отвѣтилъ въ утвердительномъ смыслѣ. «Ваши родные были у меня вчера. Получили вы виноградъ и другіе фрукты?»

— Я не получилъ.—Вопросы его не мало удивляли меня.—«Какъ же это такъ?»—Онъ посмотрѣлъ на офицеровъ. «Вчера доставлена ему цѣлая корзина фруктовъ и до сихъ поръ онъ еще не получилъ?! Кто вчера былъ дежурный?» Тутъ онъ забылъ меня совсѣмъ и, напустившись грозно на своихъ спутниковъ, поспѣшно вышелъ отъ меня. Меня заперли, и я остался одинъ.

Въ эту минуту я лучшаго и не желалъ. «Они ничего не знаютъ, ожидаемая гроза миновала, и я остаюсь въ этой комнатѣ, и какъ-нибудь уже переживу и этотъ послѣдній, конечно, сезонъ моего заключенія, вѣдь уже остается немного—недѣли двѣ, самое большее. Судьи наши уже пресытились нашими злодѣянiями, имъ уже надоѣла вся эта работа и пора уже ее кончить...

Все время моего одиночнаго заключенія я мыслить словами и говорилъ самъ съ собою то вполголоса, то громко, такъ какъ никто меня не слышалъ, безъ всякаго стѣсненія. По уходѣ коменданта, я почувствовалъ успокоеніе—мнѣ даже стало смѣшно, что, вмѣсто ожидаемой кары, заслуженной мною, я получаю корзину винограда

и фруктовъ. Прохаживаясь, я говорилъ: «письмо мое получено собственноручно и прочтено.—вѣрнѣе, но и опаснѣе нашей почты нѣтъ на свѣтѣ!» Я почти совсѣмъ забылъ и думать о комочкахъ снѣга, летавшихъ подъ метлою сторожа, и, вспомнивъ объ нихъ, вскочилъ на окно и вижу: письма мои повсюду разбросаны, по сторонамъ пѣшеходнаго пути, но ихъ большое число,—эта множественность вновь успокоила меня, хотя я все еще всматривался въ нихъ съ недоувѣріемъ, останавливаясь преимущественно на одномъ комкѣ.

Пришло обѣденное время, принесена была мнѣ и корзина съ фруктами, напомнившая мнѣ хорошія отношенія съ тюремнымъ начальствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и опечалившая меня своею величиною. Такой большой запасъ прислали мнѣ мои милые братья и тетушка и тѣмъ какъ бы сказали мнѣ: «ты еще не скоро выйдешь изъ тюрьмы, такъ хоть этимъ утѣшай себя!» Съ грустью посмотрѣлъ я на эту корзину и заглянулъ въ нее—тамъ были разнообразныя спѣлыя и очень вкусныя плоды, и пища эта была въ моемъ вкусѣ, и я, съ горя, сталъ ѣсть ее. Часу въ третьемъ дня, вскочивъ на окно, я увидѣлъ Вариньку въ углубленіи собора. Увидѣвъ меня, она показала мнѣ, развертывая по листикамъ, все мое письмо и потомъ поклонилась мнѣ нѣсколько разъ въ поясъ. Потомъ она показала рукою по направленію къ Васильевскому острову, говоря тѣмъ, что она исполнить мою просьбу относительно указанія моего окна моимъ роднымъ и затѣмъ, пройдя, по обычаю, мимо моего окна, она ушла изъ крѣпости.

Послѣдствіемъ того было свиданіе почти со всѣми моими родными и нѣкоторыми изъ знакомыхъ. На другой же день я увидѣлъ проходящими двухъ братьевъ. Сначала каждый день, а потомъ черезъ день, два, часу въ третьемъ дня, я видѣлся съ кѣмъ-либо изъ моихъ родныхъ или знакомыхъ и иногда удавалось послать черезъ окно нѣсколько словъ. Свиданія эти, хотя и минутныя, меня очень оживляли. Между близкими друзьями моими были двое моихъ дядей; одного изъ нихъ—Михаила Семеновича Бижейича—мы, то-есть я и братья мои, очень любили и уважали. Онъ, не-

смотря на свою сѣдину и престарѣлый уже возрастъ, сохранилъ всю свѣжесть цвѣтушаго еще здоровьемъ организма; онъ былъ отзывчивъ ко всѣмъ современнымъ вопросамъ и его очень интересовали социальныя вѣянія того времени и, въ особенности, ученіе Фурье, о которомъ онъ со мною часто бесѣдовалъ и постоянно доказывалъ его непримѣнимость къ дѣйствительной жизни. И вотъ, однажды, когда я стоялъ у моей форточки, увидѣлъ я его идущимъ отъ собора къ нашему тюремному фасу. Я очень обрадовался, увидѣвъ его, и мнѣ живо вспомнились наши съ нимъ споры. Когда онъ поровнялся съ моимъ окномъ и смотрѣлъ пристальнымъ взглядомъ на мое исхудалое, блѣдное лицо съ длинными волосами, я, пославъ ему громкое привѣтствіе, почти закричалъ и окончилъ его словами: «а Фурье все-таки правъ!» Онъ, испугавшись, отвѣтилъ мнѣ—молчи, молчи!—и скрылся за амбразурой окна. Глубокая амбразура заслоняла движеніе звука по сторонамъ и это давало возможность иногда сказать нѣсколько словъ.

Варинька не переставала приходить въ крѣпость въ иные дни и всегда проходила и мимо моего окна...

Пережитыя мною происшествія этихъ дней, запечатлѣлись въ памяти моей дорогимъ воспоминаніемъ; отъ нихъ вѣетъ тихою грустью и сладостными следами...

Но пора уже перейти къ другому. Хочется мнѣ, однако же, прибавить нѣсколько словъ о личности, которая принимала столь живое участіе въ насъ, заключенныхъ, и которую судьба разлучила навсегда съ любимымъ ею человекомъ. Впослѣдствіи, по прошествіи многихъ, очень многихъ лѣтъ, уже продѣлавъ всѣ мои подневольныя странствія, случайно я встрѣтился съ нею на свободѣ. Увидѣвъ меня, она горько заплакала и долго не могла успокоиться, вспомнивъ все пережитое ею въ былые годы. Подробности душевнаго разсказа ея о дальнѣйшей ея жизни я не считаю себя вправе передавать, но скажу только, что кромѣ душевнаго горя, ей пришлось переносить многіе годы нужды и тяжелымъ трудомъ швеи зарабатывать себѣ кое-какія средства жизни, и что она, вспоминая свою пер-

вую любовь, казалось, хранила ее, какъ святыню, въ своемъ сердцѣ. Теперь, если она жива, то она уже старушка, но, во всякомъ случаѣ, она моложе меня возрастомъ, и, вѣроятно, переживетъ меня и прочтетъ эти строки, вызванныя столь дорогимъ мнѣ воспоминаніемъ. Да не подумаетъ она также, чтобы я могъ забыть ея истинное имя. Псевдонимъ казался мнѣ умѣстнѣе по ея и моимъ отношеніямъ къ, можетъ быть, еще живущимъ людямъ.

XIII.

Въ этомъ жилищѣ моемъ близкими сожителями моими изъ царства животныхъ были, какъ я сказалъ уже, черные тараканы и голуби. Въ тотъ самый вечеръ, когда я началъ ѣсть фрукты изъ присланной мнѣ корзины, объѣдки ихъ бросалъ я вблизи круглой, обтянутой желѣзомъ, печи и вечеромъ, при зажженной свѣчѣ, увидѣлъ я, къ удивленію моему, множество большихъ черныхъ таракановъ; иные, впившись въ остатки яблокъ, грушъ, бергамотъ, пожирали оставшуюся мякоть, другіе ползали, ища пищи. Скопища таракановъ въ такомъ размѣрѣ я никогда нигдѣ не видѣлъ ни прежде, ни впоследствии въ жизни моей, притомъ же они были очень большой величины и черные, лоснящіеся. Я поднесъ свѣчу ближе и разсматривалъ ихъ съ любопытствомъ. Далѣе печи они никогда не ползали, теплота казалась необходимымъ условіемъ ихъ жизни и ночная тьма для нихъ—время бодрствованія, въ остальное время дня ихъ не было видно никогда. Ежедневно выползали они изъ-за печки и я всякій вечеръ любовался ими и прикармливалъ ихъ. При появленіи новаго куска пищи они набрасывались на него и, обѣвши кругомъ, ѣли всѣ вмѣстѣ отъ одного куска, не выталкивая одинъ другого и не отбивая чужой пищи. Нравъ ихъ казался мнѣ общежительнымъ и добродушнымъ по взаимнымъ ихъ отношеніямъ. Когда не было болѣе плодовой пищи, они не прене-

бегали и хлѣбомъ, но мясной пищи не ѣли. Каждый вечеръ смотрѣлъ я, сколько ихъ пришло ко мнѣ, и ихъ безвредный и тихій визитъ считалъ я благопріятнымъ отношеніемъ моимъ къ природѣ, не отчуждавшей меня, какъ люди, потому приносящимъ мнѣ какъ бы благополучіе.

Другого рода животныя, принимавшія отъ меня пищу и молчаливо вступившія со мною во взаимно-выгодныя отношенія, были изъ царства пернатыхъ прилетавшихъ къ моему окну. На площадкѣ, довольно широкой,— до $\frac{3}{4}$ аршина шириною и $1\frac{1}{2}$ длиною — оконной амбразуры моего окна ютились въ продолженіе всего дня голуби, но прилетъ ихъ былъ особенно великъ въ послѣобѣденный часъ, когда бросалась имъ всякая пища. Они клевали все. Эти, во мнѣніи благочестивыхъ христіанъ пользующіяся такимъ почетомъ и по нравственности считаемыя чистыми и цѣломудренными существами, по моимъ продолжительнымъ наблюденіямъ этого времени, оказались самыми злыми и безпощадно жестокими по взаимнымъ своимъ другъ къ другу отношеніямъ. Драки ихъ изъ-за кусочка хлѣба были самыя ожесточенныя и всегда являлся одинъ какой-нибудь боецъ, разгонявшій всѣхъ и ненасытно пожиравшій бросаемую пищу. Если попадались двое равныхъ, то это былъ бой какъ бы на смерть.—выщипываніе перьевъ изъ шеи и клеваніе въ голову были самыми тяжелыми ударами. Этимъ временемъ пища доставалась болѣе слабымъ или, правильнѣе сказать, слѣдовавшимъ по силѣ обитателямъ. Тутъ не было уже никакой жалости къ чужому голоду—все хваталось съ бою. На окно слетались десятки, такъ что не было куда стать, и одни другихъ выталкивали съ окна. Драки эти меня развлекали ежедневно съ полчаса и я, при бросаніи кусочковъ пищи, старался попадать къ ногамъ болѣе слабыхъ, что заставляло неистово метаться ненасытныхъ пожирателей, присваивающихъ себѣ однимъ право насыщаться земными благами. Однажды, поздно вечеромъ, въ лунную ночь, вскочивъ на окно подышать воздухомъ у фортки, замѣтилъ я, что голубъ сидитъ на желѣзной рѣшѣткѣ окна, и такъ близко, что, протянувъ руку, его можно схватить. Подумавъ объ этомъ,

я сейчас-же просунулъ руку и, положивъ ладонь на спину его и замкнувъ пальцы, я его взялъ и втянулъ черезъ фортку въ комнату. Держа его въ рукѣ, я сѣлъ за столъ и пробовалъ его кормить, но онъ, поднявъ голову и отворивъ широко клювъ, дышалъ очень учащенно и, казалось мнѣ, впалъ въ совершенное безпамятство. Когда я его попробовалъ поставить на столъ и разомкнулъ пальцы, то онъ, не двигаясь, стоялъ и раскрытый ротъ продолжалъ какъ бы вбирать въ себя усиленно воздухъ, какъ дѣлаютъ птички, посаженные подъ воздушный насосъ съ разрѣженныхъ воздухомъ. Съ $\frac{1}{4}$ часа я разсматривалъ его, потомъ счелъ лучшимъ возвратить его на прежнее мѣсто ночлега. Я пронесъ его благополучно черезъ фортку и вновь усадилъ на рѣшетку, гдѣ онъ сидѣлъ. Посидѣвъ съ полминуты, вѣроятно, очнувшись, онъ слетѣлъ на землю. Такая ловля голубей была у меня не одинъ разъ, но потомъ мнѣ уже это надоѣло. Меня удивляло также, что охолодѣлое отъ мороза желѣзо было для нихъ нечувствительно. Таковы были въ этомъ жилищѣ мои сношенія съ животнымъ царствомъ.

XIV.

Прошелъ мѣсяцъ моего пребыванія, или болѣе, въ новомъ моемъ жилищѣ; полгода просидѣвъ въ одиночествѣ, сталъ я болѣе выносливъ, приспособившись къ малой жизни, но можно ли привыкнуть къ жестокому лишенію свободы и полной изоляціи ото всего живого міра, не выработавъ въ себѣ особый мозговой аппаратъ, подавляющій всѣ желанія живого существа? Можно ли достичь такой премудрости, не разрушивъ въ себѣ высшія стремленія души: потребность знанія, мышленія и всѣ жизненныя чувства, связующія насъ съ людьми? Можетъ ли заключенный въ просторную гробницу, куда доставляется пища, не утративъ и тѣлесныхъ силъ, свыкнуться съ своимъ положеніемъ и не ожидать съ живѣйшимъ нетерпѣніемъ своего вы-

хода въ жизнь. Если съ продолжительностью заключенія и вырабатывается нѣкоторая выносливость у заключеннаго, то она поддерживается еще не вполне утраченною надеждою, предупреждающею совершенный упадокъ силъ отъ постоянно гнетущаго глубокаго чувства унынія. Чѣмъ далѣе продолжается отчужденіе отъ жизни и людей, тѣмъ болѣе ожесточается чувство скорби и проясняется сознаніе своего ужаснаго положенія. Одна надежда выйти въ жизнь, какова бы и гдѣ бы она ни была, лишь бы были люди и солнце, поддерживала меня. и подъ вліяніемъ этой надежды я только и могъ бодрить и развлекать себя чѣмъ-либо. Каторжная работа, ссылка въ Сибирь, казались мнѣ величайшимъ и единственно возможнымъ будущимъ моимъ счастьемъ, и съ трепетомъ сердца я жаждалъ скорѣйшаго окончанія нашего дѣла. Я уже былъ порядочно замученъ и на лицѣ моемъ не могли не отпечатлѣться слѣды ужасной зѣвоты и судорожнаго смѣха. Въ первый разъ, когда я получилъ зеркало,—еще въ первомъ моемъ помѣщеніи,—я былъ пораженъ, взглянувъ на себя. Затѣмъ, ежедневно смотрясь, я не могъ видѣть рѣзкой перемѣны, но я былъ желтъ, худъ, обросшій небольшими усами и бородой и длинными волосами, ни разу въ крѣпости не стриженными.

Въ этомъ помѣщеніи, какъ и въ прежнихъ, я цѣлыми днями говорилъ, мыслилъ словами и, думая о будущемъ, мечталъ о предстоящей мнѣ, столь мною желаемой, жизни въ рудникахъ, вмѣстѣ съ другими людьми, можетъ быть, съ нѣкоторыми изъ товарищей моихъ— «тамъ отдохну я отъ этого одиночества! И выживу срокъ, можетъ быть, не столь продолжительный и буду жить поселенцемъ въ Сибири, странѣ, хвалимой столь многими, оттуда вернувшимися». Такъ утѣшалъ я себя и подъ вліяніемъ такихъ надеждъ и мысли, что дѣло наше, наконецъ, приблизилось уже къ самому концу, я не переставалъ бодрить себя. Не каждый день, но часто мылся холодной водой, дѣлалъ гимнастику, читалъ книги но большую часть дня говорилъ самъ съ собою и часто, ежедневно, много разъ впадалъ въ стихотворный бредъ. Одно изъ стихотвореній этого времени, задуманное, вродѣ поэмы, олицетворяло восхожденія, по одиночкѣ,

на гору крутую, пустынную, мѣстами усѣянную костями людей, шедшихъ прежде насъ, съ соблазнами возвращенія назадъ, въ прежнюю жизнь. Стихотвореніе это неконченное, возобновляемое иногда позже въ памяти, воспроизведено было мною только отчасти въ послѣдствіи на Кавказѣ. Я привожу его какъ оно есть; оно выражаетъ мрачное, экзальтированное, болѣзненное состояніе человѣка, истомленнаго долгимъ одиночнымъ заключеніемъ за стремленіе выйти изъ безобразной душевной окружающей насъ общественной среды:

Гора высокая, вершина чуть видна,
Пустыня жаркая, нѣтъ ни дождя, ни тѣни;
Вся терніемъ густымъ обложена она
И знойнымъ воздухомъ удушливыхъ растеній.
И мнѣ, безсильному, досталось идти
По столь тяжелому пустынному пути!..
И я иду по немъ, едва переступаю,
Шатаюсь, иду, иду, и за собой
Кровавые слѣды страданья оставляю,—
Судьба жестокая свершилась надо мной!
Со взоромъ ищущимъ, палящими устами
Иду, отъ крутизны мнѣ сердце въ грудь стучить;
И солнце жжетъ и жжетъ меня лучами,
Грудь задыхается и голова горитъ!
Куда-жъ ведетъ меня пустынный путь, мнѣ новый?
На эту высь и даль—туда мнѣ не взойти..
И съ ужасомъ смотрѣлъ я на мой путь терновый
И оглянувшись, нельзя-ль назадъ сойти.
И вдругъ глазамъ моимъ видѣніе предстало:—
Я женщину увидѣлъ предъ собой:
Чудовище передо мной стояло
Ужасной вышины, съ огромной головой.
И руки грязныя съ участіемъ простирало:
Старуха мерзкая, отжившая свой вѣкъ.
Не мытая со дня рожденья,
На ней болѣзнь, развратъ и преступленье,—
Все. чѣмъ когда-либо былъ гадокъ человѣкъ:
Навѣшены на ней сокровища земли—
И жемчугъ, и алмазь. и золота куски,
Но язвами покрыто ея тѣло
И изъ-подъ золотой блистающей парчи
Рубаха черная лохмотьями висѣла.
Глава косматая покровомъ величавымъ
Покрыта вся, какъ твердою броней,
Кругомъ штыки, мечи, доспѣхи дикой славы
И тамъ же наверху лежалъ законъ кровавый

И эшафотъ стоялъ, съ отрубленной главой.
На раменахъ ея столицы возвышались,
Ихъ куполы церквей, блистая, красовались,
И между ними былъ и нашъ шпигъ крѣпостной,
И онъ не меньше всѣхъ блисталъ своей главой.
И тамъ же близъ церквей построены темницы
И за рѣшетками, едва просунувъ носъ,
Виднѣлись въ окнахъ все замученныя лица:
Въ глазахъ ихъ не было ни капли больше слезъ
И нечѣмъ было имъ ни плакать, ни молиться.
Глазамъ не вѣря, я, испуганный, стоялъ:
— Откуда предо мной ужасное видѣнье?
Откуда ты взялось и кто тебя призвалъ,
Ужель и ты творца великаго творенье,
Имѣешь право жить, живое существо?!
Ужель въ груди твоей есть жизнь и сердце бьется
И кровь, живая кровь, по жиламъ твоимъ льется?
Ужасенъ образъ твой и страшно бытіе!
Я заслонилъ глаза, закрывъ лицо руками,
Но образъ предо мной стоялъ все, какъ живой,
И звукъ пронзительный, и громкій, и глухой
Вдругъ оглушилъ меня ужасными словами:
«Дитя мое! Со мной вѣдь ты давно знакомъ,
Чего-жъ боишься ты? приди въ мои объятія!
Я отнесу тебя въ родной твой край и домъ,
Я возвращу тебѣ друзей, родныхъ и братьевъ!»
Я бросился бѣжать—она за мной вослѣдъ:
«Тебя избавлю я отъ этихъ мукъ и бѣдъ;
Дитя мое! Ужель меня ты не узналъ?
Я мать твоя,—она мнѣ говорила,—
Вотъ у меня сосцы,—не ты ли ихъ сосалъ?
Мой другъ, мое дитя, не я-ль тебя вскормила?»
Отъ изумленья я чуть мертвый не упалъ,
Но страхомъ гибели мнѣ сердце все облило,
И легкокъ сталъ мнѣ путь, гдѣ я изнемогалъ:
Я въ гору бросился бѣжать изо всей силы
И долго, долго я, испуганный, бѣжалъ,
Ужасный образъ тотъ изъ глазъ моихъ пропалъ,
И я, измученный, на землю повалился...

Въ пустынѣ знойной я лежалъ безъ чувствъ, нѣмой,
Но вотъ, очнувшись вновь, я къ жизни пробудился,
И вдругъ почувствовалъ прохладу надъ собой.
Какъ будто цѣлый лѣсъ шумѣлъ и шевелился,
И осыпаясь былъ я пылью водяной:
Смотрю—густая сѣнь, качаяся вѣтвями,
Широколиственно склонилась надо мной,
И, рассыпая журчащими струями,
Билъ изъ земли фонтанъ; все свѣжестью дышало

И ароматами цвѣтовъ благоухаю.
Откуда ты взялась, таинственная сѣнь,
И кто тебя взростилъ въ пустынѣ въ знойный день?!
Живой родникъ гремѣлъ, журчалъ, бѣжалъ ручьями
И я прильнулъ къ нему палящими устами
И жажду утолилъ...
О, непостижная природа жизни мать,
Иль Богъ, всесильный Богъ, святое провидѣнье!
Ты знаешь, что кому, когда и какъ подать,
Погибшему послать и отдыхъ и спасенье!...

Межъ тѣмъ стемнѣло все,—я на горѣ стоялъ...
И, оглянувшись, увидѣлъ, изумленный,
Тотъ городъ, гдѣ я жилъ, томился и страдалъ,—
Тамъ, въ глубинѣ внизу, огнями освѣщенный,
Онъ какъ бы въ пропасти передо мной мерцалъ!

Стихотвореніе это было длинное-преддлинное; нечѣмъ же и заниматься было, и я вертѣлъ различные отдѣлы его въ головѣ моей. Мѣстами оно теперь почти забыто, мѣстами же недостаточно обработано и я предпочитаю остановиться на этомъ. Приведено же и это мною потому, что оно дополняетъ картину моего болѣзненнаго состоянія.

Таковы были мои литературныя затѣи, которымъ я предавался повременамъ, сидя въ этой комнатѣ. Онѣ меня нѣсколько утѣшали, развлекали, и такъ кое-какъ проходили дни за днями. Утромъ чай, затѣмъ латинскіе стихи Ювенала, смотрѣніе въ окно, ожиданіе—не придетъ ли кто, стихотворный бредъ, обѣдъ, кормленіе голубей. Темнѣло уже въ три часа пополудни, зажиганіе свѣчи, чтеніе Купера, Гете... Привѣтствіе таракановъ, вечерній чай.

И всѣ эти занятія прерывались безпрестанно чувствомъ томленія и страшной тоски. Иные дни были сноснѣе, другіе едва переносимы, съ трудомъ доживаемы до ночи. И ложился я въ постель въ большемъ уныніи и сомнѣніи о завтрашнемъ днѣ, зная, что утромъ, только что открою глаза, вновь буду тяжело огорченъ видомъ тюрьмы. Да когда же, наконецъ, кончится наше нескончаемое дѣло?! Силъ не хватаетъ болѣе, все кажется уже переносимымъ въ сравненіи съ долгимъ одиночнымъ заключеніемъ. При этомъ моемъ безнадежномъ о завтрашнемъ днѣ поло-

женій, я какъ бы въ насмѣшку повторялъ иногда четырехстишіе Гете:

«Liegt dir Gestern klar und offen
Wirst du Heute kräftig, frei,
Kannst auch auf ein Morgen hoffen,
Das nicht minder glücklich sei!»

И потомъ передѣлалъ его соотвѣтственно моему бѣдственному положенію слѣдующимъ образомъ:

«Hat dich Gestern schwer getroffen,
Bist heut elend und nicht frei;
Kannst auch auf ein Morgen hoffen,
Das nicht minder traurig sei!»

Но, размышляя о нескончаемости моего тюремнаго заключенія, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ это же время, повторялъ и другое Гетевское изреченіе:

«Es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen», перефразировавъ его, примѣняясь къ моему положенію, такимъ образомъ:

«Es ist auch dafür gesorgt, dass die Gefängnisse nicht in die Ewigkeit dauern!»

Читающій эти строки благоволитъ обратить вниманіе, въ виду послѣдующаго, на нѣмецкія слова: «Es ist dafür gesorgt».

XV.

Однажды утромъ принесено было мнѣ мое платье, и я былъ вновь потребованъ въ судъ. Меня не требовали уже три мѣсяца, если не болѣе, и надо было ожидать чего-либо особеннаго. Съ безпокойствомъ и любопытствомъ вошелъ я вновь въ бѣлый домъ, на лѣстницу, въ знакомую уже мнѣ, по прежнимъ ходженіямъ, комнату и былъ страшно изумленъ представшимъ глазамъ моимъ зрѣлищемъ: вмѣсто прежнихъ пяти судей нашихъ, за прежнимъ маленькимъ столомъ передо мной былъ цѣлый ареопагъ — человекъ двадцать генераловъ, въ парадномъ одѣяніи, сидѣли за длиннѣйшимъ, накрытымъ краснымъ сукномъ, столомъ. На одномъ концѣ его сидѣлъ высокаго роста генераль съ крупными чертами лица, съ суровымъ, казалось мнѣ, взглядомъ, худой, блѣдный, съ жидкими бѣлокурыми волосами. Онъ и теперъ, какъ живой, сидитъ передъ

моими глазами. Онъ смотрѣлъ на меня сурово и безчувственно (такъ, по крайней мѣрѣ, казалось мнѣ, но, можетъ быть, я и ошибался въ этомъ). Впослѣдствіи узналъ я, что это былъ Лобановъ-Ростовскій. На другомъ концѣ стола, спиною къ окну, за пюпитромъ, стоялъ какой-то чиновникъ (секретарь присутствія). Когда я вошелъ, взоры всѣхъ устремились на меня. Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и очутился около секретаря, который тоже, обернувшись ко мнѣ, смотрѣлъ на меня. Окинувъ взоромъ все это присутствіе, я былъ въ страшномъ недоумѣніи:—Что это?... Зачѣмъ такая перемѣна, гдѣ прежніе наши судьи? Имъ не дали докончить нашего дѣла,—думалъ я,—ихъ нашли слишкомъ къ намъ внимательными, и вотъ назначили другихъ. Такія мысли вдругъ охватили меня. Едва успѣлъ я подумать объ этомъ, какъ услышалъ обращенный ко мнѣ вопросъ. Лобановъ-Ростовскій спрашивалъ меня, какъ моя фамилія, затѣмъ спросилъ: «Все ли вы показали на слѣдствіи, не имѣете ли чего еще прибавить?» Такой вопросъ не мало удивилъ меня. Столько уже я говорилъ и писалъ и теперь вдругъ еще спрашивается, не имѣю ли я чего прибавить!—Какъ?—спросилъ я,—еще прибавить?... Къ тому, что я уже говорилъ и писалъ?!—«Я спрашиваю васъ, не имѣете ли вы чего прибавить къ тому, что вы показали по дѣлу вашему и въ оправданіе себя?»—Нѣтъ!—отвѣчалъ я съ увѣренностью.—Я все показалъ и больше ничего не имѣю прибавить.—Послѣ этого я былъ отпущенъ.

Ужасное впечатлѣніе произвело на меня это собраніе генераловъ, въ торжественномъ облаченіи по случаю несчастія, съ нами случившагося!...

— «Что это значитъ»?.., спрашивалъ я офицера, меня сопровождавшаго.—«Отчего эта перемѣна?... Гдѣ же прежніе судьи наши?» -- Это, батенька, полевой уголовный судъ подъ предсѣдательствомъ Лобанова-Ростовскаго,—отвѣтилъ онъ мнѣ.—«Развѣ насъ отдали подъ военный судъ?»—спросилъ я, удивленный.—«Неужели же они начнутъ разсматривать дѣло съ самаго начала?»

Не помню, что мнѣ отвѣчалъ офицеръ; онъ уже не мнѣ безучастный незнакомецъ, какъ прежде, но

слова его не могли ничѣмъ утѣшить меня. И вотъ я вновь одинъ въ запертой комнатѣ. «Судъ съ самаго начала, тотъ уже не годился, что прежде былъ!» Тутъ я пожалѣлъ и князя Гагарина, и Долгорукова, и Ростовцева, и Набокова, и Дупельта... Ихъ нашли слишкомъ къ намъ снисходительными!... Но что меня еще ужасно сокрушило,—это вновь отсрочка окончанія нашего дѣла и отсрочка не на двѣ недѣли, а на неопредѣленное, казалось мнѣ, нескончаемое время. Я былъ совершенно подавленъ этою одною мыслью. Съ самаго начала содержанія въ крѣпости я утѣшалъ себя двухнедѣльнымъ срокомъ и надеждою, что вотъ-вотъ уже наступаетъ конецъ дѣла. И вдругъ предо мной неожиданно, внезапно, разверзлась бездонная пропасть; всѣ надежды мои на скорое избавленіе ссылкою въ Сибирь рушились вдругъ и самыя мрачныя зловѣщія мысли зародились въ головѣ моей:—«Теперь смертная казнь или, что еще хуже—присужденіе къ нескончаему одиночному заключенію!... Уже такъ много страдалъ я, такъ измученъ, а какія муки предстоятъ еще впереди!... Двигаясь медленно по комнатѣ, я вдругъ останавливался и, хватаясь обѣими руками за голову, произносилъ мученическія слова:

«День ужасный, день самый несчастный въ жизни моей! О! если бы я могъ умереть, чтобы уже болѣе не думать ни о чемъ и перестать чувствовать жестокое мое заключеніе!... Въ такой глубокой тоскѣ я незамѣтнымъ образомъ опускался на полъ, въ обычное мое сидячее на колѣняхъ положеніе и заливался судорожнымъ смѣхомъ, до изнеможенія. Поднимаясь послѣ такого припадка, я чувствовалъ себя совершенно разбитымъ, немыслящимъ, безгласнымъ. Невыносимо тяжело прожить былъ этотъ злосчастный день. Завѣса мрачнаго будущаго приподнялася передо мною, надежда, подкрѣплявшая меня, исчезла, и я остался безъ всякой нравственной поддержки!...

Въ этотъ день гвоздемъ написалъ я на стѣнѣ, какъ мнѣ было тяжело,—слова самыя горькія человѣка изстрадавшагося остались вырѣзанными моею рукою. Пусть прочтетъ, думалъ я, кто-либо, кто будетъ здѣсь помѣщенъ послѣ меня.

Въ такомъ состояніи легъ я въ постель, сонъ одо-
лѣвалъ меня и зловѣщіе призраки, летавшіе надъ моею
головой, сливались въ какой-то давящій туманъ и сонный
бредъ. И вотъ снится мнѣ: зовутъ меня въ судъ, и
офицеръ, сопровождающій меня, не говоритъ мнѣ ни
слова. Иду молча, куда ведутъ, сердце сжимается пред-
чувствіемъ чего-то ужаснаго, я иду какъ осужденный
на гибель. Вотъ бѣлый домъ, вотъ уже и на лѣстницу
вхожу я, колѣна дрожать; дверь отворилась—я дол-
женъ въ нее войти, и я вошелъ: за длиннымъ столомъ,
накрытымъ краснымъ сукномъ, сидятъ въ мундирахъ
генералы, и выпученные (казалось мнѣ) глаза ихъ
смотрятъ на меня, а на предсѣдательскомъ мѣстѣ,
устремивъ на меня строгій взглядъ, возсѣдалъ Лоба-
новъ-Ростовскій. Я, переступивъ порогъ, остановился;
кто-то сзади подтолкнулъ меня впередъ и я очутился
около самаго стола: «Вы призваны выслушать рѣшеніе
по вашему дѣлу», — сказалъ предсѣдатель. — затѣмъ,
обратясь къ секретарю, сказалъ: «Прочтите ему бумагу».

Секретарь, переставъ смотрѣть на меня, взялъ бу-
магу и сталъ читать, отчеканивая медленно каждое
слово. Прочтенное было редактировано приблизительно
въ слѣдующихъ словахъ:

«Слѣдственная коммиссія по дѣлу злоумышленни-
ковъ, въ которомъ участвовали вы, раскрывъ всѣ учи-
ненныя ими злодѣянія, представила ихъ на заключеніе,
высочайше назначеннаго надъ ними полевого уголовного
суда, который, по разсмотрѣніи вашей виновности и
участія въ преступленіи, приговорилъ васъ къ заклю-
ченію въ крѣпости на 900 лѣтъ». Чтеніе это, про-
изводившееся медленно, и заключительныя слова его
произвели на меня потрясающее впечатлѣніе, какъ бы
мнѣ нанесъ кто-либо смертельный ударъ въ голову. Я
стоялъ безъ разсудка и памяти, какъ ошеломленный.—
«Вы поняли объявленіе суда?» спросилъ меня Лобановъ-
Ростовскій громогласно.

— На 900... лѣтъ?! — проговорилъ я слабымъ голо-
сомъ, — въ крѣпости... на 900 лѣтъ?.. Но потомъ, опо-
мнившись, спросилъ:

— Да какъ же это?.. Вѣдь я же не буду жить 900
лѣтъ!

«Это не ваше дѣло», сказалъ мнѣ рѣшительнымъ голосомъ Лобановъ-Ростовскій, злобно впившись въ меня своими глазами: «Мы уже позаботились о томъ, чтобы вы жили 900 лѣтъ»... а потомъ прибавилъ еще какъ бы для подтвержденія и усиленія по-нѣмецки:

«Es ist dafür gesorgt», и при этихъ словахъ закричалъ: «возьмите его и отведите сейчасъ же въ тюрьму».

Меня схватили за обѣ руки, я сталъ отбиваться ногами и закричалъ: «Проклятые! Что вы дѣлаете?!» Въ такомъ состояніи я проснулся. Сердце стучало и я былъ внѣ себя. Все было тихо, свѣча, замѣнявшая прежнюю плошку, поставленная на окнѣ въ глиняной посудѣ, заставленная книгами, слегка освѣщала потолокъ комнаты. Увидѣвъ себя лежащимъ на кровати, въ знакомой мнѣ обстановкѣ, я понялъ, что это былъ сонъ; но страшный сонъ этотъ стоялъ живымъ видѣніемъ передъ глазами моими. Я былъ настолько подавленъ имъ, что громадный размѣръ всей этой нелѣпоѣ чепухи не заставилъ меня ни разу усмѣхнуться. 900 лѣтъ, думалъ я, это только рельефное выраженіе пожизненнаго заключенія: сколько бы ни продолжалась жизнь,—хотя бы 900 лѣтъ,—ты все будешь въ тюрьмѣ и никогда не выйдешь болѣе на воздухъ и не увидишь не только никого изъ близкихъ людей, но будешь уединенъ ото всего міра!!...

Такъ лежалъ я, смотря на освѣщенный потолокъ. Я былъ очень утомленъ, глаза смыкались. «Сонъ-то и исчезъ какъ сонъ», думалъ я, а вчерашнее мое видѣніе — то дѣйствительность неудаляемая, неотступная! И она-то туманнымъ призракомъ носилась передъ сонными моими глазами... И кажется мнѣ—я засыпаю снова, брежу о чемъ-то ни во снѣ, ни на яву; какія-то лица, съ самыми разнообразными рожами и разноцвѣтными головными нарядами, мелкаютъ передъ глазами, вытѣсняя одни другихъ, они гримасничаютъ, пучатъ глаза... откуда-то слышится шумъ, какъ бы большого пыльнаго завода въ полномъ ходу и затѣмъ ритмъ этого шума превращается въ дыхательное храпѣніе какого-то приязаннаго къ кровати спящаго страдальца-великана — и все становится громче и страшнѣе; я просыпаюсь съ біеніемъ сердца, лежу, смотрю на потолокъ; передъ

глазами мелькають разноцвѣтные переливы огней и слышатся перекликающіеся голоса, свистъ и шумъ въ ушахъ.—Что же это такое?—думалъ я,—сплю я или не сплю? Голова у меня болитъ, во рту сухо, какъ бы отъ внутренняго жара, мнѣ хочется пить,—я встаю. Какая-то горечь во рту, давленіе подъ ложечкой и вдругъ голова закружилась. Схватившись за столъ, я опустился на табуретъ, меня сильно затошнило и вырвало, потомъ изъ носа закапала кровь, и я оставался въ сидячемъ положеніи у стола, придерживая голову облокотившеюся на немъ рукою.

Чувствуя себя облегченнымъ, я пошелъ къ окну, напился воды, потомъ добрался до постели и заснулъ уже не столь тревожнымъ сномъ. Утромъ проснулся болѣе утомленнымъ, чѣмъ въ какой-либо день пребыванія моего въ крѣпости. Голова была тяжела и въ ушахъ звенѣло. Я напился воды, отворилъ фортку, облилъ голову водой и стоялъ на окнѣ, дыша холоднымъ ноябрьскимъ воздухомъ. Въ этотъ день я часто ложился на постель и засыпалъ; аппетита не было и я до вечерняго чая ничего не ѣлъ. Вспоминая теперь все со мною происходившее въ эту памятную ночь, я вижу ясную картину острой гипереміи мозга, развившейся вслѣдствіе душевнаго возмущенія предшествовавшаго дня, и затѣмъ благополучно миновавшей.

XVI.

Послѣдующіе за симъ дни я чувствовалъ себя слабымъ; упадокъ духа выражался еще большею бездѣятельностью, даже обыкновенныя всedневныя дѣла были въ забвеніи—я мылся кое-какъ, не вытирался холодной водой, гимнастическія движенія не производились, голуби и тараканы были совсѣмъ забыты въ эти дни. Книги, раскрытыя, то та, то другая, лежали на столѣ, но не читались. Такое угнетенное состояніе продолжалось нѣсколько дней, но оно мало-по-малу стало проходить. Новый и военный судъ, вдругъ такъ не-

жданно нависшій надъ нами, породилъ во мнѣ двѣ подавляющія мысли: 1) вмѣсто ежедневно ожидаемаго окончанія дѣла, я вдругъ увидѣлъ, что оно сызнова начинается, и 2) меньшая надежда на столь горячо желаемое мною избавленіе отъ одиночнаго заключенія и отъ казни ссылкой въ Сибирь. По прошествіи нѣсколькихъ дней мысли мои мало-по-малу облегчались слѣдующими соображеніями. Судъ военный долженъ быть скорый—они не будутъ мѣшкать, да, кромѣ того, меня спрашивали, не имѣю-ли я чего прибавить къ тому, что мною уже показано, а потому я сообразилъ, изъ этихъ словъ, что прежній разборъ дѣла не заброшенъ, и, вѣроятно, они будутъ руководствоваться имъ,—что ускорить дѣло. Размышляя такимъ образомъ, я вновь прибѣгъ къ моему неизбѣжному, ложному предположенію о достаточности двухнедѣльнаго срока. Другое же предположеніе мое о неблагополучномъ исходѣ дѣла не переставало сокрушать меня все остальное время моего пребыванія въ крѣпости, но, и объ этомъ думая, я склоненъ былъ утѣшать себя, что я, можетъ быть, и ошибаюсь. Думая о возможности смертной казни по военному суду, я тоже утѣшалъ себя, что это будетъ не веревка, а огнестрѣльное оружіе. Очень скверно, тяжело жилось. Былъ уже конецъ ноября, 7 мѣсяцевъ уже сидѣлъ я и, озираясь назадъ, я видѣлъ длинный рядъ прожитыхъ мною скорбей и мукъ и удивлялся, какъ это мои двухнедѣльные сроки могли затянуться на столь долгое время, и говорилъ себѣ, какое счастье доставилъ мнѣ этотъ самообманъ и каково было бы мнѣ съ самаго начала, если бы я зналъ, что и въ 7 мѣсяцевъ дѣло наше не кончится. Теперь, думалъ я, несомнѣнно, послѣ столь долгаго времени, оно должно быть уже пришедшимъ къ истинному и дѣйствительному концу, котораго самый поздній срокъ двѣ недѣли. Вотъ наступилъ уже и декабрь. Погода была снѣжная и морозная, но въ комнатѣ было тепло и сильно нагрѣваемая печь радовала пріютившихся около нея таракановъ. Я стоялъ часто у фортки. Прохожихъ было мало; въ праздничные же дни отъ обѣди шло довольно много, но изъ знакомыхъ я никого

не замѣтилъ. Иногда часу въ третьемъ дня я видѣлъ, однако же, проходящаго мимо моего окна кого-либо изъ братьевъ или моего дядю М. С. Бижеича. Варинька приходила тоже въ свой уголокъ у собора часто, утирала слезы платкомъ и всегда проходила мимо моего окна. Одно обстоятельство, о которомъ забылъ я упомянуть: изъ окна моего виденъ былъ бѣлый домъ, въ которомъ разбиралось наше дѣло, и я нерѣдко смотрѣлъ, какъ подъѣзжали къ нему экипажи. Вечеромъ экипажей не видно было, но окна въ помѣщеніи второго этажа были сильно освѣщены и видимы были сначала движущіяся фигуры, потомъ онѣ усаживались и движеніе замѣтно было только по временамъ. Видно даже было, какъ по истеченіи нѣкотораго времени проходили мимо окна то тотъ, то другой подсудимый. Еслибъ у меня была подзорная труба или хорошій бинокль, то я увидѣлъ бы, безъ сомнѣнія, многихъ моихъ товарищей и разсматривалъ бы цѣлые часы, съ любопытствомъ, лица компетентныхъ цѣнителей нашихъ дѣяній, или, лучше сказать, нашихъ помышленій, но, видя передъ собою только мелькавшія части облика этого зрѣлища, я смотрѣлъ на него недолго, предаваясь при этомъ разнымъ размышленіямъ. Такое мое созерцательное, глубоко-закулисное положеніе продолжалось обыкновенно не болѣе 10—20 минутъ, послѣ чего я утомлялся и сходилъ съ окна, нерѣдко произнося стихи Лермонтова: «Кипѣлъ, сіялъ ужъ въ полномъ блескѣ балъ!» — сперва дословно, потомъ въ измѣненномъ видѣ, примѣняясь къ настоящему случаю, замѣнивъ слово балъ словомъ судъ.

XVII.

Декабрь мѣсяцъ былъ совершенно безцвѣтенъ и не былъ прерываемъ никакими новыми освѣжающими или отягчающими впечатлѣніями. Всѣ выгоды, какія можно было извлечь изъ новой мѣстности моего помѣщенія, были уже исчерпаны мною, болѣе нельзя было выду-

мать, и оставалось ожидать пришествія чего-либо снаружи, извнѣ въ мою тюремную гробницу, гдѣ я пропадалъ съ тоски и терялъ, казалось мнѣ, мои послѣднія жизненные силы. И теперь, когда я вспоминаю это ужасное мое положеніе, и теперь, по прошествіи столькихъ лѣтъ, кажется мнѣ, что безъ тяжелаго поврежденія или увѣчья на всю жизнь въ моемъ мозговомъ органѣ, я не могъ бы долѣе выносить одиночнаго заключенія, а между тѣмъ извѣстно же, что многіе и прежде и послѣ меня выносили еще и долшія таковыя же. Переносчивость у людей, конечно, различна; вообще здоровый человѣкъ живетъ, и жизнь насъ убѣждаетъ нерѣдко, что мы на самомъ дѣлѣ можемъ перенести гораздо болѣе, чѣмъ полагаемъ. Сидѣніе мое перешло уже на 8-й мѣсяцъ, томленіе и упадокъ духа были чрезвычайные, занятія не шли вовсе, я не могъ болѣе оживлять себя ничѣмъ; пересталъ говорить самъ съ собою, какъ-то машинально двигался по комнатѣ или лежалъ на кровати въ апатіи. Повременамъ являлись приступы тоски невыносимые, и чаще и долѣе прежняго сидѣлъ я на полу. Сонъ былъ тревожный, сновидѣнія все въ томъ же печальномъ кругу и съ кошмарами. Такъ дожито было до 22 декабря 1849 г. Въ этотъ день, какъ во всѣ прочіе дни, проводя ночь безпокойно, до свѣта, часовъ въ шесть я поднялся съ постели и, по установившемся уже давно разумному обычаю, инстинктивно направился къ окну, сталъ на подоконникъ, отворилъ фортку, дышалъ свѣжимъ воздухомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и воспринималъ впечатлѣнія погоды новаго дня. И въ этотъ день я былъ въ такомъ же упадкѣ духа, какъ и во всѣ прочіе дни.

Было еще темно, на колокольнѣ Петропавлоскаго собора прозвучали переливы колоколовъ и за ними бой часовъ, возвѣстившій половину седьмого. Вскорѣ разглядѣлъ я, что земля покрыта была новымъ выпавшимъ снѣгомъ. Послышались какіе-то голоса и сторожа, казалось, чѣмъ-то были озабочены. Замѣтивъ что-то новое, я долѣе остался на окнѣ и все болѣе замѣчалъ какое-то происходящее необыкновенное движеніе туда и сюда и разговоры спѣшившихъ крѣпостныхъ служителей. Между тѣмъ, разсвѣтало все болѣе

и хожденіе, и озабоченность крѣпостного начальства обозначались все явственнѣе. Это продолжалось съ часть времени. При видѣ такого небывалаго еще никогда явленія въ крѣпости, несмотря на упадокъ духа, я вдругъ оживился и любопытство, и вниманіе ко всему происходившему возрастали съ каждой минутой. Вдругъ вижу, изъ-за собора выѣзжаютъ кареты—одна, двѣ, три... и все ѣдутъ, и ѣдутъ, безъ конца, и устанавливаются вблизи бѣлаго дома и за соборомъ. Потомъ глазамъ моимъ предстало еще новое зрѣлище: выѣзжалъ многочисленный отрядъ конницы, эскадроны жандармовъ слѣдовали одинъ за другимъ и устанавливались около каретъ... Что бы это все значило? Ужъ не похороны ли снова какіе? Но для чего же пустыя кареты?!.. Ужъ не настало ли окончаніе нашего дѣла?.. Сердце забилося... да, конечно, эти кареты пріѣхали за нами!.. Неужели конецъ?! Вотъ и дождался я послѣдняго дня!.. Съ 22 апрѣля по 22 декабря, 8 мѣсяцевъ сидѣлъ я взаперти. А теперь что будетъ?!

Вотъ служители въ сѣрыхъ шинеляхъ несутъ какія-то платья, перекинутыя черезъ плеча, они идутъ скоро вслѣдъ за офицеромъ, направляясь къ нашему корридору. Слышно, какъ они вошли въ корридоръ; зазвенѣли связки ключей и стали отворяться кельи заключенныхъ. И до меня дошла очередь; вошелъ одинъ изъ знакомыхъ офицеровъ съ служителемъ; мнѣ принесено было мое платье, въ которомъ я былъ взятъ, и, кромѣ того, теплые, толстые чулки. Мнѣ сказано, чтобы я одѣлся и надѣлъ чулки, такъ какъ погода морозная. «Для чего это? Куда насъ повезутъ?—Окончено наше дѣло?»—спрашивалъ я его,—на что мнѣ данъ былъ отвѣтъ уклончивый и короткій при торопливости уйти. Я одѣлся скоро, чулки были толстые и я едва могъ натянуть сапоги. Вскорѣ передо мною отворилась дверь и я вышелъ. Изъ корридора я выведенъ былъ на крыльцо, къ которому подѣхала сейчасъ же карета и мнѣ предложено было въ нее сѣсть. Когда я вошелъ, то вмѣстѣ со мною влѣзъ въ карету и солдатъ въ сѣрой шинели и сѣлъ рядомъ—карета была двухмѣстная. Мы двинулись, колеса скрипѣли, катясь по глубокому, морозомъ стянутому, снѣгу. Оконныя

стекла кареты были подняты и сильно замерзлыя, видѣть черезъ нихъ нельзя было ничего. Была какая-то остановка: вѣроятно, поджидались остальные кареты. Затѣмъ началось общее и скорое движеніе. Мы ѣхали, я ногтемъ отскабливалъ замерзшій слой влаги отъ стекла и смотрѣлъ секундами—оно тускнѣло сейчасъ же.

«Куда мы ѣдемъ, ты не знаешь?»—спросилъ я.

— Не могу знать—отвѣчалъ мой сосѣдъ.

«А гдѣ же мы ѣдемъ теперь? Кажется, выѣхали на Выборгскую?»

Онъ что-то пробормоталъ. Я усердно дышалъ на стекло, отчего удавалось минутно увидѣть кое-что изъ окна. Такъ ѣхали мы нѣсколько минутъ, переѣхали Неву; я безпрестанно скоблилъ ногтемъ или дышалъ на стекло.

Мы ѣхали по Воскресенскому проспекту, повернули на Кировую и на Знаменскую,—здѣсь опустилъ я быстро и съ большимъ усиліемъ оконное стекло. Сосѣдъ мой не обнаружилъ при этомъ ничего непріязненнаго—и я съ полминуты полюбовался давно невиданной мною картиной пробуждающейся въ ясное, зимнее утро столицы; прохожіе шли и останавливались, увидѣвъ передъ собою небывалое зрѣлище—быстрый поѣздъ экипажей, окруженный со всѣхъ сторонъ скачущими жандармами съ саблями наголо! Люди шли съ рынковъ; надъ крышами домовъ поднимались повсюду клубы густого дыма только-что затопленныхъ печей, колеса экипажей скрипѣли по снѣгу. Я выглянулъ въ окно и увидѣлъ впереди и сзади каретъ эскадроны жандармовъ. Вдругъ скакавшій близъ моей кареты жандармъ подскочилъ къ окну и повелительно и грозно закричалъ: «не отступай!» Тогда сосѣдъ мой спохватился и поспѣшно закрылъ окно. Опять я долженъ былъ смотрѣть въ быстро исчезающую шелку! Мы выѣхали на Лиговку и затѣмъ поѣхали по Обводному каналу. Ъзда эта продолжалась минутъ тридцать. Затѣмъ повернули направо и, проѣхавъ немного, остановились; карета отворилась предо мною и я вышелъ.

Посмотрѣвъ кругомъ, я увидѣлъ знакомую мнѣ мѣстность—насъ привезли на Семеновскую площадь. Она была покрыта свѣжевыпавшимъ снѣгомъ и окружена войскомъ, стоявшимъ въ каре. На валу вдали стояли

толпы народа и смотрѣли на насъ; была тишина, утро яснаго зимняго дня и солнце, только-что взошедшее, большимъ, краснымъ шаромъ блистало на горизонтѣ сквозь туманъ сгущенныхъ облаковъ.

Солнца не видалъ я 8 мѣсяцевъ и представшая глазамъ моимъ чудесная картина зимы и объявшій меня со всѣхъ сторонъ воздухъ произвели на меня опьяняющее дѣйствіе. Я ощущалъ неописанное благосостояніе и нѣсколько секундъ забылъ обо всемъ. Изъ этого забвенія въ созерцаніи природы выведенъ я былъ прикосновеніемъ посторонней руки: кто-то взялъ меня безцеремонно за локоть, съ желаніемъ подвинуть впередъ, и, указавъ направленіе, сказалъ мнѣ: «Вонъ туда ступайте!» Я подвинулся впередъ, меня сопровождалъ солдатъ, сидѣвшій со мною въ каретѣ. При этомъ я увидѣлъ, что стою въ глубокомъ снѣгу, утонувъ въ него всею ступнею; я почувствовалъ, что меня обнимаетъ холодъ. Мы были взяты 22 апрѣля въ весеннихъ платьяхъ и такъ въ нихъ и вывезены 22 декабря на площадь.

Направившись впередъ по снѣгу, я увидѣлъ налѣво отъ себя, среди площади, воздвигнутую постройку — подмостки, помнится, квадратной формы, величиною въ 3—4 сажени, со входною лѣстницею, и все обтянуто было чернымъ трауромъ — нашъ эшафотъ. Тутъ же увидѣлъ я кучку товарищей, столпившихся вмѣстѣ и протягивающихъ другъ другу руки и привѣтствующихъ одинъ другого послѣ столь насильственной злополучной разлуки. Когда я взглянулъ на лица ихъ, то былъ пораженъ страшною перемѣной; тамъ стояли: Петрашевскій, Львовъ, Филипповъ, Спѣшневъ и нѣкоторые другіе. Лица ихъ были худыя, замученныя, блѣдныя, вытянутыя, у нѣкоторыхъ обросшія бородой и волосами. Особенно поразило меня лицо Спѣшнева: онъ отличался отъ всѣхъ замѣчательною красотою, силою и цвѣтушимъ здоровьемъ. Исчезли красота и цвѣтушій видъ; лицо его изъ округленнаго сдѣлалось продолговатымъ; оно было болѣзненно, желтоблѣдно, щеки похудалыя, глаза какъ бы ввалились и подъ ними большая синева; длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо.

Петрашевскій, тоже сильно измѣнившійся, стоялъ нахмурившись,—онъ былъ обросшій большой шевелюрою и густою, слившеюся съ бакенбардами, бородою: «должно быть, всѣмъ было одинаково хорошо»,—думалъ я. Всѣ эти впечатлѣнія были минутныя; кареты все еще подѣзжали и оттуда одинъ за другимъ выходили заключенные въ крѣпости. Вотъ Плещеевъ, Ханыковъ, Кашкинъ, Европеусъ... все исхудалые, замученные, а вотъ и милый мой Ипполитъ Дебу,—увидѣвъ меня, бросился ко мнѣ въ объятія: «Ахшарумовъ! и ты здѣсь!»—Мы же всегда вмѣстѣ!—отвѣтилъ я. Мы обнялись съ особеннымъ чувствомъ кратковременнаго свиданія передъ неизвѣстной разлукой. Вдругъ всѣ наши привѣтствія и разговоры прерваны были громкимъ голосомъ подѣхавшаго къ намъ на лошади генерала, какъ видно, распоряжавшагося всѣмъ, увѣковѣчившаго себя въ памяти всѣхъ насъ... слѣдующими словами:

«Теперь нечего прощаться! Становите ихъ»,—закричалъ онъ. Онъ не понималъ, что мы были только подъ впечатлѣніемъ свиданія и еще не успѣли помыслить о предстоящей намъ смертной казни; многіе же изъ насъ были связаны искреннею дружбою, нѣкоторые родствомъ—какъ двое братьевъ Дебу. Вслѣдъ за его громкимъ крикомъ явился передъ нами какой-то чиновникъ со спискомъ въ рукахъ и, читая, сталъ вызывать насъ, каждого по фамиліи:

Первымъ поставленъ былъ Петрашевскій, за нимъ Спѣшневъ, потомъ Момбели и затѣмъ шли всѣ остальные—всѣхъ насъ было 23 человѣка (я поставленъ былъ по ряду восьмымъ). Послѣ того подошелъ священникъ съ крестомъ въ рукѣ и, ставъ передъ нами, сказалъ: «Сегодня вы услышите справедливое рѣшеніе вашего дѣла,—послѣдуйте за мною!» Насъ повели на эшафотъ, но не прямо на него, а обходомъ, вдоль рядовъ войскъ, сомкнутыхъ въ каре. Такой обходъ, какъ я узналъ послѣ, назначенъ былъ для назиданія войска, и именно Московскаго полка, такъ какъ между нами были офицеры, служившіе въ этомъ полку—Момбели, Львовъ... Священникъ, съ крестомъ въ рукѣ, выступалъ впереди, за нимъ мы всѣ шли одинъ за другимъ по глубокому снѣгу. Въ каре стояли, казалось мнѣ, нѣсколько

полковъ, потому обходъ нашъ по всѣмъ 4 рядамъ его былъ довольно продолжительный. Передо мною шагаль высокій ростомъ Павелъ Николаевичъ Филипповъ, впоследствии умершій отъ раны, полученной имъ при штурмѣ Карса въ 1854 году, сзади меня шелъ Константинъ Дебу. Послѣдними въ этой процессіи были: Кашкинъ, Европеусъ и Пальмъ. Намъ интересовало всѣхъ, что будетъ съ нами далѣе. Вскорѣ вниманіе наше обратилось на сѣрые столбы, врытые съ одной стороны эшафота; ихъ было, сколько мнѣ помнится, много... Мы шли переговариваясь: Что съ нами будутъ дѣлать?—Для чего ведутъ насъ по снѣгу?—Для чего столбы у эшафота? Привязывать будутъ, военный судъ,—казнь разстрѣляніемъ. Неизвѣстно, что будетъ,—вѣроятно, всѣхъ на каторгу»...

Такого рода мнѣнія высказывались громко, то спереди, то сзади отъ меня, и мы медленно пробирались по снѣжному пути и подошли къ эшафоту. Войдя на него, мы столпились всѣ вмѣстѣ и опять обмѣнялись нѣсколькими словами. Съ нами вмѣстѣ взошли и насъ сопровождавшіе солдаты и размѣстились за нами. Затѣмъ распоряжались офицеръ и чиновникъ со спискомъ въ рукахъ. Начались вновь выкликиваніе и разстановка, причемъ порядокъ былъ нѣсколько измѣненъ. Намъ поставили двумя рядами перпендикулярно къ городскому валу. Одинъ рядъ, меньшій, начинавшійся Петрашевскимъ, былъ поставленъ съ лѣваго фаса эшафота, тамъ были: Петрашевскій, Спѣшневъ, Момбели, Львовъ, Дуровъ, Григорьевъ, Толь, Ястржемскій, Достоевскій...

Другой рядъ начинался кѣмъ не помню, но вторымъ стоялъ Филипповъ, потомъ я, подлѣ меня Дебу старшій, за нимъ его братъ Ипполитъ, затѣмъ Плещеевъ, Тимковскій, Ханыковъ, Головинскій, Кашкинъ, Европеусъ и Пальмъ. Всѣхъ насъ было 23 человекъ, но я не могу вспомнить остальныхъ... Когда мы были уже разставлены въ означенномъ порядкѣ, войскамъ командовано было «на кара-улъ», и этотъ ружейный пріемъ, исполненный одновременно нѣсколькими полками, раздался по всей площади свойственнымъ ему ударнымъ звукомъ. Затѣмъ командовано было **намъ**:

«шапки долой!»—но мы къ этому не были подготовлены и почти никто не исполнилъ команды, тогда повторено было нѣсколько разъ: «снять шапки, будутъ конфирмацію читать» и съ запоздавшихъ приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату. Намъ всѣмъ было холодно и шапки на насъ были хотя и весеннія, но все же закрывали голову. Послѣ того, чиновникъ въ мундирѣ сталъ читать изложеніе вины каждого въ отдѣльности, становясь противъ каждого изъ насъ. Всего невозможно было уловить, что читалось,—читалось скоро и невнятно, да и притомъ же мы всѣ содрогались отъ холода. Когда дошла очередь до меня, то слова, произнесенныя мною въ память Фурье «о разрушеніи всѣхъ столицъ и городовъ», занимали видное мѣсто въ винѣ моей.

Чтеніе это продолжалось добрыхъ полчаса, мы всѣ страшно зябли. Я надѣлъ шапку и завертывался въ холодную шинель, но вскорѣ это было замѣчено и шапка съ меня была слернута рукою стоявшаго за мною солдата. По изложеніи вины каждого, конфирмація оканчивалась словами: «Полевой уголовный судъ приговорилъ всѣхъ къ смертной казни—разстрѣляніемъ, и 19-го сего декабря Государь Императоръ собственноручно написалъ:—«Быть по сему».

Мы всѣ стояли въ изумленіи; чиновникъ сошелъ съ эшафота. Затѣмъ намъ поданы были бѣлые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшіе сзади насъ, одѣвали насъ въ предсмертное одѣяніе. Когда мы всѣ уже были въ саванахъ, кто-то сказалъ: «Какovy мы въ этихъ одѣяніяхъ!».

Взошелъ на эшафотъ священникъ,—тотъ же самый, который насъ велъ,—съ евангеліемъ и крестомъ и за нимъ принесенъ и поставленъ былъ аналой. Помѣстившись между нами на противоположномъ входу концѣ, онъ обратился къ намъ съ слѣдующими словами: «Братья! Предъ смертію надо покаяться... Кающемся Спаситель прощаетъ грѣхи... Я призываю васъ къ исповѣди»...

Никто изъ насъ не отозвался на призывъ священника,—мы стояли молча, священникъ смотрѣлъ на всѣхъ насъ и повторно призывалъ насъ къ исповѣди. Тогда,

одинъ изъ насъ—Тимковскій—подошелъ къ нему и, пошептавшись съ нимъ, поцѣловалъ евангеліе и возвратился на свое мѣсто. Священникъ, посмотрѣвъ еще на насъ и видя, что болѣе никто не обнаруживаетъ желанія исповѣдаться, подошелъ къ Петрашевскому съ крестомъ и обратился къ нему съ увѣщаніемъ, на что Петрашевскій отвѣтилъ ему нѣсколькими словами. Что было сказано имъ осталось неизвѣстнымъ: слова Петрашевскаго слышали только священникъ и весьма немногіе, близъ его стоявшіе, а даже, можетъ быть, только одинъ сосѣдъ его Спѣшневъ. Священникъ ничего не отвѣтилъ, но поднесъ къ устамъ его крестъ и Петравшевскій поцѣловалъ крестъ. Послѣ того онъ, молча, обошелъ съ крестомъ всѣхъ насъ и всѣ приложились къ кресту. Затѣмъ священникъ, окончивъ дѣло это, стоялъ среди насъ какъ бы въ раздумьи. Тогда раздался голосъ генерала, сидѣвшаго на конѣ возлѣ эшафота: «Батюшка! Вы исполнили все, вамъ больше здѣсь нечего дѣлать!»...

Священникъ ушелъ и сейчасъ же вошли нѣсколько человѣкъ солдатъ къ Петрашевскому, Спѣшневу и Момбели, взяли ихъ за руки и свели съ эшафота, они подвели ихъ къ сѣрымъ столбамъ и стали привязывать каждого къ отдѣльному столбу веревками. Разговоръ при этомъ не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивленія. Имъ затянули руки позади столбовъ и затѣмъ обвязали веревки поясомъ. Потомъ отдано было приказаніе: «колпаки надвинуть на глаза», послѣ чего колпаки опущены были на лица привязанныхъ товарищей нашихъ. Раздалась команда: «Клацъ» и вслѣдъ затѣмъ группа солдатъ—ихъ было человѣкъ 16,—стоявшихъ у самаго эшафота, по командѣ направила ружья къ прицѣлу на Петрашевскаго, Спѣшнева и Момбели. Моментъ этотъ былъ по истинѣ ужасенъ. Видѣть приготовленіе къ разстрѣлянью, и при томъ людей близкихъ по товарищескимъ отношеніямъ, видѣть уже наставленные на нихъ, почти въ упоръ, ружейные стволы и ожидать—вотъ прольется кровь и они упадутъ мертвые, было ужасно, отвратительно, страшно. Сердце замерло въ ожиданіи и страшный моментъ этотъ

продолжался съ полминуты. При этомъ не было мысли о томъ, что и мнѣ предстоитъ то же самое, но все вниманіе было поглощено наступающею кровавою картиною. Возмущенное состояніе мое возрасло еще болѣе, когда я услышалъ барабанный бой, значеніе котораго я тогда еще, какъ неслужившій въ военной службѣ, не понималъ. «Вотъ конецъ всему!»... Но вслѣдъ затѣмъ, увидѣлъ я, что ружья, прицѣленные, вдругъ всѣ были подняты стволами вверхъ. Отъ сердца отлегло сразу, какъ бы свалился тѣсно сдавившій его камень! Затѣмъ стали отвязывать привязанныхъ Петрашевскаго, Спѣшневъ и Момбели и привели снова на прежнія мѣста ихъ на эшафотъ. Приѣхалъ какой-то экипажъ—оттуда вышелъ офицеръ — флигель-адъютантъ — и привезъ какую-то бумагу, поданную немедленно къ прочтенію. Въ ней возвѣщалось намъ дарованіе Государемъ Императоромъ жизни и, взамѣнъ смертной казни, каждому, по виновности, особое наказаніе.

Конфирмація эта была напечатана въ одномъ изъ декабрьскихъ номеровъ «Русскаго Инвалида» 1849 года, вѣроятно, въ слѣдующій день 23-го декабря,—потому распространяться объ этомъ считаю лишнимъ, но упомяну вкратцѣ. Сколько мнѣ помнится, Петрашевскій ссылался въ каторжную работу на всю жизнь, Спѣшневъ—на 20 лѣтъ, и затѣмъ слѣдовали градаціи въ нисходящемъ, по степени виновности, порядкѣ. Я былъ присужденъ къ ссылкѣ въ арестантскія роты военного вѣдомства на 4 года, а по отбытіи срока рядовымъ въ Кавказскій отдѣльный корпусъ. Братья Дебу ссылались тоже въ арестантскія роты, а по отбытіи срока въ военно-рабочія роты. Кашкинъ и Европеусъ назначались прямо рядовыми въ Кавказскій корпусъ, а Пальмъ переводился тѣмъ же чиномъ въ армію. По окончаніи чтенія этой бумаги съ насъ сняли саваны и колпаки.

Затѣмъ взошли на эшафотъ какіе-то люди, вроде палачей, одѣтые въ старые цвѣтные кафтаны,—ихъ было двое,—и, ставъ позади ряда, начинавшагося Петрашевскимъ, ломали шпаги надъ головами поставленныхъ на колѣни ссылаемыхъ въ Сибирь, каковое дѣйствіе, совершенно безразличное для всѣхъ, только поддерживало насъ, и такъ уже продрогшихъ, лишнія $\frac{1}{4}$ часа

на морозѣ. После этого намъ дали кандалы и черную шапку. Обиженные, презрѣныя, худыя и такія же сапоги. Трудно было намъ идти въ кандалахъ, а сапоги велѣно было снимать и держать въ рукахъ.

Послѣ всего этого, на эшафетѣ эшафоты привели кандалы и, бросивъ эту тяжелую массу нагнѣвъ на досчатый полъ эшафоты, взяли Петрашевскаго и ввели его на середину. Двое повалили его, валили на ноги его желѣзныя кольца и стали молоткомъ закладывать гвозди. Петрашевскій началъ стоять спокойно, а потомъ выхватилъ тяжелый молотокъ у одного изъ нихъ и, сѣвъ на полъ, сталъ зарываться имъ на себѣ кандалы. Что побуждало его нажимать самому на себя руки, что хотѣлъ онъ выразить тѣмъ—трудно сказать, но мы были все въ болѣзненномъ настроеніи или экзальтаціи.

Между тѣмъ, подъѣхала къ эшафоту кибитка, запряженная курьерской тройкой, съ фельдъегеремъ и жандармомъ, и Петрашевскому было предложено сѣсть въ нее, но онъ, посмотрѣвъ на поданный экипажъ, сказалъ: «я еще не окончилъ всѣ дѣла!»

— Какія у васъ еще дѣла?—спросилъ его, какъ бы съ удивленіемъ, генераль, подъѣхавшій къ самому эшафоту.

«Я хочу проститься съ моими товарищами!»—отвѣчалъ Петрашевскій.

— Это вы можете сдѣлать—послѣдовать великодушный отвѣтъ. (Можно полагать, что и у него сердце было не каменное и онъ по своему разумѣнію исполнялъ выпавшую на его долю трудную служебную обязанность, но подъ конецъ уже и его сердцу было нелегко).

Петрашевскій въ первый разъ ступилъ въ кандалахъ; съ непривычки ноги его едва передвигались. Онъ подошелъ къ Спѣшневу, сказалъ ему нѣсколько словъ и обнялъ его, потомъ подошелъ къ Момбели и также простился съ нимъ, поцѣловавъ и сказавъ что-то. Онъ подходилъ по порядку, какъ мы стояли, къ каждому изъ насъ и каждого поцѣловалъ, молча или сказавъ что-нибудь на прощаніе. Подойдя ко мнѣ, онъ, обнимая

меня, сказалъ: «прощайте, Ахшарумовъ, болѣе уже мы не увидимся!» На что я отвѣтилъ ему со слезами: а можетъ быть и увидимся еще! Только на эшафотѣ впервые полюбилъ я его!

Простившись со всѣми, онъ поклонился еще разъ всѣмъ намъ и, сойдя съ эшафота, съ трудомъ передвигая непривычныя еще къ кандаламъ ноги, съ помощью жандарма и солдата, сошелъ съ лѣстницы и сѣлъ въ кибитку; съ нимъ рядомъ помѣстился фельдъегерь и вмѣстѣ съ ямщикомъ жандармъ съ саблею и пистолетомъ у пояса; тройка сильныхъ лошадей повернула шагомъ и затѣмъ, выбравшись медленно изъ кружка столпившихся людей и за ними стоявшихъ экипажей и повернувъ на Московскую дорогу, исчезла изъ нашихъ глазъ.

Слова его сбылись,—мы не увидѣлись болѣе; я еще живу, но его доля была жесточе моей и его ужъ нѣтъ на свѣтѣ!

Онъ умеръ скоропостижно отъ болѣзни сердца, 7 декабря 1868 года, въ городѣ Минусинскѣ, Енисейской губерніи, и похороны его были 4-го января 1869 г.

Въ 1882 году на могилѣ его поставленъ временно деревянный крестъ, проживавшимъ съ нимъ вмѣстѣ въ Бѣльскомъ г. Никитою Всеволожскимъ. Замѣтка о смерти его и о послѣднемъ году его тяжелой ссылки въ Минусинскомъ округѣ напечатана въ «Русской Старинѣ» 1889, май, за подписью М. Маркса, и оканчивается словами:

«Gravis fuit vita, laevis sit ei terra!»—(«Тяжела была жизнь его, пусть будетъ легка ему земля!»).

Пораженные всѣмъ, что происходило на нашихъ глазахъ, по отъѣздѣ Петрашевскаго, стояли мы еще на своихъ мѣстахъ, закутавшись въ шубы, отдававшія противнымъ запахомъ. Дѣло было кончено. Двое или трое изъ начальствующихъ лицъ взошли на эшафотъ и возвѣстили намъ, повидимому, съ участіемъ, о томъ, что мы не уѣдемъ прямо съ площади, но еще прежде отъѣзда возвратимся на свои мѣста въ крѣпость и, вѣроятно, позволятъ намъ проститься съ родными. Тогда мы всѣ перемѣшались и стали говорить одинъ съ другимъ...

Впечатлѣніе, произведенное на насъ всѣмъ пережитымъ нами въ эти часы совершенія обряда смертной казни, и затѣмъ объявленія замѣняющихъ ее различныхъ ссылокъ, было столь же разнообразно, какъ и характеры наши. Старшій Дебу, стоялъ въ глубокомъ уныніи и ни съ кѣмъ не говорилъ; Ипполитъ Дебу, когда я подошелъ къ нему, сказалъ: «лучше бы ужъ разстрѣляли!»

Что касается до меня, то я чувствовалъ себя вполне удовлетвореннымъ, какъ тѣмъ, что просьба моя о прощеніи, меня столь послѣ мучившая, не была уважена, такъ и тѣмъ, что я выпущенъ, наконецъ, изъ одиночнаго заключенія, жалѣлъ только, что назначенъ былъ въ арестантскія роты куда-то неизвѣстно, а не въ далекую Сибирь, куда интересовало меня дальнее весьма любопытное путешествіе. Сожалѣніе мое оправдалось впоследствии горькою дѣйствительностью: сосланнымъ въ Сибирь въ общество государственныхъ преступниковъ, въ страну, гдѣ уже привыкли къ обращенію съ ними, было гораздо лучше, чѣмъ попавшимъ въ грубыя невѣжественныя арестантскія роты, въ общество воровъ и убійцъ, и при начальствѣ, всего боящемся.

Я былъ все-таки счастливъ тѣмъ, что тюрьма миновала, что я сосланъ въ работы и буду жить не одинъ, а въ обществѣ какихъ бы то ни было, но людей, загнанныхъ, несчастныхъ, къ которымъ я подходилъ по моему расположенію духа.

Другіе товарищи на эшафотѣ выражали тоже свои взгляды, но ни у кого не было слезы на глазахъ, кромѣ одного изъ насъ, стоявшаго послѣднимъ по виновности, избавленнаго отъ всякаго наказанія, — я говорю о Пальмѣ. Онъ стоялъ у самой лѣстницы, смотрѣлъ на всѣхъ насъ и слезы, обильныя слезы текли изъ глазъ его; приближавшимся же къ нему, сходящимъ товарищамъ, онъ говорилъ: «Да хранить васъ Богъ!».

Стали подъѣзжать кареты и мы, ошеломленные всѣмъ происшедшимъ, не прощаясь одинъ съ другимъ, сажались и уѣзжали по одному. Въ это время одинъ изъ насъ, стоя у схода съ эшафота въ ожиданіи экипажа, закричалъ: «Попадай карету!» — Дождавшись

своего экипажа, я сѣлъ въ него. Стекла были заперты, конные жандармы съ обнаженными саблями точно такъ же окружали нашъ быстрый возвратный поѣздъ, въ которомъ не доставало одной кареты — Михаила Васильевича Петрашевскаго!

Этимъ я оканчиваю описаніе первой части моихъ воспоминаній. Сегодня и день памятный для меня — день кончины жены моей, незабвеннаго сотрудника и друга болѣе позднихъ, счастливыхъ годовъ моей жизни. Съ трудомъ, съ великимъ трудомъ началъ я разсказъ этотъ. Принявшись за него четырнадцать лѣтъ тому назадъ, я отложилъ его, въ самомъ началѣ, какъ читатель уже знаетъ, до болѣе благопріятнаго времени, но забота жизни не переставала меня одолѣвать и я никогда не принялся бы вновь за мои воспоминанія, еслибъ, уже въ самые поздніе года моей жизни, случай не сблизилъ меня съ двумя новыми людьми, ставшими скоро затѣмъ моими лучшими друзьями — Владиміромъ Викторовичемъ и Лидіей Парменовною Лесевичами. Они своими бесѣдами оживили меня, въ одиночествѣ павшаго духомъ, заинтересовали вновь жизнью, давно минувшею, и пробудили во мнѣ охоту и желаніе приняться вновь за покинутый уже окончательно трудъ. И вотъ я принялся вновь какъ бы за археологическую раскопку въ замерзшей почвѣ глубоко лежавшаго клада и долбилъ обледенѣвшую землю, пока не дошелъ до него. Тогда пришлось вынимать его по частямъ. Такимъ образомъ, явился этотъ разсказъ — о дняхъ давно минувшихъ, памятныхъ всѣмъ намъ, участникамъ дѣла, но мало кому извѣстныхъ. Я писалъ его урывками, при множествѣ дѣлъ, меня утомлявшихъ. Перелистывая написанное, я нахожу въ немъ многое недосказаннымъ и невыраженнымъ съ желаемой ясностью, но все написанное есть истина, и къ ней не прибавлено ни одного лишняго слова.

Воспоминанія описаннаго минувшаго лежали у меня на душѣ, и я теперъ исполнилъ мое давнее желаніе.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

(2 апрѣля 1891 г.).

Рукопись эта составляетъ продолженіе моихъ воспоминаній 1849 г., которыя написаны мною шесть лѣтъ тому назадъ и, вѣроятно, будутъ напечатаны уже какъ мои посмертныя записки. Какъ тогда, принимаясь за описаніе давно минувшаго, я чувствовалъ себя безсильнымъ къ исполненію задуманнаго труда и съ неувѣренностью приступалъ къ начинанію его, много разъ бросая, уничтожая написанное и послѣ нѣкотораго времени вновь принимаясь за него,—такъ и теперь, приступая къ изложенію послѣдующихъ, но совершенно иныхъ отъ описанныхъ уже событій въ моей жизни, я нахожусь въ такомъ же затрудненіи и замѣшательствѣ: сухое изложеніе фактовъ никогда не привлекало меня, а полное описаніе пережитыхъ впечатлѣній, съ живыми образами, требуетъ особаго настроенія, забвенія всего затѣмъ послѣдовавшаго и настоящаго, столь поглощающаго живыя силы, и перенесенія себя въ иной, давно исчезнувшій міръ совсѣмъ особыхъ впечатлѣній. Закрывъ глаза и оглохнувъ ко всему окружающему, только и возможно прозрѣть давно минувшее и въ яркихъ цвѣтахъ возстановить поблекшіе, чуть замѣтные образы, занесенные пылью и пепломъ сгорѣвшихъ, прожитыхъ четырехъ десятковъ лѣтъ. Они лежатъ какъ бы зарытые глубоко въ землѣ, захлопнутые тяжелою, едва ли приподнимаемою моею слабою рукою крышкою гроба, запечатаннаго навѣки...

Давно это было, очень давно!

I.

Нашъ утренній, возвратный поѣздъ, сопровождаемый вооруженнымъ конвоемъ, вѣхалъ во дворъ Петropавловской крѣпости. Былъ уже часъ десятый дня.

Карета, въ которой я сидѣлъ съ солдатомъ, остановилась, и, по открытіи дверцы, я увидѣлъ подъѣздъ знакомой мнѣ тюрьмы. Какъ бы встрѣчая насъ, стоялъ у самой дверцы кареты знакомый мнѣ крѣпостной офицеръ—тотъ самый рыжій, всегда кашлявшій, описанный мною въ первой части моихъ записокъ, но въ этотъ разъ онъ былъ не похожъ на себя: лицо его было покраснѣвшее, заплаканное, и слезы текли изъ глазъ. Увидѣвъ его такимъ, я спросилъ:

«Вы плачете!.. О чемъ же это?»..

— Объ васъ,—отвѣчалъ онъ взволнованнымъ голосомъ,—что сдѣлали съ вами!..—Онъ, казалось, совсѣмъ забылъ и крѣпость, и свои обязанности и едва говорилъ. Этотъ человѣкъ, казавшійся мнѣ безчувственнымъ, произвелъ на меня неизгладимое впечатлѣніе...

Я вошелъ на подъѣздъ и былъ отведенъ въ свою прежнюю келью и запертъ въ ней. На мнѣ былъ мерзвѣйшій тулупъ. Сбросивъ его, я остался въ своемъ платьѣ. Вскорѣ потомъ обходилъ насъ, въ сопровожденіи дежурнаго офицера, докторъ, освѣдомляясь у каждаго о здоровьѣ,—забота крѣпостного начальства о нашемъ состояніи послѣ произнесеннаго надъ нами приговора съ обрядомъ смертной казни...

Спрошенный о здоровьѣ, я отвѣчалъ, что здоровъ. Три или четыре дня прожилъ я еще въ крѣпости. Черезъ нѣсколько минутъ пребыванія моего въ запертой теплой комнатѣ, я почувствовалъ удушливый запахъ грязной отвратительной шубы, пожалованной мнѣ на дорогу. Запахъ этотъ былъ мнѣ невыносимъ—и при первомъ же отвореніи двери для подачи пищи, я просилъ дежурнаго офицера принять отъ меня куда-либо эту вонючую шубу, пока она не понадобится для дороги. Но куда ссылаютъ меня, мнѣ не было еще извѣстно, и я не могъ этого узнать отъ входившихъ ко мнѣ по службѣ офицеровъ. Какое-то спокойствіе вдругъ водворилось въ душѣ,—все исполнилось по моему желанію: главныя опасенія—быть прощеннымъ или быть снова одиночно заключеннымъ снялись съ моихъ плечъ. Во весь этотъ день мысли мои часто возвращались къ вопросу, увижу ли я, прежде отъ-

ѣзда, моихъ братьевъ и тетушку. Вечеромъ поздно было хожденіе по корридору въ неурочный часъ, и изъ нѣсколькихъ келій выводимы были по одиночкѣ заключенные товарищи. Я смотрѣлъ въ фортку и видѣлъ впотьмахъ подѣзжавшія къ крыльцу кибитки и затѣмъ сейчасъ же уѣзжавшія; ихъ было немного въ эту ночь; слышались отчасти и голоса.

Я легъ поздно въ постель и при засыпаніи два вопроса смѣнялись во мнѣ: куда меня повезутъ, будетъ ли дозволено свиданье съ родными?

Я ссылался куда-то, въ какія-то арестантскія роты,— слѣдовательно, я выйду изъ этой проклятой одиночной тюрьмы и буду все же жить съ людьми—съ арестантами. По моему образу мыслей я считалъ ихъ жертвами нашего общественнаго строя, не считалъ ихъ дурными и говорилъ себѣ: я буду не одинъ, но съ людьми, можетъ быть, ничуть не худшими тѣхъ, которые окружали меня въ минувшей моей жизни, даже я чувствовалъ къ нимъ какое-то влеченіе, какъ къ людямъ страждущимъ, несчастнымъ, загнаннымъ судьбою и во многомъ подходящимъ къ моему душевному состоянію; я желалъ ихъ увидѣть скорѣе и размышлялъ о моемъ сближеніи съ ними. Веселая, смѣющаяся компанія, по совершившемся со мной, была уже мнѣ не по душѣ, тогда какъ сообщество людей, душевно отягченныхъ, привлекало меня. И чѣмъ болѣе думалъ я объ этомъ, тѣмъ болѣе отдыхалъ ото всѣхъ тягостныхъ мыслей, столь долго меня отягчавшихъ, и въ думахъ объ этомъ я заснулъ спокойно послѣ впечатлѣній дня...

Утромъ, проснувшись, я былъ пріятно пораженъ моимъ новымъ положеніемъ: да, вчерашній день внесъ въ жизнь мою спокойствіе и совершенно новые элементы размышленія. Онъ разрѣшилъ столь долго мучившіе меня грозные вопросы, именно такъ, какъ я желалъ, и я чувствовалъ себя какъ бы счастливымъ.

Утромъ этого дня было необычное хожденіе въ корридоръ, и ко мнѣ вошелъ дежурный офицеръ и принесть мнѣ распечатанный уже конвертъ. Тамъ были письма всѣхъ моихъ братьевъ, сестры и тетушки, и я съ жаромъ накинута читать ихъ. Въ письмахъ этихъ,

въ словахъ самыхъ задушевныхъ, выражалась скорбь за меня, и горячее желаніе и надежда возвращенія моего въ прежнюю жизнь. Я читалъ ихъ съ особеннымъ чувствомъ любви и дружбы... и плакалъ, читая. Въ особенности растрогала меня какъ бы пламенная, со слезами обращенная ко мнѣ рѣчь брата Николая, которою онъ напутствовалъ меня, утѣшая, ободряя и обѣщая всюду найти меня, куда бы ни завезла меня курьерская тройка. Письма эти хранились у меня всю послѣдующую жизнь, и на нихъ была надпись моею рукою: «письма, самая дорогія для меня». Они хранились у первой жены моей. По смерти ея въ 1882 году, находясь въ особомъ настроеніи, при глубокомъ упадкѣ духа, я рѣшился сжечь многія дорогія мнѣ письменныя воспоминанія, какъ никому ненужныя, меня же только всегда волновавшія до слезъ. И эти письма, вмѣстѣ съ прочими моими драгоценностями, были похоронены кремаціей, и пепель ихъ хранится въ моемъ сердцѣ, какъ святыня.

Не помню, какъ провелъ я этотъ день, но вечеромъ, поздно, возобновились вновь хожденія по корридору и было отправленіе новой группы ссылаемыхъ товарищей. Подъѣзжали вновь къ крыльцу санныя кибитки, скользившія по снѣгу полозьями, и слышались вновь голоса, къ которымъ я прислушивался, стоя у открытой фортки. «Неужели уѣзжаютъ они, не простившись одинъ съ другимъ, неужели никто не зайдетъ ко мнѣ проститься?»

Между голосами у подъѣзда услышалъ я и мнѣ хорошо знакомый голосъ Ипполита Дебу. Имъ сказано было кому-то: «прощайте». Удивленный, огорченный такимъ съ его стороны забвеніемъ, я закричалъ ему: «Ипполитъ! ты уѣзжаешь, не простившись со мною?» Отвѣта не было, полозья заскрипѣли, и кибитки двинулись. Я сошелъ съ окна. Много огорченій и обидъ перенесено было мною въ минувшіе мѣсяцы, но все это было наносимо мнѣ людьми чужими, которыхъ я до того и не зналъ вовсе, а въ этотъ разъ я былъ глубоко оскорбленъ забвеніемъ моего лучшаго, столь любимого мною друга. Да что же это, развѣ онъ съ ума сошелъ?.. Несчастный! По-

терялъ разсудокъ! «Не зайти ко мнѣ, чтобы проститься, можетъ быть, навсегда!..»

Я подошелъ къ двери, сталъ стучать изъ всей мочи, чтобы освѣдомиться, кто уѣхалъ. Когда поднялась тряпка и я увидѣлъ безсмысленную рожу сторожа,— я понялъ тогда, что вопросы мои о личности уѣхавшаго будутъ напрасны, и я отошелъ вновь отъ двери, не сказавъ ничего... Такъ кончился этотъ день.

На другой день, утромъ, мнѣ принесено было платье и возвышено о дозволеніи свиданія съ родными, которые уже пришли и ждутъ меня. Я поспѣшно одѣлся и спѣшилъ къ нимъ съ горячимъ чувствомъ увидѣть и обнять ихъ. Въ томъ самомъ бѣломъ домѣ, куда водимъ я былъ на допросы, въ одной изъ комнатъ, увидѣлъ я у стола сидѣвшими всѣхъ моихъ братьевъ (ихъ было четверо), сестру и старушку тетюшку... и, крѣпко прижавъ къ груди, обнималъ я ихъ!.. Офицеръ, сопровождавшій меня, удалился, оставивъ насъ,—по крайней мѣрѣ, его присутствіе, въ ближней, вѣроятно, комнатѣ, не было ощущаемо никѣмъ изъ насъ и мы говорили, не стѣняясь. Я жилъ съ ними неразлучно всю жизнь, и восемь мѣсяцевъ разлуки съ ними, независимо отъ тюремнаго заключенія, казались мнѣ безконечными. Взаимнымъ разпросамъ не было конца, и много домашнихъ новостей узналъ я отъ нихъ,—но, наконецъ, спохватился спросить: «Да куда же меня ссылаютъ?»—не знаютъ ли они? Имъ это было извѣстно, и я получилъ отвѣтъ: «Въ Херсонъ». Новость эта меня очень обрадовала: къ берегамъ Чернаго моря! Это хорошо; я очень интересовался югомъ Россіи, никогда еще мною невиданнымъ. Присутствіе при свиданіи моей сестры Любови Димитріевны, которую я вовсе не надѣялся видѣть, такъ какъ она жила въ Ковно, придало свиданію нашему еще большую полноту и сердечное довольство. Ихъ лица казались мнѣ необыкновенно милыми, драгоценными, и, вглядываясь въ нихъ, я отдыхалъ взоромъ отъ чужихъ, безучастно окружавшихъ меня лицъ, но съ горестнымъ чувствомъ о томъ, что я потеряю ихъ вновь, на неизвѣстное, быть можетъ, весьма долгое время, быть можетъ, навсегда!.. Да, этотъ часъ, проведенный мною съ ними (кажется, 24 декабря 1849 г.),

живо сохраняется въ памяти моей и составляетъ едва ли не самое драгоцѣнное воспоминаніе изъ всей моей жизни! Радость такого свиданія можетъ измѣрить сердцемъ, почувствовать только тотъ, кто вытерпѣлъ долгую мучительную разлуку съ людьми, горячо любимыми, разлуку, отягчаемую ежеминутно безнадежностью свиданія!.. Но часъ этотъ скоро прошелъ, и офицеръ, провожавшій меня, какъ вѣстникъ судьбы, пришелъ меня разлучить, можетъ быть, навсегда съ людьми мнѣ милыми. Такъ пишу я, а между тѣмъ это былъ,—я помню хорошо,—тотъ самый добрый офицеръ, который плакалъ объ насъ. Казнить смертью онъ не былъ бы въ состояніи, хотя бы это было поставлено ему въ обязанность службы — въ этомъ я вполне увѣренъ, но придти и объявить мнѣ: «время уже вамъ пожаловать обратно въ тюрьму, тамъ я васъ запру на ключъ, да и все тутъ», это для него было ничего не значущимъ дѣломъ, и никто не можетъ его обвинить въ томъ, что онъ занимаетъ должность крѣпостного офицера, пока существуютъ, для порядка людскихъ дѣлъ, крѣпости. Нечего было дѣлать—надо было уходить; обнявъ крѣпко моихъ милыхъ друзей, я простился съ ними и, уходя, со слезами на глазахъ, обернулся еще разъ взглянуть на нихъ и затѣмъ, выйдя на дворъ, еще разъ обернулся посмотреть на окно той комнаты, гдѣ оставилъ ихъ.

Вечеромъ въ этотъ день мнѣ принесены были дорожныя вещи: чемоданъ, шуба, теплая шапка, рукавицы и теплые сапоги. Въ чемоданѣ было старательно уложено мое бѣлье и разныя нужныя для жизни вещицы, чай и сахаръ для дороги и на первое время по прибытіи на мѣсто въ особомъ пакетѣ. Видъ этихъ вещей, столь заботливо приготовленныхъ, погружалъ меня въ глубокую грусть, о разлукѣ, можетъ быть, навсегда съ милыми мнѣ людьми, и я предавался изліяніямъ моихъ чувствъ, говоря заочно то со всѣми вмѣстѣ, то съ каждымъ въ отдѣльности. Мысли мои были съ ними, и я нашелъ возможнымъ написать имъ письмо помимо крѣпостной цензуры, на поляхъ большой книги, тѣмъ же самымъ гвоздемъ, который былъ еще при мнѣ. И я сажусь и пишу, тихо бесѣдную съ ними, и плачу. Окончивъ письмо, я сталъ отбирать

немногія книги, которыя полагалъ взять съ собою, прочія же всѣ сложилъ вмѣстѣ на окно для возвращенія ихъ роднымъ и книгу съ оттискомъ гвоздя положилъ въ середину. Впослѣдствіи уже узналъ я, что это клинообразное письмо мое достигло своего назначенія и было разобрано и воспроизведено чернилами на бумагѣ рукою брата моего Николая. Рукопись эта хранилась у меня съ вышеупомянутыми письмами, какъ дорогое воспоминаніе, и раздѣлила общую съ ними судьбу, о чемъ я теперь очень горю. Это были живые оттиски пережитыхъ въ то время изліяній взаимныхъ мыслей и чувствъ разлучаемыхъ старыхъ друзей. Въ этотъ вечеръ, поздно, уже къ ночи, было вновь хожденіе въ корридоръ, бѣготня съ ключами и отвореніе дверей келій, и выводимы были по одиночкѣ заключенные товарищи. Отправка насъ была въ ночное время, неторопливая, небольшими группами, и, надо полагать, отправители руководились глубоко-мысленнымъ соображеніемъ—именно тѣмъ, что по одной дорогѣ отправляемые не должны были встрѣтиться, а потому вывозимы были сутками раньше или позже. Ночное же время отправки объясняется скрытностью, вообще негласностью дѣйствій правительства.

Мнѣ не было извѣстно, когда, по ихъ расчету, я долженъ былъ быть отправленъ, между тѣмъ, вдругъ, во время хожденія, остановка у моей кельи: открылась дверь, и я увидѣлъ входящаго ко мнѣ Алексѣя Николаевича Плещеева. Онъ былъ одѣтъ въ шубу и съ шапкою въ рукѣ. Его я зналъ давно, какъ товарища по университету; встрѣчи съ нимъ и бесѣды наши въ жизни были недолгія, но многочисленныя, и между нами сохранялись самыя искреннія товарищескія чувства. Его посѣщеніе передъ отъѣздомъ, съ желаніемъ проститься, отозвалось въ сердцѣ моемъ самымъ дружескимъ привѣтствіемъ и сочувствіемъ. Свиданіе было минутное, но сердечное,—мы обнялись, и, когда онъ ушелъ и шумъ шаговъ его замолкъ въ корридорѣ, я заплакалъ и со слезами провожалъ его, стоя у фортки. «Но почему же не зашелъ ко мнѣ Ипполитъ Дебу,—когда можно было проститься?!».

Это огорченіе стало чувствоваться еще живѣе послѣ посѣщенія меня Плешеевымъ.

Впослѣдствіи, уже по истеченіи многихъ лѣтъ, когда увидалъ я вновь Ипполита Дебу и сдѣлалъ ему этотъ упрекъ, онъ отвѣтилъ мнѣ: «Ахъ, другъ мой! да развѣ мы были тогда въ состояніи вмѣняемости. Всѣ мы потеряли голову, я и съ братомъ моимъ не простился,—развѣ ты не помнишь, въ какомъ состояніи мы были?!.—Вѣдь я же тебя не переставалъ любить и теперь люблю, какъ прежде!»...

Такъ разрѣшаются многія загадки въ жизни. Но еще осталась неразрѣшенною другая загадка, касающаяся нашего дѣла: встрѣтившіеся впослѣдствіи въ жизни товарищи, рассказывая о своихъ странствіяхъ, неохотно касались времени заключенія въ крѣпости, какъ бы избѣгая этого, ничего не спрашивали одинъ другого объ этомъ періодѣ времени,—какъ они проживали въ одиночныхъ заключеніяхъ и каковы были ихъ отношенія къ суду. Они, конечно, были столь же различны, какъ и характеры каждаго, смотря по впечатлительности, переносчивости и степени умственной зрѣлости, возрастающей не всегда равномерно съ годами.

Въ первое время, пока всѣ были еще не измучены, по всей вѣроятности, сохранялась бодрость духа и самообладаніе, а послѣ, судя по читанной уже на Семеновскомъ плацу о каждомъ конфирмаціи, этого нельзя было сказать, по крайней мѣрѣ, о большей части подсудимыхъ. Что касается меня, то на моемъ сердцѣ тяжкимъ упрекомъ легло, какъ въ послѣдніе мѣсяцы пребыванія моего въ крѣпости, такъ и во все послѣдующее время,—отреченіе мое отъ своихъ убѣжденій въ надеждѣ на помилованіе (т. е., избавленіе отъ смертной казни), каковое, какъ я узналъ впослѣдствіи, было заявлено почти всѣми, въ различнѣйшихъ выраженіяхъ,—этимъ, можетъ быть, объясняется и неоставленіе никѣмъ изъ насъ какихъ либо мемуаровъ по нашему дѣлу, несмотря на то, что многіе могли бы это исполнить и въ болѣе совершенной формѣ, чѣмъ я теперь стараюсь воспроизвести пережитое мною. Я говорю *«можетъ быть»*, потому что навѣрное этого сказать не могу.

Эти послѣдніе дни пребыванія моего въ крѣпости безпрестанно мысли мои вращались въ соображеніяхъ и догадкахъ о предстоящей мнѣ жизни въ Херсонѣ, и, всегда сожальѣя о несостоявшемся путешествіи въ Сибирь, я утѣшался мыслью, что мѣстомъ ссылки назначена мнѣ не сѣверная, а южная окраина Россіи и городъ, примыкающій, — такъ полагалъ я, — къ Черному морю, которое интересовало меня, какъ любителя природы, и притомъ мною еще невиданной. О Кавказѣ, куда я назначенъ былъ, по минованіи срока пребыванія въ арестантской ротѣ, я почти не помышлялъ, — такъ назначенные четыре года казались мнѣ долгими и неизвѣстно какъ еще переживаемыми.

II.

Наконецъ настала ночь и моего отправленія, и я переступилъ навсегда порогъ запиравшей меня двери и вышелъ изъ стѣнъ душной тюрьмы. Это было, сколько мнѣ помнится, 27 декабря. Я сѣлъ въ стоявшія у крыльца крытыя сани и съ сопровождавшимъ меня крѣпостнымъ конвоемъ подвезенъ былъ черезъ крѣпостную площадь въ знакомый мнѣ бѣлый домъ. Я введенъ былъ не вверхъ, какъ прежде, а въ помещеніе нижняго этажа, въ комнату, полную людьми. Тамъ было все крѣпостное начальство съ комендантомъ, нѣсколько фельдъ-егерей, незнакомыя мнѣ лица, казалось, генералы, и нѣсколько статскихъ, тоже незнакомыхъ мнѣ людей.

За маленькимъ столомъ, къ которому я былъ подведенъ, сидѣлъ чиновникъ и записывалъ что-то. Намъ сдавали фельдъ-егерямъ; они получали инструкціи и запечатанные конверты. Въ это время подошелъ ко мнѣ одинъ изъ статскихъ и, привѣтствуя меня, называлъ по фамиліи. Взглянувъ на него, я увидѣлъ лицо, мнѣ знакомое, бывавшее на собраніяхъ Петрашевскаго, но фамиліи его не могъ вспомнить; тогда онъ сказалъ мнѣ: «я Щелковъ». Этимъ именемъ онъ мнѣ сказалъ

все, возбудивъ во мнѣ рядъ воспоминаній: это былъ мой сосѣдъ по тюремной кельѣ, въ рavelинѣ перваго моего помѣщенія, съ которымъ удалось мнѣ обмѣняться черезъ окно только нѣсколькими словами—пѣвецъ, столь привлекавшій и развлекавшій меня своими пѣснями въ мрачномъ уединеніи нашего общаго помѣщенія,—онъ былъ настоящій «пѣвецъ любви, пѣвецъ своей печали». Привѣтствіе его отозвалось въ моемъ сердцѣ самымъ живымъ отголоскомъ благодарности и удовольствіемъ видѣть его на свободѣ.

Мы обмѣнялись нѣсколькими словами сочувствія и участія и простились съ нимъ сердечно. Онъ былъ выпущенъ изъ крѣпости 23 іюля, со многими другими, по слѣдствію оказавшимися невиновными,—какъ это описано въ первой части моихъ воспоминаній. Съ тѣхъ поръ опустѣла келья, въ которой на весь корридоръ раздавались столь звучныя, столь задушевные русскія пѣсни, и наступила совершенная тишина, порою прерываемая только громкими вздохами и другими наводившими уныніе звуками. Гдѣ теперь Шелковъ и живъ ли еще? Встрѣча съ нимъ теперь была бы для меня несказанно желательна и пріятна. Въ эти $\frac{1}{4}$ часа я былъ еще представленъ какому-то генералу, который молча разсматривалъ меня. Впослѣдствіи я узналъ, что это былъ Игнатьевъ—дежурный генералъ главнаго штаба, принимавшій въ судьбѣ моей участіе. Въ этомъ же помѣщеніи я увидѣлъ еще одного изъ отправляемыхъ товарищей, съ которымъ я лично не былъ знакомъ прежде, это былъ Дуровъ.

Безъ всякаго напутствія и участія я былъ выведенъ изъ этой передаточной станціи и сѣлъ въ кибитку. Фельдъ-егерь помѣстился со мною рядомъ, и въ это время замѣтилъ я, что что-то тяжелое, желѣзное, опущено было къ ногамъ ямщика. Было темно, и я не могъ разглядѣть что это, но мнѣ показалось, что это были кандалы, какъ впослѣдствіи я и убѣдился въ этомъ...

Начались новыя и еще неизвѣданныя мною душевныя отягченія. Ихъ такъ много въ жизни, они безконечно разнообразны, и нѣтъ числа измышленнымъ пыткамъ, истязаніямъ и злодѣйствамъ всякаго рода, которыми отягчилъ свою собственную жизнь человѣкъ!

III.

Мы двинулись и выѣхали изъ крѣпости. Я сидѣлъ молча, погруженный въ смутную думу. На заставѣ была остановка у существовавшего прежде шлагбаума, а затѣмъ, со звономъ колокольчика курьерская тройка вынесла меня на чистый воздухъ. Зимняя, темная ночь блистала звѣздами, и воздухъ отъ быстрой ѣзды обдавалъ меня свѣжею волною и сдувалъ послѣднюю тюремную пыль и гниль. Петербурга я не жалѣлъ болѣе, такъ какъ въ немъ мнѣ жить можно было только въ тюрьмѣ. Мысли мои, какъ и глаза, были устремлены въ даль, и я съ особеннымъ удовольствіемъ смотрѣлъ на блиставшія звѣзды, которыми такъ обильно усыпано было все небо. Давно я не видѣлъ такой картины, — свиданіе съ природой, послѣ долгой разлуки съ нею, для человѣка столь же драгоцѣнно, какъ съ своею родиною, съ родною средою, съ милыми сердцу людьми. И она приняла меня вновь въ свои объятія, и я полною грудью вдыхалъ ея живительную силу и роскошное приволье. Она неожиданно поразила меня и здѣсь, какъ на Семеновскомъ плацу, и заставила забыть душевныя тягости. Видъ дали и просторъ снѣжныхъ полей, замѣнившихъ тѣсныя стѣны тюрьмы, былъ мнѣ сладостно пріятенъ. Колокольный звонъ Петропавловскаго собора, столь часто пробуждавшій меня по ночамъ, звонъ ключей и другіе однообразно смѣнявшіеся тюремные звуки исчезли навсегда и замѣнились тишиной и тихимъ звукомъ скользящихъ по снѣгу санныхъ полозьевъ. Это было успокоеніе, ни съ чѣмъ несравнимое.

Упиваясь новыми впечатлѣніями, сидѣлъ я молча, безъ желанія произнести слово. Сосѣдъ мой былъ къ тому же молчаливъ. Скоро доскакали мы до станціи, и тутъ я увидѣлъ, что за нами ѣхала еще другая тройка, везшая жандарма. Это былъ солдатъ, совсѣмъ еще юный, одѣтый жандармомъ, съ пистолетомъ за поясомъ, готовый, конечно, выстрѣлить безъ размысленія, въ кого прикажутъ, но онъ былъ воинъ николаевской арміи, взятый на 25-лѣтнюю службу, запуганный строгостью начальства, выдержавшій уже це-

ремонтальное фронтовое учение со всѣми его тягостями и побоями, но умѣвшій стрѣлять только холостыми зарядами. Фельдъ-егерь вышелъ на станцію, жандармъ оставался при мнѣ. Лошади были сейчасъ же впряжены. Фельдъ-егерь вышелъ и приказалъ жандарму сѣсть въ тѣ же сани, рядомъ съ ямщикомъ, слѣдовавшій же за нами экипажъ былъ отмѣненъ (это имѣло особое значеніе, которое мнѣ выяснилось позже), и мы двинулись сразу вскачь.

Дорога была гладкая, сосѣдъ мой былъ неразговорчивъ, мнѣ даже показалось, что онъ дышетъ какъ сонный. Мнѣ было тепло въ моей хорошей шубѣ и теплыхъ сапогахъ, тулупъ же, пожалованный мнѣ на Семеновскомъ плацу, долженъ былъ находиться при мнѣ, какъ собственность арестанта, также и теплые сапоги; и они лежали у меня въ ногахъ. Мы ѣхали, вѣроятно, по бѣлорусскому тракту; станціи смѣняли одна другую. Сосѣдъ мой спрашивалъ меня, хорошо ли я сижу, совѣтовалъ мнѣ заснуть и, садясь въ экипажъ, сейчасъ же впадалъ въ сладкій сонъ; мнѣ показалось даже, что онъ пьянъ.

Настало утро, разсвѣло, и я увидѣлъ вновь поднявшееся солнце и освѣщенные его блескомъ бѣлыя поля и мелькавшіе кое-гдѣ лѣса, привлекавшіе мой взоръ своимъ просторомъ. Дневной блескъ былъ ослѣпительнъ для глазъ, привыкшихъ къ полусвѣту тюрьмы, и заставлялъ меня прищуриваться. Погода была ясная и морозная; мы скакали. Отъ быстрой ѣзды сгущеннымъ воздухомъ обдувало мнѣ лицо и отъ копытъ летѣла снѣжная пыль и комки. Я закрывался отъ нихъ. Не было болѣе мыслей, тяготившихъ меня въ тюрьмѣ; сомнѣнія и мучительныя думы разрѣшились согласно моему горячему желанію—я вышелъ изъ тюрьмы сосланнымъ. Я чувствовалъ себя удовлетвореннымъ и въ нѣкоторой степени даже счастливымъ. Къ моему благополучію, суровый императоръ не возложилъ великодушіемъ «угліе огненные на главу мою» и тѣмъ сохранилъ мою жизнь въ душевномъ покоѣ. Въ такомъ настроеніи сидѣлъ я молча и не чувствовалъ желанія вступить въ разговоръ съ моимъ дремлющимъ сосѣдомъ, но сидѣвшій передо

— Въ Херсонѣ я не былъ,—отвѣтилъ онъ,—но бывалъ во многихъ городахъ и возилъ ссылаемыхъ въ Сибирь. Вездѣ имъ оказываемы были снисхожденія, тѣмъ болѣе въ російскихъ губерніяхъ; я полагаю, вамъ не будетъ такъ дурно, какъ это вамъ, можетъ быть, кажется. Вѣроятно, вы даже не будете посылаемы на работы.

Слова его меня успокоили, и я видѣлъ въ нихъ нѣкоторое участіе и деликатность въ обращеніи со мною. Родомъ онъ былъ финляндецъ и человѣкъ уже не молодой, много ѣздившій и видѣвшій,—блондинъ, высокаго роста, полный. Онъ интересовался и нашимъ дѣломъ и моею виновностью, но былъ сдержанъ и коротокъ въ своихъ вопросахъ и, начиная ихъ, скоро замолкалъ. Я тоже остерегался сказать что-либо лишнее, не довѣряясь искренности его бесѣды.

Погода благопріятствовала, и мы быстро мчались по гладкому санному пути. Станціи смѣнялись, и не было недостатка въ остановкахъ на станціяхъ, болѣе снабженныхъ запасами пищи. Жандармъ служилъ мнѣ, какъ лакей; при остановкахъ соскакивалъ быстро и меня высаживалъ и при отѣздахъ усаживалъ въ экипажъ подъ руки. Забота обо мнѣ была большая, такъ какъ я былъ самою цѣнною вещью въ пути, которую нужно было доставить въ сохранности, цѣлою и невредимою. О прогонахъ, составлявшихъ большую заботу въ прежнихъ моихъ поѣздкахъ, въ этомъ путешествіи я не имѣлъ никакихъ заботъ; словомъ, поѣздка моя сама по себѣ была безупречна, и я не помню въ моей жизни болѣе беззаботнаго и быстрого путешествія. Но каждая дорога оцѣнивается прежде всего и главнымъ образомъ цѣлью, ея достигаемою, и всѣ неудобства и тягости пути переносятся легко, когда ими достигается счастье прибытія въ жалаемое мѣсто,—на родину, къ милымъ друзьямъ; но этого-то главнаго утѣшенія у меня и не было. Я ѣхалъ поневолѣ и въ мѣсто, мнѣ неизвѣстное, гдѣ ожидала меня новая тюрьма, именуемая острогомъ, и все спокойствіе и удобства пути нарушались мыслью прибытія. Солдаты, провожавшій насъ, одѣтый тепло и кушавшій вдоволь, сдѣлался моимъ усерднѣйшимъ слугою и болѣе пріятнымъ мнѣ спут-

мною жандармъ часто привлекалъ мое вниманіе, — онъ былъ одѣтъ не по зимнему и, стараясь укрыться въ свое недостаточно теплое платье, ворочался, жался и отворачивалъ отъ вѣтра лицо, — онъ сильно мерзнулъ. Тогда мнѣ пришла счастливая мысль: улучивъ минуту, я обратилъ вниманіе моего сосѣда на трудное положеніе нашего спутника и на бесполезно лежавшее у меня въ ногахъ теплое платье.

— Тебѣ холодно? — спросилъ онъ жандарма.

«Точно такъ, ваше высокоблагородіе».

— Если вамъ угодно дать ему вашу шубу, то я ничего не имѣю противъ этого, вы желаете?

«Да, я этого желаю, а то вѣдь онъ можетъ замерзнуть», — отвѣтилъ я ему рѣшительно. Онъ велѣлъ остановиться и приказалъ жандарму вытащить изъ-подъ моихъ ногъ теплую шубу и надѣть на себя. Приказаніе было исполнено съ радостнымъ удивленіемъ.

— Тутъ еще есть сапоги, ты ихъ можешь тоже надѣть.

«Это уже онъ надѣнетъ на станціи, — пошелъ»!

Но вотъ доѣхали и до станціи.

— Будемъ здѣсь пить чай, — сказалъ фельдъ-егерь. Я былъ очень радъ его предложенію, такъ какъ, изъ тюремнаго затворничества перейдя вдругъ въ пассивное, быстрое, безостановочное движеніе по морозному воздуху, я чувствовалъ себя утомленнымъ ѣздой и голодомъ.

IV.

Мы вошли; я съ удовольствіемъ снялъ шубу, и скоро всѣ мы предались общему природному чувству отдохновенія отъ лежавшихъ на каждомъ своихъ обязанностей, и насыщенія себя пищею и теплымъ, пріятнымъ напиткомъ, котораго я не былъ лишенъ и въ крѣпости. Отдохнувъ, не торопясь, мы вновь пустились въ путь. Сопутствующій меня фельдъ-егерь сталъ болѣе привѣтливъ, и мы вступили въ разговоръ. Я спрашивалъ его о Херсонѣ, былъ ли онъ тамъ и не знаетъ ли людей, съ которыми я буду имѣть дѣло.

— Въ Херсонѣ я не былъ,—отвѣтилъ онъ,—но бывалъ во многихъ городахъ и возилъ ссылаемыхъ въ Сибирь. Вездѣ имъ оказываемы были снисхожденія, тѣмъ болѣе въ російскихъ губерніяхъ; я полагаю, вамъ не будетъ такъ дурно, какъ это вамъ, можетъ быть, кажется. Вѣроятно, вы даже не будете посылаемы на работы.

Слова его меня успокоили, и я видѣлъ въ нихъ нѣкоторое участіе и деликатность въ обращеніи со мною. Родомъ онъ былъ финляндецъ и человѣкъ уже не молодой, много ѣздившій и видѣвшій,—блондинъ, высокаго роста, полный. Онъ интересовался и нашимъ дѣломъ и моею виновностью, но былъ сдержанъ и коротокъ въ своихъ вопросахъ и, начиная ихъ, скоро замолкалъ. Я тоже остерегался сказать что-либо лишнее, не довѣряясь искренности его бесѣды.

Погода благопріятствовала, и мы быстро мчались по гладкому санному пути. Станціи смѣнялись, и не было недостатка въ остановкахъ на станціяхъ, болѣе снабженныхъ запасами пищи. Жандармъ служилъ мнѣ, какъ лакей; при остановкахъ соскакивалъ быстро и меня высаживалъ и при отъѣздахъ усаживалъ въ экипажъ подъ руки. Забота обо мнѣ была большая, такъ какъ я былъ самою цѣнною вещью въ пути, которую нужно было доставить въ сохранности, цѣлою и невредимою. О прогонахъ, составлявшихъ большую заботу въ прежнихъ моихъ поѣздкахъ, въ этомъ путешествіи я не имѣлъ никакихъ заботъ; словомъ, поѣздка моя сама по себѣ была безупречна, и я не помню въ моей жизни болѣе беззаботнаго и быстрого путешествія. Но каждая дорога оцѣнивается прежде всего и главнымъ образомъ цѣлью, ея достигаемою, и всѣ неудобства и тягости пути переносятся легко, когда ими достигается счастье прибытія въ жалаемое мѣсто,—на родину, къ милымъ друзьямъ; но этого-то главнаго утѣшенія у меня и не было. Я ѣхалъ поневолѣ и въ мѣсто, мнѣ неизвѣстное, гдѣ ожидала меня новая тюрьма, именуемая острогомъ, и все спокойствіе и удобства пути нарушались мыслью прибытія. Солдаты, провожавшій насъ, одѣтый тепло и кушавшій вдоволь, сдѣлался моимъ усерднѣйшимъ слугою и болѣе пріятнымъ мнѣ спут-

никомъ, чѣмъ сосѣдъ, съ которымъ, несмотря на его кажущееся добродушіе, существовали натянутыя отношенія, да, кромѣ того, онъ на станціяхъ угощалъ себя порядочно спиртными напитками и дорогою часто спалъ. Мы ѣхали рождественскими праздниками, заготовленной пищи было вдоволь, а проѣзжихъ почти не было,—всѣ старались къ праздникамъ быть дома.

Такъ мы проѣхали уже трое сутокъ и вѣхали въ хвойные лѣса Могилевской губерніи. Не помню въ точности, какъ у насъ произошелъ разговоръ о ночлегѣ, но помню, что я поставлялъ ему на видъ нашу безъ надобности торопливую и утомительную ѣзду и говорилъ ему:

— Зачѣмъ спѣшить? Ни васъ, ни меня въ Херсонѣ никто не ждетъ, теперь же праздники и всѣ люди отдыхаютъ, а мы безъ отдыха все ѣдемъ,—безо всякой надобности!

«Да, это правда, конечно, — отвѣтилъ онъ,—но знаете, такая ужъ фельдъегерская ѣзда, отъ насъ тоже требуется поспѣшность, но мы вѣдь и не особенно торопимся. Если хотите, можно и остановиться переночевать».

И вотъ, доскакавъ ночью до станціи болѣе удобной, мы расположились на ночлегъ. Тогда были еще большія столбовыя дороги, какъ единственные пути сообщенія, и станціи съ двумя, тремя комнатами, хорошо выстроенныя изъ камня, поддерживались въ порядкѣ; мебель для ночлега удобная, большіе диваны и стулья, покрытые черной клеенкой, и столъ обыкновенно достаточной величины, печи были изразцовыя, жарко нагрѣваемые.

На одной изъ такихъ станцій мы остановились и помѣстились всѣ втроемъ въ одной просторной комнатѣ. Поданъ былъ самоваръ и ѣда съ водкой и пивомъ. Я пилъ чай и ѣлъ съ большимъ аппетитомъ. При временныхъ выходахъ изъ комнаты фельдъегеря я угощалъ нашего солдата водкою, и на его долю было достаточно пищи. Мы всѣ были сыты и улеглись спать. Мнѣ не спалось, мои же спутники заснули скоро крѣпкимъ сномъ. Нѣсколько позже, подъ слышнымъ, храпящимъ дыханіемъ фельдъегеря заснулъ и я. Устав-

шіе отъ дороги, мы спали всѣ, какъ спятъ наработавшіеся здоровые люди, но я проснулся прежде всѣхъ. Мнѣ снилось послѣднее мое свиданье съ родными, и оно стояло передъ моими глазами. Въ комнатѣ было темно, и я чувствовалъ потребность выйти. Не зная куда, я подошелъ къ выходной двери, но она была заперта ключомъ, и ключъ былъ вынутъ. Какъ бы найти его, думалъ я, но въ темнотѣ искать было нельзя, я сталъ ощупывать столъ и нашелъ сернички (тогда другихъ спичекъ еще не было). Освѣтивъ комнату, я увидѣлъ и ключъ, лежавшій на столѣ. Я надѣлъ пиджакъ, отворилъ дверь и вышелъ въ корридоръ, а оттуда и на подъѣздное крыльцо станціи.

Выйдя на чистый воздухъ, я медлилъ возвратиться на свое мѣсто; чудесная ночь и уединеніе отъ надзора обворожили меня, и я стоялъ, наслаждаясь чистымъ воздухомъ и созерцаніемъ природы. Я былъ тогда молодъ, здоровъ и за три дня ѣзды уже окрѣпшимъ порядочно отъ вѣѣвшейся въ меня тюремной гнили и не чувствовалъ холода. Въ это время со двора станціи выѣхали сани и изъ корридора вышелъ какой-то проѣзжій въ шубѣ, готовый сѣсть въ нихъ, мужчина очень высокаго роста. Онъ сказалъ нѣсколько словъ людямъ, стоявшимъ у его саней, и въ звучномъ и низкомъ голосѣ его послышалось мнѣ что-то знакомое. Есть такія наружности, которыя съ перваго взгляда навсегда остаются въ памяти, и голоса, столь своеобразно звучащіе, что они всюду сразу узнаваемы. Общій обликъ проѣзжаго и его высокій ростъ возобновили въ моей памяти человѣка, со мною нѣсколько знакомаго.

— Позвольте васъ спросить,—сказалъ я ему,—не Іевлевъ ли вы?

«И весьма Іевлевъ, — былъ рѣшительный отвѣтъ.—А вы кто же?»—спросилъ онъ меня.

— Я одинъ изъ братьевъ Ахшарумовыхъ, бывшихъ съ вами на кавказскихъ водахъ въ Пятигорскѣ.

«Ахшарумовъ?!. Такъ это вы ѣдете съ фельдшеремъ?»

Тутъ у насъ завязался разговоръ.

«Кончилось, наконецъ, это дѣло, которымъ васъ обвиняли Богъ знаетъ въ чемъ!... Вѣдь васъ всѣ со-

жалѣють въ Петербургѣ .. Что же это? Вы ссылагаетесь? Куда?... Куда же это? За что?»—говорилъ онъ своимъ звучнымъ басомъ.

Запуганный уже всѣмъ предшествовавшимъ и опасаясь, чтобы не произошла какая тревога, по случаю моего тайнаго ночнаго свиданія съ неизвѣстнымъ человекомъ, я просилъ его говорить потише. Разговоръ мой у его саней былъ сдержанъ и не вполне искрененъ. Я просилъ его передать нашимъ общимъ знакомымъ мои поклоны и рассказать о нашей встрѣчѣ.

Вернувшись въ нашу спальню, я засталъ тамъ спавшихъ сладкимъ сномъ моихъ спутниковъ. Но мнѣ было уже не до сна. Ясная ночь и безнадзорное уединеніе манили меня какъ бы на свободу. Посмотрѣвъ еще разъ на крѣпко спавшихъ моихъ тѣлохранителей, я надѣлъ шапку и шубу и вышелъ вновь съ мыслью: «Пойду я, погуляю на волѣ,—Богъ знаетъ, когда я этого дождусь, да и дождусь ли еще!..»

Я вышелъ вновь на крыльцо. Не было никого; зимняя ночь казалась мнѣ чудесной, звѣзды блистали. Лѣса, обвисшіе хлопьями снѣга, спали зимнимъ сномъ; мѣсяцъ плылъ въ облакахъ. Ничто не нарушало этой величественной тишины—я былъ одинъ и, сойдя на дорогу, стоялъ и смотрѣлъ кругомъ, то на звѣзды, то на лежащій передъ глазами дальній путь и на стоявшіе по бокамъ его темные стволы густыхъ лѣсовъ, обвисшіе зелено-снѣжными вѣтвями. Мой путь лежалъ на югъ, гдѣ блисталъ Оріонъ, но взоръ мой болѣе обращался къ сѣверу,—тамъ осталось все дорогое, все любимое мною. Созерцаніе природы смѣнялось чувствомъ тоски и полного одиночества, но особую прелесть имѣло для меня и это минутное безнадзорное уединеніе. Если нельзя быть съ друзьями, то ужъ лучше быть одному и среди природы! Такъ прогуливаясь вблизи станціи по большой дорогѣ, у самага лѣса, въ особомъ, то грустномъ, то восторженномъ настроеніи, говорилъ я громко самъ съ собою, какъ бы въ бреду, восхищенный то природою, то своимъ уединеніемъ, то тоскующій объ отсутствіи всего любимаго, и, предаваясь этому чувству, я обращался къ небесамъ и, жалуясь на жестокия мои

скорби земныя. — говорилъ то стихами, то прозою.
(Стихи эти воспроизведены были въ послѣдствіи).

Судьба жестокая свершилась надо мной.
Отъ смертной казни я едва освобожденный,
Стою среди снѣговъ, одинъ, въ странѣ чужой,
Въ острогѣ, какъ въ тюрьмѣ, погибнуть осужденный.

Прощай, мой милый край, семья моя родная!
Все лучшее, что въ жизни я любилъ,
И родина моя, столица дорогая!
Я съ вами счастливъ былъ, но счастья не цѣнилъ.

Васъ больше нѣтъ при мнѣ, судьбы рукой суровой
Въ изгнанье дальнее влекусь я — скорбь въ душѣ!
Такъ вихремъ сорванный отъ дерева родного,
Летитъ зеленый листъ увянуть вдалекѣ!..

Свободы я лишень, и въ бѣгствѣ нѣтъ спасенья;
Въ обители снѣговъ одинъ я здѣсь стою...
Кому я выскажу тяжелыя мученья,
Которыя тѣснятъ и давятъ грудь мою?

Услыште-жъ вы меня, дремучіе лѣса!
Одни свидѣтели и жалобъ, и страданья,
И съ жизнью моего послѣдняго прощанья,
И вы, горящія святыя небеса!

Я стоялъ одинъ на дорогѣ, кругомъ лежали снѣга,
и слезы текли изъ глазъ, и я говорилъ вновь, засма-
триваясь на звѣзды:

Ахъ, сколько звѣздъ на небесахъ,
И какъ они горятъ!
Есть жизнь вдали, — въ другихъ мірахъ, —
Они намъ говорятъ:

Земля ничто, — смотри кругомъ,
Какъ блещетъ все живымъ огнемъ,
Тебя мы ждемъ, тебя мы ждемъ.
Тебя зовемъ, тебя зовемъ!

Какъ описать эту ночную прогулку — это мое пол-
ное освобожденіе не только отъ передвижной фельдъ-
егерской тюрьмы, но и отъ всѣхъ земныхъ тягостей.
Я былъ высоко улетѣвшимъ на недостигаемой высотѣ,

и я бы желалъ сбросить мою тѣлесную оболочку, оставивъ ее подобрать удивленному и озабоченному фельдъегерю, но мнѣ еще суждено было жить!.. Гулялъ я, не заботясь о времени моего отсутствія. Не хотѣлось мнѣ возвращаться на станцію. Я сѣлъ на пень и вдругъ почувствовалъ, что дремлю, и, вскочивъ, поспѣшно направился вновь къ крыльцу. Дѣлать нечего,—надо добровольно предать себя вновь въ руки стражи. Тихо вошелъ я въ корридоръ и тихо отворилъ дверь комнаты и заперъ ее на ключъ. На станціи повсемѣстно былъ мертвый сонъ, на часахъ было 7 утра, и я, снявъ платье, вновь улегся на диванъ и заснулъ.

V.

Утромъ, не очень рано, сѣли мы по своимъ мѣстамъ въ дорожную кибитку и скакали вновь и день и ночь, останавливаясь только для ѣды. И вотъ, мы уже въ степяхъ Малороссіи. Тутъ днемъ случилось одно происшествіе, которое обнаружило грубый нравъ моего спутника, и оно совпало съ особымъ біологическимъ явленіемъ, комически присоединившимся къ нашему государственному поѣзду. Фельдъегерь выходилъ изъ саней почти на каждой станціи и при возвращеніи, садясь въ сани, былъ напутствуемъ смотрителемъ станціи пожеланіями благополучія. Видно было, что онъ уѣзжалъ со станцій въ добрыхъ отношеніяхъ съ смотрителями ихъ, но въ этотъ разъ онъ вышелъ недовольный, въ крупномъ разговорѣ съ хозяиномъ станціи и, какъ мнѣ показалось, болѣе обыкновеннаго выпившій; нахмуренный, сердито взглянулъ онъ на запряженную тройку, которой пристяжные едва были сдерживаемы за уздцы стоящими по бокамъ людьми, а коренную притягивалъ возжами сильный ямщикъ. Тройка мощныхъ лошадей рвалась скакать. Смотритель провожалъ насъ; фельдъегерь, поспѣшно сѣвъ въ кибитку, сказалъ ему: «Будете помнить меня! Пошелъ!» Люди сразу бросили пристяжныхъ, и тройка рванулась

и понесла... Мы мчались, дорога была ровная, гладкая,—степь и даль безъ конца.

Какъ утлый челнъ, подхваченный бурнымъ вѣтромъ, неслась, то колеблясь, то слегка подскакивая, наша кибитка. Такъ быстро мы не скакали ни разу. Ямщикъ, опасаясь за благополучіе ѣзды, сталъ сдерживать разгоряченныхъ скакуновъ, но фельдъегерь, полусонный, кричалъ: «Пошелъ»! Въ это-то время столь быстрой ѣзды вдругъ поражены мы были страннымъ явленіемъ—присоединеніемъ къ намъ четвертаго спутника, и не съ дороги присѣлъ онъ къ намъ, а слетѣлъ съ небесъ и помѣстился у меня въ ногахъ. Большой, дикій, бѣлый гусь, догнавъ насъ своимъ поспѣшнымъ полетомъ, бросился къ намъ въ кибитку. Мы всѣ были поражены такимъ страннымъ явленіемъ, одинъ ямщикъ занятый дѣломъ, не замѣтилъ его. Фельдъегерь, изумленный, закричалъ: «Стой», но не легко было остановить несшихъ насъ коней. «Стой!» кричалъ онъ: «что это такое?» Ямщикъ не могъ остановить лошадей, и онъ билъ его,—такъ вымѣщаль онъ свой гнѣвъ на зрителя—и ничѣмъ неповинный въ людскихъ отношеніяхъ гусь подвергался вліянію его озлобленнаго настроенія. Я выглянулъ изъ кибитки и увидѣлъ большую хищную птицу—степного орла, перелетавшаго дорогу. Такъ вотъ разгадка страннаго явленія: дикій гусь, не зная куда дѣваться, искалъ спасенія отъ настигшаго его орла въ кибиткѣ нашей,—подъ кровомъ чловѣка, которому рѣшился ввѣрить свою жизнь, спасаясь отъ вѣрной грозившей ему кровавой смерти. Любя природу и животныхъ, я очень заинтересовался такимъ рѣдкимъ біологическимъ явленіемъ и принялъ къ сердцу поступокъ гуса, ввѣрившаго намъ свою жизнь, фельдъегерь же, узнавъ въ чемъ дѣло, хотѣлъ немедленно вышвырнуть незваннаго спутника и выталкивалъ уже его изъ-подъ моихъ ногъ, но я воспротивился тому рѣшительно и не давалъ ему распоряжаться судьбою гуса. Я защищалъ его обѣими руками.

— Онъ не мѣшаетъ мнѣ, оставьте его въ покоѣ, пусть улетитъ орелъ, тогда мы его спустимъ.

«Что же вы хотите привезти его на станцію?—

Фельдъегерь возить гусей! Этого еще не бывало!..» Онъ снова хотѣлъ его выпихнуть, но я всѣми силами защищалъ гуся и готовъ былъ на драку изъ-за него.

— Да оставьте же его, вѣдь его заключетъ орель,— до станціи еще далеко, мы его долго держать не будемъ.

Таковы были наши разговоры. Ямщикъ, увидѣвъ гуся, тоже отвлекся отъ своего дѣла, и фельдъегерь вновь набросился на него: онъ сердито кричалъ вновь: «пошелъ!» и билъ его въ спину и въ шею, забывъ о гусѣ. Такъ скакали мы съ гусемъ; фельдъегерь продолжалъ погонять ямщика, желая загнать лошадей, но лошади были не таковы — они мчались и несли насъ. Проскакавъ нѣсколько верстъ, мы выпихнули изъ саней обезумѣвшаго отъ страха гуся.

Читатель догадался, быть можетъ, о причинѣ гнѣва моего обыкновенно тихаго и больше дремавшаго и спавшаго спутника. Смотрители станцій боятся фельдъегерей и не берутъ съ нихъ прогонныхъ денегъ, лишь бы они лошадей оставили въ цѣлости, но смотритель упомянутой станціи не захотѣлъ сдѣлать этой уступки фельдъегерю. Послѣднему, однако же, не удалось въ этотъ разъ, благодаря крѣпости лошадей, нанести ему желаемый вредъ. Мы прибыли на станцію благополучно, съ рискомъ повредить экипажъ или себя, но не лошадей, которыя, проскакавъ верстъ 20, остановились послушно у подѣзда новой станціи. Слава Богу, мы прибыли благополучно и спасли еще гуся, который обязанъ своею жизнью всецѣло и единственно политическому дѣлу Петрашевскаго. Во всѣхъ другихъ случаяхъ онъ былъ бы сжаренъ на станціи или на кухнѣ какого-либо помѣщика или казака.

VI.

Мы ѣхали на праздникахъ, какъ уже извѣстно читателю. Въ дальнѣйшемъ пути нашемъ, въ Кіевской или Черниговской губерніи, поздно ночью подѣзжая къ одной изъ большихъ станцій, мы увидѣли ее освѣщенною и, приближаясь къ ней, слышали музыку.

— Это новый годъ встрѣчаютъ,—сказалъ фельдъегерь.

И въ самомъ дѣлѣ было 31 декабря 1849 г. Когда мы вошли на станцію и въ корридорѣ повернули въ правую, пустую, незанятую половину ея, фельдъегерь поспѣшно ушелъ отыскать смотрителя, а я съ жандармомъ оставался въ этой комнатѣ. Въ другой половинѣ играла музыка, въ отворенной двери корридора появились одѣтыя по праздничному дамы; ихъ было очень много, и онѣ съ особеннымъ любопытствомъ смотрѣли на меня и на жандарма; не входя въ комнату, онѣ столпились въ дверяхъ; смотрѣли и шептались. Какъ видно, онѣ сейчасъ же поняли, что везутъ какого-то политическаго ссыльнаго, и это возбудило ихъ любопытство и, повидимому, сочувствіе и участіе. Черезъ нѣсколько секундъ замолкла музыка, и хозяинъ, войдя поспѣшно, просилъ гостей удалиться въ другія комнаты и заперъ дверь на ключъ. Водворилась полная тишина; запрягли лошадей, и мы уѣхали поспѣшно.

Путешествіе наше продолжалось безостановочно день и ночь, и мы были уже въ Херсонской губерніи. Фельдъегерь загонялъ еще на одномъ перегонѣ лошадей, но и тутъ лошади выдержали испытаніе.

Насталъ день моего прибытія къ мѣсту назначенія. Отношенія мои къ полупьяному спутнику были вообще хорошія. Онъ заботился объ удобствахъ поѣздки и въ бесѣдахъ со мною все обнадеживалъ меня относительно благополучія предстоящей мнѣ жизни въ Херсонѣ.

Утромъ, рано напившись чаю, часовъ около 12 мы закусили на станціи и затѣмъ безостановочно спѣшили прибыть на мѣсто. Я былъ очень легковѣренъ: обнадеживаемый, убаюкиваемый словами фельдъегеря, въ которыхъ мнѣ хотѣлось вѣрить, я желалъ скорѣе прибыть въ Херсонъ — тамъ можно будетъ отдохнуть и утолить свой голодъ; не стоитъ уже останавливаться на станціяхъ; завтра же, даже сегодня, хорошо бы сходить въ баню, вѣдь болѣе 8 мѣсяцевъ я не имѣлъ этого привычнаго омовенія. Такъ убаюкивая себя совсѣмъ несбыточными, какъ оказалось впослѣдствіи, мечтами, я прибылъ на мѣсто назначенія. Мы вѣхали въ Херсонскую крѣпость и остановились на большой площади, у дома

коменданта,—это было уже вечеромъ, когда начинало темнѣть.

Войдя въ домъ коменданта, я долженъ былъ остаться въ передней, съ охраняющимъ меня жандармомъ, а фельдъегерь вышелъ въ другія комнаты. Черезъ $\frac{1}{4}$ часа я былъ позванъ войти въ приемную, большую комнату. Ко мнѣ вышелъ худой, сѣдой старикъ, средняго роста. Онъ сначала молча остановился, подойдя ко мнѣ и, казалось, осматривалъ меня. Я былъ одѣтъ въ моему статскомъ платьѣ, въ которомъ былъ арестованъ 23-го апрѣля; волосы, нестриженные въ теченіе 8—10 мѣсяцевъ, нисходили на шею и на плечи. Лицо, отъ дороги уже поправившееся отъ тюремнаго сидѣнья, пролетѣвшее сквозь двухтысячеверстное протяженіе морознаго воздуха. Посмотрѣвъ на меня, какъ бы желая удовлетворить свое любопытство, быть можетъ, и не лишенное участія ко мнѣ, онъ сказалъ:

— Вы молоды, мнѣ жаль васъ, но я долженъ исполнить, что предписано, и не могу сдѣлать вамъ никакихъ послабленій. Вы должны будете раздѣлить общую жизнь съ арестантами.

Онъ сказалъ мнѣ подождать и вышелъ изъ комнаты. Фельдъегеря я уже болѣе не видѣлъ. Минутъ черезъ пять явился крѣпостной офицеръ, и комендантъ снова вошелъ и, славъ меня ему, приказалъ отвести въ ордонансъ-гаузъ.

VII.

Тутъ пришлось мнѣ увидѣть еще никогда не виданное мною зрѣлище и испытать на себѣ всю тягость измышленныхъ людьми приемовъ мнимой деградации человѣка на уровень арестанта. Я былъ введенъ въ просторную комнату, имѣвшую видъ канцеляріи: за столомъ сидѣло нѣсколько писарей. Въ дверяхъ сосѣдней комнаты стоялъ высокаго роста пожилой человѣкъ въ военномъ мундирѣ,—брюнетъ, лицо его было выразительно, своеобразно-красиво, — съ уставленнымъ на меня серьезнымъ, непривѣтливымъ взглядомъ (это былъ

плацъ-майоръ Червинскій). Онъ ко мнѣ подошелъ и сказалъ: «У тебя много вещей?» Его обращеніе со мною на *ты* поразило меня. До сихъ поръ въ жизни моей еще никто изъ чужихъ людей не говорилъ мнѣ *ты*. Я молча перенесъ это оскорбленіе. Не было надобности говорить мнѣ такъ грубо—тутъ были все его подчиненные, но онъ счелъ долгомъ показать свое плацъ-майорское усердіе въ грубомъ, безучастномъ обращеніи со мною, какъ съ арестантомъ.

— У тебя много вещей?—спросилъ онъ меня, смотря на мой чемоданъ, стоявшій въ этой комнатѣ, на хорошую шубу и мѣховую шапку и, можетъ быть, золотую цѣпочку часовъ. Въ этихъ словахъ выразился весь его хищническій характеръ, каковъ онъ въ дѣйствительности и былъ. И ничего лучшаго не нашелъ онъ сказать прилично, какъ онъ, одѣтому интеллигентному человѣку, сосланному по политическому дѣлу, впервые представшему передъ его глазами! На вопросъ его я не отвѣтилъ, а онъ, бросивъ еще взглядъ на мое маленькое дорожное имущество, вышелъ изъ комнаты. Тутъ же сейчасъ пришелъ еще одинъ изъ оскорбителей въ военномъ сюртукѣ, но этотъ былъ низшаго сорта—совершенный хамъ, преждевременно отъ пьянства состарившійся служака—командиръ военной арестантской роты, капитанъ, псевдо-итальянецъ Петрини. Онъ былъ роста средняго, смугль и не чистъ лицомъ; большой, толстый, синеватый носъ его, казалось, обнюхивалъ что-то, во рту его было немного гнилыхъ зубовъ, руки у него были грязныя, съ черною каймою ногтей. Онъ заговорилъ сиплымъ, шепелявымъ голосомъ:

— А ну, что тутъ? что за арестантъ? Э! да сколько у него вещей! А ну-ка, раскрывай его чемоданъ.

Служитель сталъ раскрывать чемоданъ, на меня онъ не смотрѣлъ, а набросился съ любопытствомъ на содержавшееся въ чемоданѣ, столь заботливо о моемъ благополучіи уложенное моими братьями и тетушкой имущество: тамъ было фунта три чая, сахаръ, бѣлье, книги, которыя я отобралъ себѣ въ дорогу изъ бывшихъ при мнѣ въ казематѣ. Не помню всѣхъ, какія это были. но помню только два большихъ сочиненія —

«Geographie» de Balbi и Плутарха «La vie des hommes illustres de l'antiquité».

Затѣмъ тамъ были разныя мелкія вещицы, письменныя принадлежности и т. п.

На все это смотрѣлъ онъ съ особеннымъ любопытствомъ.

— Это что у тебя тутъ? А это что? Чай, сахаръ. Этого не полагается у насъ въ ротъ, мы тебѣ покажемъ, какъ живутъ арестанты... Эти-то всѣ книги ни къ чему тебѣ, да и намъ что въ нихъ! Развѣ ты не зналъ, что брать ихъ съ собою? Мы тебя научимъ, какъ у насъ живутъ!

Произнося эти слова, онъ тыкалъ всюду свое хамское рыло, жадными глазами разсматривалъ разныя дорогія мнѣ вещицы. Нѣкоторыя онъ кидалъ съ пренебреженіемъ, другія же клалъ отдѣльно, какъ бы обрадованный находкою. Окончивъ осмотръ чемодана, онъ принялся за мою персону.

— А ну раздѣвайся.

Я снялъ съ себя верхнее платье.

— Гдѣ цирюльникъ? Позвать его!

Цирюльникъ былъ уже наготовѣ съ ножницами и бритвою.

— А ну стриги и брей его!—(Я говорю его языкомъ, и голосъ его до сихъ поръ слышится мнѣ).—Ишь какіе волосы отпустилъ!

Цирюльникъ поставилъ мнѣ стулъ, и я сѣлъ. Онъ запустилъ свою грязную гребенку въ мои волосы, вплотную съ кожею, и сталъ рѣзать какъ попало, лишь бы поскорѣе обстричь меня подъ гребенку, потомъ вынулъ мыло, грязную кисть и бритву. Я думалъ, что онъ будетъ брить мнѣ еще пушистую мою бороду и усы, но, взмыливъ кисть, онъ сразу намылилъ мнѣ лобъ, темя и всю переднюю половину головы, отъ уха до уха. Тяжело отозвались въ сердцѣ моемъ грубыя слова и совершаемая надо мною нахальныя дѣйствія мнимаго посрамленія, но бритья головы вынести я не могъ: я вскочилъ со стула, закричавъ: «Что это?» и выбѣжалъ въ другую комнату, куда ушелъ плацъ-майоръ, надѣясь найти въ немъ, какъ въ человѣкѣ болѣе образованномъ, защиту отъ такого насилія, и, увидя его стоящимъ у окна, сказалъ:

— Развѣ нужно мнѣ брить голову? Прошу васъ, остановите ихъ!

Плацъ-майоръ, увидѣвъ меня съ намыленной головой и услышавъ обращенную къ нему просьбу, вышелъ изъ комнаты и, казалось, принялъ мою сторону.

Не помню, что онъ сказалъ командиру, наложившему на меня свои поганяныя руки, но тотъ отвѣтилъ:

— Я иначе не приму его въ роту.

Плацъ-майоръ, какъ видно, былъ не только хищенъ, но и трусливъ; онъ не нашелся ничего сказать и вышелъ снова изъ комнаты, предоставивъ меня моей судьбѣ. Я долженъ былъ снова сѣсть, и мнѣ обрили переднюю половину головы отъ уха до уха, потомъ принесли казенное арестантское платье. Я снялъ часы, жилетъ и брюки; оставили на мнѣ только бѣлье, въ которомъ я пріѣхалъ, и обувь. Я долженъ былъ надѣть сѣрые арестантскіе штаны, сѣрую куртку съ квадратной, темной заплатой на спинѣ, изношенный полушубокъ и сѣрую шапку, безъ козырька, съ двумя темными полосами накрестъ. Затѣмъ вошли унтеръ-офицеръ съ нашивками и конвойный солдатъ съ ружьемъ, и приказано было меня отвести въ арестантскую роту.

Такъ исполнилось надо мною царское велѣніе — я обращенъ былъ, по наружности, въ арестанта...

VIII.

Я вышелъ на большую площадь крѣпости въ сопровожденіи моихъ спутниковъ. Было уже темно. Мы шли съ полверсты по ровному мѣсту и затѣмъ прошли по отлогому спуску и, нисходя, подошли къ гауптвахтѣ, откуда вышли стоявшій въ караулѣ офицеръ и съ нимъ солдатъ съ ключомъ. Мы спустились еще ниже (это былъ высокій правый берегъ Днѣпра), подошли къ каменной стѣнѣ острога и остановились у его входной калитки.

Меня впустили съ унтеръ-офицеромъ на небольшой дворъ, обнесенный стѣною. Толстая калитка захлопнулась съ шумомъ. Поднявшись нѣсколько ступенекъ

отъ земли, мы вошли въ просторныя сѣни и оттуда въ общую арестантскую камеру. Она имѣла видъ большого корридора съ высокимъ потолкомъ. Посрединѣ былъ проходъ и по сторонамъ нары въ два этажа.

Полумракъ и говоръ многочисленной толпы со всѣхъ сторонъ, какъ бы жужжаніе пчелъ въ большомъ ульѣ, при звукахъ болтающихся на ногахъ цѣпей и движенія во всѣхъ углахъ, поразили мой взоръ и слухъ и при этомъ воздухъ спертый обдалъ меня вдругъ. Я остановился, переступивъ порогъ, подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ представившагося мнѣ никогда еще невиданнаго мрачнаго жилища людей, и сколькихъ людей, — живущихъ, движущихся, говорящихъ и смѣющихся въ этой обители скорби и неволи!

Я стоялъ, пораженный этимъ зрѣлищемъ. Унтеръ-офицеръ, меня сопровождавшій, увидѣвъ, что я не иду за нимъ, сказалъ: «идите сюда». Я пошелъ. Дойдя почти до половины камеры, онъ остановился съ лѣвой стороны и указалъ мнѣ мѣсто на нарахъ. Я взошелъ на нары, и такъ какъ рядомъ съ указаннымъ мнѣ мѣстомъ стояла какая-то кровать, то я сѣлъ на нее; унтеръ-офицеръ сѣлъ внизу на нарахъ, и я осматривался кругомъ. Вниманіе мое привлекала многочисленная движущаяся толпа, мимо меня проходящая и смотрящая на меня съ любопытствомъ. Нѣкоторые останавливались, готовые со мною заговорить, но унтеръ-офицеръ мой, какъ сторожевой песъ, лаялъ на нихъ: «чего стоишь, — кричалъ онъ, — иди, куда шель!» Тѣ уходили, но они замѣнялись все новыми, наконецъ, уставъ кричать, онъ замолкъ. Вотъ идетъ высокаго роста плечистый арестантъ, въ кандалахъ, бѣлый, какъ альбиносъ. Онъ медленно подходитъ и, поровнявшись со мною и наклонившись ко мнѣ на край кровати, говоритъ:

— Вы откуда, землячокъ, — позвольте спросить?

«Я изъ Петербурга, а почему вы называете меня землячкомъ?»

Тутъ подошелъ другой и, услышавъ мой вопросъ, сталъ рядомъ съ предыдущимъ и сказалъ:

— А это, видите, онъ такъ спроста всѣхъ новыхъ знакомыхъ готовъ принять за земляковъ.

«А! я не зналъ, что тутъ такъ говорятъ, — по благорасположенію».

— Такъ, такъ! Видите, сударь, — у насъ вѣдь народъ разный и разное расположенъ. Другой ни съ кѣмъ не говоритъ, какъ звѣрь, а другіе добродушны, любятъ болтать...

Тутъ мой церберъ опять разсвирѣпѣлъ и разогналъ останавливавшихся около меня. Набросившись, какъ собака, онъ кричалъ:

— Вонъ пошелъ, ишь дьяволы, сбродъ каторжный, а, проклятые!..

Нѣкоторые, уходя, огрызались:

«Ишь какой сердитый сегодня, — говорилъ одинъ, — что ты, объѣлся чего?! Толкается еще, — я те толкну, такъ съ ногъ слетишь», — тутъ было крѣпкое, для печати неудобное, ругательство.

Посидѣвъ еще нѣсколько минутъ и видя людей все подходящихъ и отгоняемыхъ, я подумалъ: «Да что это за напасть! Сидѣлъ я 8 мѣсяцевъ въ казематахъ, людей не видѣлъ, а тутъ съ людьми вмѣстѣ, и ихъ отъ меня гонять!» Я всталъ и пошелъ въ толпу вдоль комнаты. Такъ прохаживаясь, я наталкивался въ узкомъ проходѣ, останавливался и говорилъ то съ тѣмъ, то съ другимъ. Унтеръ-офицеръ слѣдилъ за мной и все отгонялъ отъ меня людей.

— Скажите, пожалуйста, для чего вы ихъ отъ меня отгоняете? — спросилъ я его. Онъ остановился, посмотрѣлъ на меня и какъ будто не зналъ, что отвѣчать, потомъ сказалъ:

«Приказано смотрѣть за вами... Тутъ народъ каторжный», — потомъ, обернувшись, продолжалъ кричать на останавливающихся. Но какъ онъ ни кричалъ, все подходили и говорили со мной, а я все разсматривалъ вокругъ.

Двойныя нары — нижнія и верхнія на толстыхъ столбахъ, съ глубокими зарубками, по которымъ люди влѣзали наверхъ. Освѣщеніе было самое плохое: къ столбамъ, которые были безъ зарубокъ, прибиты были полочки, и на нихъ горѣли какія-то грязныя, масляныя, первобытнаго устройства лампы.

Посрединѣ камеры была положена поперечная, ле-

жавшая концами на верхнихъ нарахъ, широкая, толстая, деревянная полка — съ возвышенною досчатою спинкою, на уровнѣ съ верхними нарами, и на ней установлены были образа, между ними стоялъ въ серединѣ большой образъ, и передъ нимъ горѣла лампада. Вѣроятно, образа эти были подарены арестантской ротѣ благотворителями. Мѣстами на нарахъ постланы были грязные тюфяки изъ толстаго подкладочнаго холста, ничѣмъ не покрытые, на нѣкоторыхъ лежали полураздѣтые люди. Всюду грязь, народу много. Арестанты сидѣли кучками, разговаривая, иные прохаживались, сталкиваясь, нѣкоторые съ синеватыми клеймами на лбу и на скулахъ,—на ногахъ ихъ звенѣли кандалы.

Унтеръ-офицеръ, которому я былъ, какъ видно, порученъ для особаго надзора мною надзора и для моего благополучія, въ охрану отъ назойливыхъ арестантовъ, усталъ уже кричать и ходить за мной. Но и я усталъ и сѣлъ на мое прежнее мѣсто. Тутъ мой надзиратель спросилъ меня:

— Можетъ быть, вы хотите покушать? Арестанты уже повечеряли.

Я былъ голоденъ, такъ какъ, въ надеждѣ на отдыхъ по прибытіи въ Херсонъ, съ 12 часовъ дня, послѣ послѣдней закуски въ дорогѣ, ничего не ѣлъ, и потому попросилъ дать мнѣ, что есть. Мнѣ принесли въ посудѣ какую-то жидкость вродѣ супа и большой кусокъ чернаго хлѣба. Я попробовалъ: это была теплая похлебка съ какою-то крупкою, отбивавшая особымъ вкусомъ и запахомъ свиного сала. Съѣвъ нѣсколько ложекъ, я не могъ больше ѣсть по сальному, показавшемуся мнѣ съ непривычки противному вкусу, и набросился на хлѣбъ, который былъ хорошо выпеченный, ржаной, и я наѣлся имъ порядочно. Захотѣлось пить, и, освѣдомившись, гдѣ вода, я нашелъ въ сѣняхъ въ кадкѣ свѣжую воду и ковшъ. Деревянную ложку и чашку, изъ которыхъ я ѣлъ супную кашицу, сказано было мнѣ сохранить для себя и поставить на полочку у стѣны. Затѣмъ я спросилъ унтеръ-офицера:

— А гдѣ же я буду спать,—на этой кровати?

«Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ,—это моя кровать... А вотъ здѣсь, около меня на нарахъ».

Нары были голыя, и постели на нихъ не было никакой. Слова его меня смутили не столько суровостью ночлега, сколько новымъ нравственнымъ оскорбленіемъ: у него въ ногахъ на полу!—Но постель его, назначенная не для меня, была поганая, на ней былъ жесткій тюфякъ, прикрытый какою-то грязною дерюгою.

Здѣсь надо мнѣ пояснить недосказанное: при приѣмѣ меня въ плацъ-майорской канцеляріи вещи мои собственныя у меня были всѣ отобраны, но, какъ уже упомянуто было выше, надѣтое на мнѣ бѣлье и обувь были оставлены, а также и моя небольшая кожаная дорожная подушка. Она стояла внизу, прислоненная къ задней ножкѣ кровати. По отвѣтѣ унтеръ-офицера, я сошелъ сейчасъ же съ кровати, взялъ мою подушку, прислонилъ ее къ стѣнѣ и сѣлъ на свое мѣсто на нары.

Въ это время за кроватью я услышалъ разговоръ арестантовъ на турецкомъ языкѣ. Турецкій языкъ былъ мнѣ какъ бы чѣмъ-то роднымъ: я вѣдь окончилъ курсъ въ университетѣ оріенталистомъ, и турецкій языкъ, мнѣ знакомый, былъ для меня пріятнымъ воспоминаніемъ. Я отчасти понималъ ихъ народное нарѣчіе и содержаніе ихъ разговора: обо мнѣ, съ участіемъ, говорилось приблизительно слѣдующее:

— Должно быть, онъ издалека... Молодъ еще и совсѣмъ не похожъ на здѣшній людъ... Что-нибудь особенное случилось... Такихъ сюда не привозили.

Услышавъ эту рѣчь и ихъ разговоръ обо мнѣ, я всталъ, подошелъ къ нимъ и увидѣлъ сидящихъ на нарахъ нѣсколько турокъ, различнаго возраста. Одинъ былъ въ чалмѣ, какъ мулла, другіе—съ непокрытыми и бритыми до половины, какъ у меня, головами. Они сидѣли на нарахъ съ поджатыми ногами. Лица ихъ были красивыя, смуглыя, восточнаго типа, видъ ихъ былъ болѣе опрятный, чѣмъ прочихъ арестантовъ. Присутствіе ихъ здѣсь меня обрадовало, и, остановившись передъ ними, я громко привѣтствовалъ ихъ на родномъ ихъ языкѣ:

— Эс-саламунъ-aleyкумъ (поклонъ вамъ)!

При этихъ словахъ они всѣ разомъ отвѣтили мнѣ обычнымъ для мусульманина возвращеніемъ привѣт-

ствія: «Ве Алейкумъ эс-саламунъ!» (т. е. и вамъ поклонъ). Затѣмъ они пригласили меня сѣсть промежъ нихъ, посторонившись и давъ мнѣ лучшее мѣсто. Турокъ въ чалмѣ обратился ко мнѣ съ вопросомъ на турецкомъ языкѣ, откуда я и какъ я знаю ихъ языкъ?

Я объяснилъ имъ, что я изъ Петербурга и очень радъ встрѣтить ихъ и слышать ихъ родной языкъ.

— Развѣ тамъ говорятъ на нашемъ языкѣ?—спросилъ меня мулла.

Я отвѣтилъ, что тамъ никто не говоритъ по-турецки, но есть большое училище, гдѣ учатъ разнымъ наукамъ и языкамъ, и турецкому тоже, и я учился ихъ языку въ этомъ училищѣ.

Они обошлись со мною очень привѣтливо и участливо. Я самъ былъ радъ этой находкѣ (люди эти впоследствии стали моими добрыми товарищами и вѣрными слугами, окружавшими меня своею предупредительностью).

— Ну ты, Мустафа!..—закричалъ вдругъ унтеръ-офицеръ, увидѣвъ меня среди нихъ, да еще и говорящимъ по-турецки!..—Слышь ты, Махмедъ!.. Я тебя вытурю отсюда!

«Зачѣмъ? Мы про тебя не говоримъ...»

— Вонъ отсюда!—закричалъ онъ, набросившись, но никто не тронулся съ мѣста...—Вишь, собачьи пятки, еще по-турецки—вонъ пошли!..

«Будемъ по-русски говорить»,—отвѣчалъ Махмедъ, смѣясь.—Тутъ вмѣшался мулла:

— Развѣ мы что дурное дѣлаемъ, что ты кричишь?—мы по-турецки говоримъ всегда.

«Не смѣть по турецки говорить, вонъ отсюда!» Онъ началъ разгонять ихъ, стаскивая съ мѣстъ и турмаками,—турки упирались, хватали его то за одну, то за другую руку и сдерживали буйство.

Я сидѣлъ на нарахъ среди турокъ съ поджатыми, какъ они, подъ себя ногами, и съ любопытствомъ смотрѣлъ на глупое бѣшенство моего надзирателя и на деликатное сопротивленіе толкаемыхъ турокъ, но скоро случилось особое обстоятельство, повліявшее на дальнѣйшій ходъ дѣла.

Вошелъ въ камеру какой-то новый человѣкъ въ по-

лушубкѣ, тоже арестантъ, уже немолодой, средняго роста, полный, съ красивымъ лицомъ. Онъ подошелъ прямо къ нашей компаніи и обратился ко мнѣ, что отвлекло унтеръ-офицера отъ турокъ.

— Я видѣлъ уже васъ въ канцеляріи, — сказалъ онъ, — когда васъ обезображивали! Это вѣдь изверги, глупцы все...

Я вспомнилъ, что видѣлъ его въ канцеляріи, сидѣвшимъ за письменнымъ столомъ... Унтеръ-офицеръ опять встревожился, но новопришедшій закричалъ на него:

— Что ты, съ ума сошелъ, что ли? Чего ты пристаешь! Убирайся!..

Слова эти, сказанныя громко и рѣшительнымъ тономъ, видимо, смутили и привели въ замѣшательство усердствующаго по службѣ нарушителя тишины, и онъ притихшимъ голосомъ сказалъ:

«Антонъ Николаевичъ! Вѣдь вы сами слышали, какъ мнѣ приказано смотрѣть?»

— «Ну да! Я слышалъ, что тебѣ приказано смотрѣть, а не ругаться тутъ и шумѣть. Дурачина! И безъ тебя уже довольно тутъ горя новому человѣку!—Унтеръ-офицеръ замолкъ и какъ бы образумился. Онъ пересталъ надоедать, и его надзора я больше не чувствовалъ. Пришедшій назвалъ меня по имени и отчеству и сказалъ мнѣ:

— Я поторопился поранѣе вернуться сюда, чтобы познакомиться съ вами и, сколько могу, утѣшить васъ въ этой судьбѣ вашей, приведшей васъ сюда, какъ и меня.

«Позвольте узнать, кто вы, — спросилъ я его, — отъ кого слышу я такое участіе?»

— А я арестантъ, какъ и прочіе, и уже давно здѣсь и привыкъ, а вамъ-то трудно! Да дѣлать нечего, скрѣпите свое сердце и живите съ нами. Будемъ жить вмѣстѣ.—Таковы были приблизительно сказанныя имъ мнѣ слова.

Все происшедшее поглотило мое вниманіе и заинтересовало меня.

— Сядьте здѣсь, — сказалъ мнѣ тотъ же пришедшій. Турки посторонились и дали мѣсто другимъ подошедшимъ сюда же и подсѣвшимъ къ намъ.

— Вотъ рекомендую,—Глушенко, храбрый воинъ русскаго царя, посадившій на штыкъ ротнаго... За правду въ штыки вѣдь можно?

Я поклонился и подалъ руку Глушенкѣ.

— А вотъ Меншиковъ — капельмейстеръ, первый музыкантъ въ мірѣ!

Передо мною стояли два богатыря: Глушенко—ростомъ выше средняго, коренастый мужъ, во цвѣтѣ лѣтъ, въ кандалахъ, съ обритой продольно съ бока до темянной макушки всей половиной головы, смуглый, рябоватый, съ красивыми закругленными чертами лица и горбатымъ носомъ. Подробности совершеннаго имъ дѣйствія мнѣ мало извѣстны, но послѣдствія жестокаго надъ нимъ тѣлеснаго наказанія запечатлѣлись на его глубоко исполосованной шпигрутенами спинѣ (объ этомъ будетъ упомянуто въ дальнѣйшемъ описаніи). Богатырь душою и тѣломъ, онъ былъ тихъ и кротокъ, какъ овца, никогда не выражалъ сожалѣнія о совершившемся и не вымаливалъ себѣ прощенья, но былъ бодръ, веселъ и склоненъ къ побѣгъ. Нельзя не упомянуть теперь же, что въ арестантскихъ пляскахъ онъ выступалъ лучшимъ танцоромъ и кандалы придавали его пляскѣ особую прелесть.

Другой былъ мужчина очень высокаго роста, съ большой головой. Онъ былъ обритъ въ поперечномъ направленіи, какъ и я. Черты лица—крупныя, правильныя, лобъ большой и широкій, съ выдающимися висками. Преступленіе, имъ совершенное, было противъ военной дисциплины: будучи помощникомъ капельмейстера въ полковомъ оркестрѣ, онъ возненавидѣлъ своего начальника за его бездарность, поправлялъ его, останавливалъ оркестръ во время репетицій и, наконецъ, нанесъ ему оскорбленіе при исполненіи имъ служебной обязанности. Въ острогѣ онъ былъ тихъ, спокоенъ, блѣденъ, молчаливъ. Музыкальных инструментовъ у него не было. При случаѣ выпивалъ.

Занялись приготовленіемъ въ глиняной чашѣ какого-то холоднаго жидкаго кушанья. Это была тюря съ чернымъ хлѣбомъ, квасомъ и лукомъ. Квасъ былъ мнѣ прятень, и эта кислая похлебка была гораздо вкуснѣе принесеннаго мнѣ жидкаго супа. Я ѣлъ вмѣстѣ съ ними,

чувствуя себя уже не одинокимъ, а съ людьми мнѣ доброжелательствующими. Не помню, что тутъ было говорено, но печали не было замѣтно ни на лицахъ, ни въ бесѣдахъ раздѣлявшихъ со мною вечернюю трапезу, — они болтали, смѣясь и остря.

Наступала ночь, движеніе, ходьба уменьшались, шумъ и говоръ смолкали; бѣлая часть лежала на нарахъ. Одинъ изъ сосѣдей предлагалъ мнѣ свой тюфякъ, и меня къ принятію его уговаривали со мною ужинавшіе, но я отказался вѣжливо отъ оказанной мнѣ любезности и соединеннаго съ нею одолженія и предпочелъ досчитаться нары. У меня была подушка и больше ничего для ночлега, но я былъ молодъ, здоровъ и достаточно уже окрѣпъ въ дорогѣ отъ быстрого движенія по морозному воздуху. Все же, однако, къ тому небывалому еще въ моей жизни ночлегу надо было какъ нибудь приловчиться; я снялъ толстые сѣрые брюки и подложилъ ихъ подъ себя, вмѣсто постели, а полушубкомъ, который, по моему малому росту, былъ для меня достаточно длиненъ, я закрылся и, усталый, растянулся. Унтеръ-офицеръ мой скоро захрапѣлъ на своей кровати. Вдругъ вижу я, идетъ вновь уже вышеупомянутый высокій, бѣлобрысый арестантъ, назвавшій меня землячкомъ, останавливается передъ образами и, ставъ на колѣни, поднимая обѣ руки и запрокинувъ голову, вполголоса говорить: «Господи! прости, прости меня грѣшнаго!» Постоявъ такъ неподвижно съ поднятыми къ образамъ руками, онъ творитъ земной поклонъ тоже нѣкоторое время въ этомъ положеніи, приникши къ землѣ головой. Потомъ встаетъ тихо и удаляется на свое мѣсто. Это была его вечерняя передъ сномъ молитва. Она привлекла меня своею простотою и глубокимъ чувствомъ. Арестантъ этотъ именовался Морозовымъ и былъ одинъ изъ интересовавшихъ меня все время и расположенныхъ ко мнѣ людей. Я привсталъ и смотрѣлъ на него съ любопытствомъ, потомъ легъ, но долго не могъ заснуть: такъ много новаго и дающаго матеріалъ совѣмъ инымъ, чѣмъ прежде, размышленіямъ, представилось глазамъ моимъ.

Обитель скорби и неволи, думалъ я, какъ можно жить, не вѣдая сего. Развѣ они преступники, злодѣи?

И что люди называютъ злодѣяніемъ? Минутную горячность, за которою слѣдуетъ вся остальная жизнь раскаянія! И вмѣсто того, чтобы пожалѣть несчастнаго человѣка и облегчить его страданія, навѣсили на него кандалы и наложили на лицо клеймо убійцы!

Трудно мнѣ, но вѣдь иначе нельзя было бы увидѣть того, что я вижу! Люди живутъ въ невѣдѣніи, обманывая себя знаніемъ жизни; дорогою цѣною пріобрѣтается знаніе. Надо имѣть право и самому низойти въ адъ, чтобы увидѣть всѣ муки несчастныхъ, и издѣванія надъ людьми—заклейменные лица, исполосованные въ рубцахъ шпицрутенами спины, закованные въ цѣпи ноги, бритые головы, вдоль и поперекъ, обезображенные пятнами и несимметричными цвѣтами платья ихъ, запираніе на ключъ отъ общенія съ людьми... надо самому перенести на себѣ все это, чтобы понять всю тяжесть и разнообразіе страданій... Такъ думая, я засыпалъ, подавленный массою тягостныхъ впечатлѣній, и я заснулъ крѣпко на моемъ жесткомъ ложѣ.

Не знаю, долго ли я спалъ, но былъ разбуженъ крикомъ и громкимъ ругательствомъ одного изъ спящихъ на нижнихъ нарахъ, противъ меня. Другіе тоже пробудились и сидѣли на своихъ ложахъ, не понимая сначала, какъ и я, что случилось: арестантъ, поднявшій крикъ, вскочилъ съ мѣста и, смотря на верхнія нары, осыпалъ самыми грубыми, самыми отвратительными ругательствами лежавшихъ на нихъ.

«Ты что ругаешься?» — спросилъ кто-то сверху...
— А! Проклятые! Течетъ сверху...

Онъ бросился по столбу наверхъ и, схвативъ одного лежавшаго, выпихнулъ его внизъ. Тотъ свалился и сталъ ругаться и кричать, послѣ чего началась драка.

Проснулись всѣ, и дежурный унтеръ-офицеръ, спавшій преспокойно до сихъ поръ, вмѣшался въ крикъ и въ драку, своими кулаками успокаивая дравшихся; свалка сдѣлалась еще большая. Со всѣхъ сторонъ слышался говоръ, ругательства и смѣхъ. Несчастнаго, сброшеннаго внизъ и, вѣроятно, сильно ушибшагося, молившаго уже о пощаду, заставили уйти на ночлегъ въ сѣни.

Послѣ этого все успокоилось, и заснули вновь. Вто-

рой разъ я проснулся, все было тихо, слышенъ былъ храпъ, всѣ спали—также и дежурный. Я всталъ, вышелъ въ сѣни—тамъ спалъ въ уголкѣ провинившійся; я вышелъ на дворъ. Было темно и холодно и дулъ сильный вѣтеръ; я былъ въ одной курткѣ, безъ штановъ и безъ шапки и хотѣлъ было вернуться за полушубкомъ и шапкою, но думалъ: «А! все равно, беречься не для чего!» Вернувшись обратно, я снова заснулъ крѣпкимъ сномъ.

IX.

Утромъ я былъ разбуженъ барабаннымъ боемъ,—били утреннюю зарю. Уже начинало свѣтать, арестанты вставали, унтеръ-офицера кричали и торопили выходить. Всѣ шли сначала въ сѣни, гдѣ мылись у общей круговой умывалки,—не помню уже, какая она была, кажется, мѣдная; вытирались тряпками,—у каждого была своя,—у нѣкоторыхъ были полотенца. Подойдя къ умывалкѣ, я былъ окруженъ турками, которые дали мнѣ мыло и полотенце, и я умылся хорошо, въ первый разъ послѣ дороги.

Арестантскія роты, какъ я послѣ узналъ, должны были содержаться въ большой чистотѣ, но этого не соблюдалось, и во всемъ было неряшество. Бѣлье должно было перемѣняться еженедѣльно и отдаваться въ стирку на счетъ казны, но этого не дѣлалось. Всѣ были грязны, въ заношенномъ бѣльѣ. Въ замѣну чистоты и порядка дарованы были нѣкоторыя льготы распушенности. Каждый содержалъ себя по своему. Прежде, рассказывали мнѣ арестанты, въ арестантскихъ ротахъ жить было «далеко лучше»: были у каждого, по положенію, постели и вся обстановка и все содержаніе, вообще, было несравненно лучше настоящаго, но однажды, въ какомъ-то году, говорятъ, императоръ Николай Павловичъ посѣтилъ одну арестантскую роту и, увидѣвъ такое тихое и мирное житіе, нашелъ, что имъ лучше, чѣмъ въ полкахъ солдатамъ, и тутъ же вызывалъ охот-

никовъ на службу, но таковыхъ не нашлось! Тогда онъ велѣлъ отнять постели и содержаніе ихъ сдѣлать суровымъ. Охотниковъ же не нашлось не потому, чтобы въ арестантскихъ ротахъ жить кому-либо было желательно,—уже одна неволя отнимаетъ всякое желаніе, но въ полкахъ было ужъ очень скверно,—25-ти-лѣтняя служба и постоянная муштровка съ побоями были хуже неволи.

Шумъ, говоръ, смѣхъ, порою ругательства, звонъ кандаловъ, хожденіе туда и сюда людей, отъ тѣсноты сталкивающихся и обмѣнивающихся разными непривѣтными словами, были началомъ дня. Затѣмъ раздавались крики начальствующихъ: «Выходи, выходи... На работу,—чего стоишь? пошелъ!..» и т. п. Всѣ торопились, выходили на дворъ. Камера опустѣла, остались немногіе, въ томъ числѣ и я, такъ какъ я не былъ побуждаемъ къ выходу. Я вышелъ, однако же, на дворъ; тамъ толпились арестанты, ожидая выхода. Отворилась калитка. За нею видна была стоявшая вооруженная стража съ гауптвахты, которая принимала выходящихъ и должна была сопровождать ихъ при работахъ.

Вскорѣ дворъ опустѣлъ, и я остался одинъ. Каменная стѣна, высокая и толстая, замыкавшая оба конца острога, окружала этотъ небольшой дворъ. На немъ были два строенія, примкнутыя къ стѣнѣ, противоположной крыльцу, — кухня порядочной величины — справа, а у лѣваго угла стѣны солидное для столькихъ жителей ретирадное мѣсто. Земляная площадь раковистаго известняка имѣла небольшой склонъ отъ острога, стоявшаго на высокомъ берегу надъ Днѣпромъ. Зданіе острога, какъ и строенія на дворѣ, были каменные, обветшалыя—«временъ очаковскихъ и покоренія Крыма». На дворѣ стояло одно большое дерево, по стволу и вѣтвямъ котораго, хотя и лишеннымъ листьевъ, я могъ полагать, что это бѣлая акація, душистая, столь пріятная мнѣ, видѣнная мною въ другое время моей жизни. Я вошелъ посмотрѣть кухню, тамъ два рослыхъ арестанта, безъ кандаловъ, бритые, какъ я—спереди назадъ,—затопляли печи и наливали воду въ котлы. Они посмотрѣли на меня съ любопытствомъ и заговорили со мною:

— Вы, сударь, еще не ѣдали нашей пищи — она плохая, да ужъ не отъ насъ, — варимъ, что даютъ. Приходите попозже, дадимъ попробовать. Уже какая есть, такую и ѣдимъ. Если голодны будете, то кушайте больше.

Не помню, какой у меня былъ съ ними дальнѣйшій разговоръ, но они обошлись со мною весьма привѣтливо. (Вообще первое впечатлѣніе обхожденія со мною арестантовъ было для меня ободряющимъ). Побродивъ по двору, я вошелъ опять въ сѣни, но, къ удивленію, не дойдя до входа помѣщенія нашего, я увидѣлъ налѣво другое, точно такое же помѣщеніе, параллельно съ описаннымъ. Оно было полно народомъ. Нѣкоторые арестанты лежали еще, другіе же сидѣли на нарахъ за ручными работами. Повидимому, они всѣ оставались дома, безъ выхода на работы. Я постоялъ у входа, посмотрѣлъ и вошелъ. Тамъ были тоже двойныя нары.

Всѣ были старики, имѣли слабый болѣзненный видъ. Когда я проходилъ по продольному между двумя рядами наръ проходу, одинъ изъ арестантовъ, въ полушубкѣ, роста выше средняго, полный, сѣдой, съ серьезнымъ лицомъ, подошелъ ко мнѣ и спросилъ:

— Вы вчера прибыли къ намъ?

«Да, я прибылъ вчера».

— Позвольте узнать, откуда?

«Изъ Петербурга».

— Какъ ваша фамилія?

Я сказалъ ему фамилію.

— Вы, вѣроятно, никогда не видѣли такого жилища людей?

«Да, я не видѣлъ никогда... А вы давно здѣсь находитесь?»

— Я-то ужъ тринадцатый годъ... Ну, пожалуйста, будьте у насъ гостемъ.

Онъ просилъ меня сѣсть. Я сѣлъ на нары и спросилъ у него, что это за отдѣленіе и отчего отсюда никто, повидимому, не вышелъ на работы.

— Это отдѣленіе неспособныхъ, мы уже отработались и сидимъ дома.

Мало-по-малу завязался у насъ разговоръ; оказалось,

что его фамилія Кельхинъ, зовутъ его Александромъ Петровичемъ. Ему было лѣтъ уже около 60-ти, довольно высокаго роста, полный, крѣпкаго тѣлосложенія, красивый мужчина, съ короткими, бѣлокурыми волосами, уже почти посѣдѣвшими. Выраженіе лица его серьезное и очень грустное. Съ первой моей встрѣчи съ нимъ онъ произвелъ на меня самое пріятное впечатлѣніе и, обмѣнявшись съ нимъ нѣсколькими словами, я былъ обрадованъ его близкимъ со мною сожителствомъ. Чѣмъ чаще я его видѣлъ, тѣмъ болѣе онъ меня привлекалъ своимъ тихимъ, спокойнымъ характеромъ и своимъ, превосходящимъ всѣхъ прочихъ моихъ осторожныхъ сожителей, умственнымъ развитіемъ. Находка такого человѣка была для меня драгоценна. Узнавъ, что я сосланъ по политическому дѣлу, съ первыхъ же дней пожелалъ онъ узнать о причинѣ моей ссылки изъ Петербурга, и я поинтересовался совершившеюся надъ нимъ жестокою судьбою, приведшею его къ отбыванію 15-лѣтняго срока заключенія въ томъ же острогѣ, въ который я только что прибылъ.

Разсказъ его о внезапно разразившемся надъ нимъ несчастіи представляетъ собою одно изъ характерныхъ явленій того времени, вѣроятно разрушившихъ жизнь весьма многихъ его современниковъ.

Уроженецъ Петербурга, воспитывавшійся въ морскомъ корпусѣ или, можетъ быть, въ одномъ изъ училищъ при немъ, онъ занималъ должность штурмана въ дальнихъ плаваніяхъ. Возвратившись изъ путешествія въ 1825 году, онъ вышелъ въ отставку. Свидѣтель восшествія на престолъ Николая I-го и событія 14 декабря, онъ проживалъ въ столицѣ съ своею матерью, приискивая себѣ другое мѣсто. Въ 1826 году, безъ всякаго съ его стороны повода, ему приказано было выѣхать изъ столицы. Это было, какъ онъ мнѣ говорилъ, время усиленныхъ строгостей, время подозрѣній, опасеній, причемъ многіе, не имѣвшіе или неуспѣвшіе приискать себѣ опредѣленныхъ занятій, также и отставные, временно проживавшіе безъ оффиціальнаго дѣла, были, на всякій случай, для безопасности и охраны престола, высылаемы изъ столицы. Такъ было и съ нимъ; ему приказано было выѣхать изъ Петербурга,

но, удивленный такимъ распоряженіемъ полиціи, онъ сталъ разузнавать о причинѣ неожиданно состоявшагося надъ нимъ, безъ всякой его провинности, рѣшенія и хлопоталъ объ отмѣнѣ его. Такъ прошло нѣсколько дней, а затѣмъ надъ нимъ, какъ ослушавшимся Высочайшаго повелѣнія, состоялось другое административное распоряженіе— онъ былъ арестованъ и отправленъ на жительство въ гор. Черниговъ.

Мать его, оставшись въ Петербургѣ, безуспѣшно хлопотала о его возвращеніи и высылала ему пособіе въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, а потомъ онъ вдругъ пересталъ получать отъ нея извѣстія. Она умерла! Лишенный этой небольшой помощи, онъ съ трудомъ жилъ разными занятіями, для которыхъ долженъ былъ и отлучаться иногда изъ города, за что, однако, не подвергался взысканіямъ знавшей его уже полиціи. Полиція смѣнялась, и по-временамъ усиливались строгости, и вотъ однажды за самовольную отлучку онъ былъ арестованъ и посаженъ въ тюремный замокъ. Будучи по природѣ горячаго характера, онъ съ трудомъ переносилъ обрушившіяся на него безъ всякаго повода гоненія. При посѣщеніи черниговскимъ губернаторомъ тюрьмы онъ искалъ въ немъ защиты и объяснялъ ему свое дѣло, но губернаторъ обошелся съ нимъ сурово и грубымъ отвѣтомъ на его жалобы вызвалъ въ немъ взрывъ долгопревозмогаемаго негодованія: Кельхинъ ударилъ его въ лицо и осыпалъ его ругательствами. Послѣ этого возникло новое дѣло. Оно окончилось конфирмаціей императора Николая, которою повелѣно было сослать его въ херсонскую арестантскую роту военного вѣдомства на 15 лѣтъ.

Такова была судьба бѣднаго Кельхина, выведеннаго изъ терпѣнія притязаніями полиціи и беззащитнымъ его положеніемъ. Я засталъ его прожившимъ уже 13 лѣтъ въ херсонскомъ острогѣ, куда и меня судьба занесла случайно подъ фирмою нѣсколько другой провинности.

Съ великимъ любопытствомъ и участіемъ я слушалъ его разсказъ. Съ первой моей встрѣчи съ нимъ и до послѣдняго моего съ нимъ прощанія мы были близкими друзьями, и все время моего пребыванія въ арестантской ротѣ я находилъ утѣшеніе въ бесѣдахъ съ

нимъ. но послѣ одиннадцатилѣтней административной ссылки и затѣмъ тринадцатилѣтней жизни въ острогѣ онъ состарился и въ періодъ уже моей съ нимъ встрѣчи былъ молчаливъ. вялъ и угрюмъ. Прежде онъ работалъ—портняжничалъ. но въ теченіе всего времени моего пребыванія въ острогѣ я не помню, чтобы онъ занимался какой-либо работою. Зрѣніе его было уже слабо. онъ прохаживался. какъ бы въ размышленіяхъ или лежалъ на своемъ мѣстѣ. упавшій уже духомъ и питавшійся только казенною пищею. Чаю никто не пилъ. а волка была въ большомъ ходу.

О Кельхинѣ я буду часто говорить въ дальнѣйшемъ описаніи. Въ этотъ первый день моего знакомства съ нимъ мы говорили немного.

Камера, въ которую я попалъ случайно. была не столь шумна, но совершенно такая же. какъ и та. въ которую я помѣщенъ былъ на жительство.

Я вышелъ въ сѣни и. пройдя нѣсколько шаговъ. увидѣлъ нашу камеру. расположенную рядомъ. въ параллель съ тою. и вошелъ въ нее. Тамъ оставалось только нѣсколько человѣкъ: одинъ изъ арестантовъ подметалъ жилище и поднимать большую пыль. Этою же метлою онъ выметалъ и досчатые нары. а также и грязные тюфяки, которые оставались незавернутыми.

У всѣхъ были изголовья въ видѣ подушекъ. Надъ нарами у изголовій прибиты были къ стѣнѣ полки. и на нихъ лежали куски чернаго хлѣба, большею частью прикрытые тряпками, возлѣ нихъ стояли деревянные супничьи чашки. Дневное освѣщеніе было тоже не достаточное. Окна были только съ одной стороны, на площадь крѣпости. маленькія, низкія, съ мелкими перегородками для вставленія стеколъ. Снаружи желѣзные перекладины, съ просвѣтомъ не болѣе четвертой доли листа бумаги, отнимали тоже часть свѣта. Приютившись у этихъ оконъ, кое-гдѣ сидѣли немногіе арестанты, оказавшіеся больными или задохнувшіеся унтеръ-офицеровъ для изыятія ихъ въ этотъ день отъ наряда на работу. Иные шили платье, другіе—сапоги. Всюду замѣтна была грязь, особенно на стѣнахъ—онѣ были какъ бы закопѣлыя. Потолокъ. тоже закопѣлый, висѣлъ надъ этою обителю многочисленной толпы. У

входа, слѣва, вмѣсто нарѣ, была большая русская печь, въ которой, какъ я увидѣлъ послѣ, дня черезъ 3, пеклись хлѣбы.

Я спалъ эту ночь отъ усталости, послѣ дороги и столь разнообразныхъ впечатлѣній, довольно хорошо, и не было у меня желанія прилечь теперь.

Справа отъ входа было особое отгороженное досчатое помѣщеніе, пространствомъ около трехъ нарѣ, съ тѣснымъ проходомъ посрединѣ—это была канцелярія. Я заглянулъ туда, тамъ стоялъ столъ и на нарахъ спалъ дежурный унтеръ-офицеръ. Рота имѣла фельдфебеля, который безпрестанно отлучался, и я его еще не видѣлъ или не зналъ. Это былъ высокій, жирный, но блѣдный «держиморда», въ солдатской сѣрой шинели. Я называю его такъ не потому, чтобы онъ билъ кого,—этого на моихъ глазахъ не случилось,—но, должно быть, онъ былъ привыченъ къ тому по службѣ, такъ какъ нерѣдко приходилъ съ улыбкою и, потирая руки, говорилъ: «Эхъ! Прекрасная погода, да бить некого». И дѣйствительно, бить было некого: арестанты держали себя хорошо и сами наблюдали за порядкомъ. Фамилія фельдфебеля была Савельевъ; звали его, сколько помнится, Григорій Матвѣевичъ, и всѣ обращались съ нимъ почтительно. Онъ былъ непосредственный начальникъ надъ обѣими камерами, и унтеръ-офицеровъ, ему подчиненныхъ, было человекъ восемь. Мой надзиратель, Керсанфовъ, въ эту пору отсутствовалъ, я былъ безъ особаго присмотра, запертый почти въ пустой камерѣ.

X.

Возвратившись въ мое отдѣленіе, я ходилъ, не зная что дѣлать. Все видѣнное съ перваго взгляда было еще ново и неизвѣстно мнѣ въ подробностяхъ. Я останавливался и разсматривалъ нары и оставшееся на нихъ имущество. Нижнія нары были не сплошныя, наглухо вдѣланныя, но ряды поднимающихся досокъ, подъ ко-

торыми было пустое пространство. Онѣ были высоты обыкновенныхъ стульевъ, для возможности сидѣнья. На извѣстномъ разстояніи, обнимающемъ 8—10 отдѣльныхъ помѣщений ночлега, стояли толстые столбы, и въ нихъ сдѣланы были глубокія зарубки для влѣзанія на верхнія нары. Дойдя до послѣдней стѣны камеры, я полюбопытствовалъ заглянуть въ верхній этажъ помѣщений и влѣзъ по столбу на верхнія нары. Онѣ были точно такія же, но подъ низкимъ потолкомъ, такъ что, войдя туда, нельзя было выпрямиться, не стукнувшись головой въ потолокъ, надо было, даже при моемъ маломъ ростѣ, пригнуться, чтобы пройти далѣе. Посмотрѣвъ съ одного конца, я удовольствовался этимъ и спустился внизъ. Здѣсь, видя челоуѣкъ трехъ работавшихъ, я подошелъ къ нимъ и познакомился съ каждымъ. Они объяснили мнѣ, что остались для работы; работа эта ихъ собственная, которую они сбываютъ на базарѣ знакомымъ имъ торговцамъ и торговкамъ за очень дешевую цѣну, и заработанныя деньги остаются у нихъ; они справляютъ себѣ различныя надобности въ бѣльѣ и пищѣ. Одинъ изъ нихъ, маленькій ростомъ, худой, лѣтъ сорока, съ обритою продольно одною половиною головы и въ кандалахъ, сидѣлъ, углубленный въ башмачную работу. Я подошелъ къ нему и вступилъ съ нимъ въ разговоръ. Онъ обошелся со мною привѣтливо и, минутно прерывая спѣшную, повидимому, работу, бесѣдовалъ со мною; фамилія его была Дамскій. Онъ находился въ острогѣ уже 8-й годъ. Неловко какъ-то показалось мнѣ спрашивать объ обстоятельствахъ, приведшихъ его сюда, и я ничего объ этомъ не говорилъ, но освѣдомлялся о его прежнемъ мѣстѣ жительства, объ успѣшности его работъ и т. п.

Впослѣдствіи, какъ я узналъ, такіе вопросы и не были въ обычаѣ между арестантами,—мало ли кто за что провинился, и Богъ знаетъ, что ему въ жизни пришлось продѣлать и перенести. Иному тяжело на сердцѣ и вспомнить свои прежніе проступки, о которыхъ онъ не желаетъ говорить. Все уже прошлое, можетъ быть, и давно минувшее и прежнія его дѣянія, если были укоряющія совѣсть, давно осуждены

имъ самимъ и искуплены тягостью послѣдовавшей жизни. Всякій носить въ себѣ массу сожалѣній, ошибокъ, совершенныхъ въ жизни, разнища только въ характерахъ, побуждавшихъ дѣйствовать такъ или иначе. Богатые, живущіе во дворцахъ, пользующіеся, большею частью, всеобщимъ уваженіемъ и почетомъ въ обществѣ, при иныхъ обстоятельствахъ, лишенные средствъ жизни, можетъ быть, стали бы красть и, доведенные до крайности, стали бы совершать дѣла не лучше знаменитаго въ преданіяхъ между арестантами бродяги «Кармалюка», о похожденияхъ и странствіяхъ по дорогамъ и въ тюрьмахъ котораго сложились пѣсни. Вопросъ о винѣ изгнанъ изъ разговоровъ арестантовъ. Многіе, не стыдящіеся своей вины, даже гордящіеся ею, сами рассказываютъ о ней товарищамъ, но о томъ не спрашивается. Таковы деликатные, благочестивые обычаи неписаннаго, но молчаливо соблюдаемаго всѣми арестантами кодекса. Мало ли кто и за что сосланъ, къ какому суду людскому, подверженному и пристрастію и подкупамъ и мѣстнымъ и временнымъ, условіямъ образа мыслей. Да будетъ миръ и забвеніе всего дурного, осуждать не приходится никому—таковъ и характеръ русскаго человѣка. Съ такими взглядами, утвердившимися во мнѣ еще болѣе по ознакомленіи моемъ съ критическимъ разборомъ существующихъ нынѣ условій нашей общественной среды *Fourier*, прибылъ я въ эту новую для меня обитель. Такимъ образомъ и случилось что, не зная здѣшнихъ обычаевъ, я не нарушилъ ихъ ни словомъ ни дѣйствіемъ. Вина Дамскаго, однако же, рассказана была мнѣ впослѣдствіи, и она не была изъ числа срамныхъ человѣка, но могла бы быть рассказана всенародно.

Родомъ донской казакъ, не довольствуясь обыкновенными дѣлами, онъ нашелъ болѣе выгодный способъ пріобрѣтенія себѣ имущества, давая имъ вмѣстѣ съ тѣмъ и жизнь множеству по тогдашнему времени безпріютныхъ странниковъ—большею частью бѣглыхъ изъ крѣпостной зависимости. Онъ снабжалъ людей паспортами своего произведенія, искусно выдѣлываемыми. Онъ являлся на ярмарку, и къ нему стекались

всѣ нуждающіеся и обремененные заботою жизни, не имѣющіе покоя, и онъ успокаивалъ ихъ. Такъ дѣло велось многіе годы. Неимущихъ онъ снабжалъ паспортами за малую плату, а съ состоятельныхъ бралъ большія деньги, но такихъ было мало.

— Ко мнѣ приходило множество людей,—говорилъ онъ,—бѣглецы, просрочившіе, не желавшіе вернуться на мѣста ихъ жительства. Крѣпостная наша Русь полна бѣглецами, и бѣгутъ они все болѣе въ наши края,—въ Донщину, Черноморье, Ростовъ, Таганрогъ... У каждого были приведены свои причины,—ихъ вѣдь много, всякаго рода... Я уже не разбиралъ причинъ, а кто просилъ, тому и давалъ; мало ли кто почему желаетъ гдѣ жить или не жить. Всякій, видите ли, воленъ жить, гдѣ хочетъ, а тутъ ему говорятъ: «живи здѣсь!»

Таковъ былъ Дамскій, всегда молчаливый, его не было слышно, и онъ усердно работалъ.

Всѣ арестанты, какъ я узналъ, раздѣлялись на вѣчныхъ и срочныхъ. Вѣчными назывались осужденные на 15 лѣтъ. Название это, конечно, несоотвѣтственно—оно употребляется въ смыслѣ пожизненности. Послѣ 15-ти-лѣтней жизни въ арестантской ротѣ люди, конечно, уже настолько измѣняются, что послѣдующую жизнь ихъ, если кто переживетъ этотъ срокъ, нельзя и считать продолженіемъ прежней. И дѣйствительно, прожившій 15 лѣтъ въ острогѣ едва ли на что-либо годится. Вѣчные арестанты носили кандалы и были бриты боковой половиной всей головы, что сильно обезображивало видъ, гораздо болѣе, чѣмъ бритыхъ со лба. Ихъ куртки и штаны были съ одной половины сѣрыя, съ другой—темно-бурыя. Дамскій принадлежалъ къ числу такихъ вѣчныхъ.

Въ этотъ же день я познакомился съ упомянутымъ фельдфебелемъ Савельевымъ. Несмотря на свою природную и приобретенную на службѣ грубость, онъ обошелся со мною вѣжливо, называлъ меня «вы» и по имени и отчеству. Онъ подошелъ ко мнѣ и общился, что обо мнѣ спрашивали его комендантъ и плацъ-майоръ.

Вскорѣ послышался шумъ, говоръ и шаги входящей толпы, со звономъ цѣпей. Наряды, вышедшіе

отдѣльными партіями, возвращались въ роту для обѣда и получасового затѣмъ отдыха. Придя, они побрели по своимъ мѣстамъ и сейчасъ же каждый бралъ свою посуду и шелъ въ кухню, гдѣ наливалась каждому пища; они были голодны, наработавшись и съ вечера ничего не ѣвши. И я тоже послѣдовалъ общему шествію, отправился со своею посудой и получилъ большую порцію сваренной кашицы. Всѣ усѣлись на нары по своимъ мѣстамъ и стали ѣсть. Обѣдъ, состоявшій въ будніе дни изъ одного кушанья, скоро былъ съѣденъ. Проголодавшись порядочно, и я ѣлъ. Унтеръ-офицера, сопровождавшіе рабочихъ, тоже ѣли. Они почти всѣ были женатые и въ свободное отъ службы время уходили домой и были угощаемы домашнею пищею. Потомъ, послѣ кратковременнаго отдыха, приготавливались всѣ вновь къ отходу и раздавались вновь крики: «Выходи, выходи...»—и всѣ ушли, и я остался опять въ почти пустой казармѣ. Не помню въ точности, что я дѣлалъ до вечера. Я зашелъ опять къ неспособнымъ и бесѣдовалъ съ Кельхинымъ и узнавалъ все болѣе о жизни и жителяхъ острога. Онъ познакомилъ меня съ нѣкоторыми изъ своихъ сожителей, между которыми остались въ памяти немногіе, и между ними стоитъ передъ моими глазами, какъ живой, старикъ высокаго роста, худой, съ блѣднѣющимъ лицомъ, сѣдой, по прозванію Вороновъ — о немъ будетъ многое рассказано ниже.

Неспособныхъ уже не брали, и я не помню, чтобы между ними былъ кто-либо въ кандалахъ. Тамъ былъ народъ большею частью уже слабый, не только по отношенію къ работамъ, но и отъ долгаго сидѣнія потерявшій всю энергію жизни и маломыслящій. Они были неразговорчивы, много спали и ровно ничего не дѣлали. Посидѣвъ въ камерѣ неспособныхъ, я вышелъ вновь на дворъ, но было холодное зимнее время, оставаться на дворѣ было невозможно, снѣгу не было, погода была вѣтряная и гололедица, и я долженъ былъ возвратиться въ нашу камеру. Меня еще интересовала новая обстановка моей жизни, но уже на второй день къ вечеру я не зналъ, что дѣлать, и начиналъ томиться въ моей новой просторной тюрьмѣ,

да еще меня озадачивала уже находка на мнѣ вшей, начинавшихъ по мнѣ ползать. Эта новая пакостная бѣда, еще не испытанная и въ одиночномъ заключеніи, къ которой надо было привыкнутьъ. Я былъ безъ всякаго дѣла и безъ малѣйшаго развлеченія, ходилъ, сидѣлъ, ложился и вновь вставалъ и ходилъ,—такъ дожито было до вечера. Въ сумеркахъ послѣдовало возвращеніе арестантовъ съ работы—опять шумъ, говоръ, бряцаніе цѣпей, вечерняя ѣда той же самой жидкой кашицы. Позже уже вернулся изъ канцеляріи вчера столь неожиданно представшій передо мною человѣкъ. Онъ вновь привлекъ меня своимъ участіемъ и пригласилъ сѣсть на нары, имъ занимаемыя.

Фамилія его была Биліо, имя—Антонъ Николаевичъ. Онъ былъ человѣкъ средняго роста, лѣтъ 40 отъ роду, съ головой почти лысой на лбу и темени, окаймленной сзади и по сторонамъ вьющимися прядями бѣлокурыхъ волосъ. Брить онъ не былъ, вѣроятно, для приличія въ канцеляріи между писцами. Кожа лица и рукъ бѣлая, черты лица не лишенныя красоты, глаза голубые и взглядъ большею частью серьезный. Онъ имѣлъ нѣкоторый образовательный цензъ, превышавшій всѣхъ прочихъ, кромѣ Кельхина, жителей острога, и начальство пользовалось имъ, какъ хорошимъ исполнителемъ дѣловыхъ бумагъ. Отношенія мои къ этому человѣку были самыя лучшія. Мысли его были либеральныя, и онъ не стѣснялся высказывать ихъ въ кругу арестантовъ и унтеръ-офицеровъ; если же что-либо желалъ сказать мнѣ особенное, то выражался ломанымъ французскимъ языкомъ. Его вечерніе приходы и приносимыя имъ часто городскія новости меня интересовали и были ожидаемы мною, какъ развлеченіе отъ однообразія дня, и его постоянное ко мнѣ вниманіе все болѣе располагало меня къ нему. Такъ было въ первые мѣсяцы моей жизни въ острогѣ. Предшествующую свою жизнь онъ мнѣ никогда не рассказывалъ, и я, конечно, о томъ не спрашивалъ, но по нѣкоторымъ его разговорамъ можно было полагать, что онъ былъ родомъ полякъ. Кельхинъ о происхожденіи его ничего не зналъ, но между арестантами было мнѣніе, что онъ былъ въ Сибири, бѣжалъ оттуда, и

что имя и фамилія его были ненастоящія. Какова бы ни была его предыдущая жизнь, но онъ привлекалъ меня своимъ добродушіемъ и участіемъ ко мнѣ. По приходѣ его началась шумная бесѣда, разговоры, рассказы о дѣлахъ дня и встрѣчахъ съ людьми на работахъ.

Турки по-временамъ, то тотъ, то другой, подходили ко мнѣ со словами «*ахшамынызъ хайръ-олсунъ*» (добрый вечеръ), освѣдомлялись о моемъ здоровьѣ и приглашали зайти къ нимъ побесѣдовать, и я посѣщалъ ихъ компанію. Они всѣ сидѣли вмѣстѣ. Всѣ были порядочно уставшими и послѣ недолгихъ разговоровъ укладывались спать. Все смолкло, наступила тишина. На гауптвахтѣ билась вечерняя заря. Я улегся тоже, какъ и въ предыдущую ночь. Меня обсыпали блохи и вши; я чесался и ловилъ ихъ, но не было счета и конца этой ловлѣ. Когда все успокоилось и люди въ большинствѣ уже спали, я услышалъ вновь тихо идущаго въ кандалахъ. Это былъ тотъ же несчастный Морозовъ. Остановившись передъ образами, онъ сталъ на колѣни и произнесъ тѣ же самыя, мною уже вчера слышанныя, слова и затѣмъ, совершивъ продолжительный земной поклонъ, всталъ и ушелъ на свое мѣсто. Что совершилъ онъ въ жизни, что его такъ тяготило и за что онъ такъ усердно молилъ Бога о прощеніи, осталось мнѣ не вполне извѣстнымъ, но короткая и глубокопрочувствованная вечерняя его молитва вновь отозвалась въ моемъ сердцѣ особымъ смиряющимъ скорби впечатлѣніемъ, и я лежалъ спокойно и старался заснуть.

Такъ началась моя новая жизнь, и былъ день первый и наступала ночь вторая пребыванія моего въ херсонской арестантской ротѣ.

XI.

Въ слѣдующіе затѣмъ дни стало повторяться то же самое. Я все вникалъ въ жизнь моихъ новыхъ сожителей и товарищей по заключенію и знакомился все болѣе съ особенностями ихъ жизни.

Новоприбывшихъ не посылали сейчасъ же на работы, но давали имъ отдохнуть нѣсколько дней отъ путешествія, потому и мнѣ сдѣлано было это снисхожденіе. Люди уходили на работу, возвращались на короткое время для обѣда, и до самаго вечера я ихъ не видѣлъ. Вечеромъ же они приходили усталые и скоро укладывались спать. Разговоры мои съ ними были короткіе. Нѣсколько новыхъ личностей обратили на себя вниманіе. По вечерамъ нѣкоторые, имѣвшіе кое-какую пищу, принесенную ими изъ города, видя меня мимо идущимъ, обращались ко мнѣ со словами: «Не хотите ли повечерять съ нами вмѣстѣ», но я благодарилъ, не особенно дорожа пищею, привыкнувъ уже къ воздержанію въ казематѣ, и говорилъ, что я сытъ. «А ну же, еще попробуйте, можетъ быть, скушаете». Вообще обхожденіе ихъ со мною было очень привѣтливое. Турки были со мною особенно любезны и угощали меня иногда гороховыми пирогами, вродѣ лепешекъ, покупаемыми ими въ городѣ. Кельхинъ былъ моимъ утѣшителемъ во время дня, Биліо возвращался позднѣе другихъ, и вечернія мои бесѣды были большею частью съ нимъ. Онъ говорилъ мнѣ, между прочимъ, что имущество мое, привезенное со мною, плацъ-майоръ заявилъ намѣреніе продать съ аукціона, имѣя въ виду купить нѣкоторыя вещи (дорожную шапку, часы, и т. п.) самому подъ чужимъ именемъ. Читатель помнитъ вопросъ этого человѣка при моемъ первомъ свиданіи съ нимъ—*«много ли у тебя вещей?»*—въ этомъ высказался весь его хищническій характеръ, —у него тогда уже появилась мысль о возможности пожить въ чужимъ добромъ. Биліо говорилъ, что вещи эти, по закону, принадлежатъ моимъ наслѣдникамъ, если я самъ ими не могу владѣть. Права эти меня мало интересовали. Тутъ дѣло уже было не о вещахъ, а о томъ, чтобы какъ-нибудь сохранить жизнь свою и достоинство. Я бы голый бѣжалъ, еслибы могъ, изъ этого жилища скорби, неволи грязи, и мнѣ было уже не до вещей моихъ.

— Но онъ подлецъ,—говорилъ Биліо про плацъ-майора. — Онъ, образованный человѣкъ, могъ бы, кажется, понять всю безнравственность такого по-

ступка—васъ лишить вещей, имѣя возможность сохранить ихъ до вашего выхода!

«Чортъ его возьми!—говорилъ я. — Пусть дѣлаютъ, что хотятъ. Тамъ же есть комендантъ,—онъ же долженъ за ними смотрѣть».

— Комендантъ?—говорилъ Биліо.—Этотъ старый трусъ вѣрять во всемъ Червинскому, а этотъ картежникъ, игрокъ!

«Ну Богъ съ ними! Не будемъ говорить объ нихъ!» И затѣмъ мы переходили къ обыкновеннымъ разговорамъ.

Ужаснѣйшая нечистота, неопрятность были для меня трудно переносимы, насѣкомые осыпали меня, и я горько жаловался на эту нечисть, поддерживаемую еще болѣе тюфяками арестантовъ. На эти жалобы мой новый пріятель Биліо говорилъ мнѣ:

— Ахъ! это одна изъ самыхъ малыхъ тягостей, которыми мы обсыпаны здѣсь!—Онъ уже сдѣлался безчувственъ къ такого рода впечатлѣніямъ.—Не блохи, не вши тяжелы,—онѣ не заѣдаютъ человѣка, а люди невыносимы.

Также тяготился я страшно духотою спертаго воздуха по ночамъ. Въ помѣщеніи были кое-какія отдушины, которыя открывались по-временамъ помощью висячихъ веревокъ. Между арестантами было много уже старѣющихъ, которые еще, однако же, не признаны были неспособными къ работамъ. Между ними были слабые, боявшіеся простуды. Они не любили этихъ душниковъ и старались ихъ держать закрытыми. «Вишь опять открылъ душникъ, проклятый!» говоритъ одинъ, слѣзая съ наръ и, потянувъ веревку, захлопываетъ вентиляторъ. Черезъ нѣсколько времени подходитъ другой арестантъ, тоже слабый, и, потянувъ веревку въ другую сторону, съ гнѣвомъ произноситъ: «Этакая духота!.. Спать нельзя! Тутъ задохнешься скоро! Чучело заморское!..»

Мое помѣщеніе было какъ разъ близъ этого вентилятора, и я, съ своей стороны, вскакивая съ наръ, потихоньку открывалъ его, сколько могъ.

XIII.

Настало 6 января, праздничный день — Крещеніе. Утреннюю зарю пробили, какъ обыкновенно, но никто не торопился вставать. Медленно поднимались арестанты, шли мыться, и большая часть ихъ одѣвалась болѣе чисто, — у кого было что надѣвать; на нѣкоторыхъ были цвѣтныя рубахи. Многіе передъ образами молились, не торопясь, ставъ на колѣни и прижимая пальцы къ груди, ходившіе мимо сторонились. Затѣмъ начались разговоры, болтовня, шутки, смѣхъ, движеніе прохаживавшейся взадъ и впередъ многочисленной толпы, безпрестанно сталкивающихся людей, между которыми нѣсколько десятковъ ступали тяжелоугодно, гремя кандалами... Бряцающій звукъ этихъ цѣпей у каждого имѣлъ свой особый, ему одному свойственный звукъ (timbre). По этому характерному звуку, соединенному всегда съ однимъ и тѣмъ же темпомъ походки, я скоро сталъ узнавать каждого, близъ меня идущаго, по звону его кандаловъ. Сомкнутыя заклепанными гвоздями, желѣзныя плоскія кольца, вышиною съ вершокъ и толщиною съ мѣдный пятакъ, свободно обхватывали нижніе концы голеней. На нихъ висѣли съ каждой стороны удобно подвижные, соединенные тремя звеньями 4 желѣзные прута, толщиною съ писчее перо. Въ срединное, соединяющее прутья обѣихъ сторонъ, кольцо вдѣвался ремень, который и былъ носимъ поясомъ или же, вмѣсто этихъ прутьевъ, были сплошныя цѣпи съ обѣихъ сторонъ, сходявшіяся въ одно большое кольцо, въ которомъ и продѣтъ былъ поясной ремень. Такимъ образомъ, весь этотъ гремучій желѣзный аппаратъ поддерживался въ всячемъ положеніи и, болтаясь, издавалъ своеобразный звонъ. Подъ кольцами же на голеняхъ, которыя обхватывали голое тѣло и причиняли боль, подшивались уже арестантомъ особаго рода ремни — подкандалники (поджилыники).

Въ это утро гремѣлъ цѣлый оркестръ цѣпныхъ инструментовъ. Музыка эта, — тихія колебанія разноручавшихъ звеньевъ цѣпей, какъ бы звуки природы,

шумъ волнъ или пѣніе птицъ, не имѣла ничего шумнаго, непріятно раздражающаго.

Одинъ другого арестанты поздравляли съ праздникомъ, говорили, шутили и, повидимому, отдыхали отъ обыкновеннаго будничнаго дня. Они любили праздники, соблюдали и чтили ихъ.

Но вотъ на середину прохода выносятся узкій длинный столъ и на немъ ставится разнаго рода пища—хлѣбы, булки, крендели, гороховые пироги, куски сала и свинины,—все это благотворительныя приношенія несчастнымъ заключеннымъ. Нарѣзанные куски хлѣба и пищи положены въ обиліи кучами,—общая трапеза для всѣхъ арестантовъ, и двое изъ нихъ, артельщики, раздаватели пищи всѣмъ подходящимъ, соблюдаютъ порядокъ и безобидно надѣляютъ каждого по мѣрѣ количества запаса. Подходящіе берутъ пищу, садятся на свои мѣста и начинаютъ ѣсть. Тутъ, откуда ни возьмись, многіе вытаскиваютъ шкалики съ водкой, иные и порядочные запасы спиртнаго напитка—полустофики и, взаимно угощаясь отдѣльными группами, вкушаютъ полученную пищу. Между тѣмъ, подходит и обѣденный часъ, и посуды наполняются свареннымъ въ кухнѣ супомъ съ крупю, и, кромѣ того, еще второе праздничное кушанье—пшенная каша съ саломъ. Все смолкло и усердно предалось насыщенію своихъ живущихъ всегда впроголодь утробъ. Даже и въ острогѣ оправдалось мудрое изреченіе Brillat-Savarin: „La table est le seul endroit où l'on ne s'ennuie jamais pendant la première heure“.

Запрещенный напитокъ циркулировалъ къ тому же обильно, и унтеръ-офицера и фельдфебель, щедро угощаемые, предавались общему отдохновенію. Кто покраснѣлъ весь, начинаетъ ругаться, буянить и замалчивается въ драку, но остановленный смирятся, хмурясь, кто сидитъ грустный, въ раздумьи и молчаньи, кто изливаетъ чувства объятіями всѣхъ встрѣчныхъ и слюнявыми лобзаніями. Одинъ, бѣлобрысый, высокій, знакомый уже читателю, испивъ водки, сидитъ, поникнувъ головой, крѣпко задумавшись, и, вздохнувъ, произноситъ: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствіи Твоемъ!»

Близъ него находящійся говоритъ, смѣясь:

— Ты чего разнюнился? Днесъ со мною будеши въ аду!

Тотъ вскакиваетъ съ мѣста и, окинувъ его презрительнымъ взоромъ, восклицаетъ!— Безстыдный!.. Не боишься ты Бога! Чьи слова произносишь и коверкаешь?!.. и, плюнувъ, отходитъ отъ него. Разсердившій его былъ высокаго роста, лѣтъ 40 мужчина, худой, съ большимъ носомъ—бывшій, какъ я послѣ узналъ, псаломщикъ, по прозванію Ефимовъ—по природѣ своей большой комикъ, о которомъ я имѣю еще кое-что разсказать впослѣдствіи.

— Эхъ! Вы, ребята!—восклицаетъ порядочно уже хлебнувшій горѣлки фельдфебель, выйдя на средину.— Пьяницы вы, бродяги!.. Ну, у кого еще есть водка?..

«Всю выпили», отвѣчаетъ кто-то поодаль за спиною его.

— Кто сказалъ?.. кто это?.. выходи!.. Никто не отвѣчаетъ и не обращаетъ на него вниманія. Шумъ, говоръ, звонъ цѣпей, пѣсни, то хоромъ, то по одиночкѣ, всякій предается веселью по-своему. Нѣкоторые сидятъ осовѣвши или ложатся на нары.

Не всѣ, однако же, пили, не у всѣхъ была водка, да многіе были и непьющіе, отрекшіеся отъ нея и соблюдавшіе воздержаніе. Я былъ угощаемъ многими, но, обмочивъ губы, удалялся и вновь былъ угощаемъ.

Уставъ глядѣть на это невиданное мною зрѣлище, я подсѣлъ къ туркамъ, непьющимъ по ихъ закону и сидѣвшимъ отдѣльною группою. Затѣмъ пошелъ я въ казарму неспособныхъ, посѣтить Кельхина и нашель его тоже выпившимъ.

Такъ проходилъ день Крещенія,—первый видѣнный мною въ острогѣ праздникъ. Читатель понимаетъ, что послѣ слишкомъ сорока-лѣтней давности, въ памяти моей сохранилась только общность всего видѣннаго и слышаннаго мною въ дни моей молодости. Поблекли живые образы, голоса и рѣчи отдѣльных личностей, которыхъ имена напрасно силюсь я вспомнить. Но и въ этой туманной картинѣ выступаютъ еще нѣкоторыя черты и слышанныя мною въ то время слова и изреченія. Ихъ стараюсь я теперь возстановить,

по возможности, въ цѣлости ихъ подлинника. Голосъ мой слабъ для разсказа, или пѣсни, и перо непривычно къ литературному повѣствованію. Съ трудомъ выискиваются слова для описанія этого дѣйствительнаго и нынѣ существующаго еще въ жизни человѣка особаго рода *дантовскаго ада*, сокрытаго какъ бы въ подземныхъ жилищахъ отъ взоровъ сотней милліоновъ свободно проживающаго населенія городовъ и деревень, не имѣющаго о немъ никакого понятія.

Не знаю, какъ я буду продолжать, не знаю, что писать — такъ много скучившихся вмѣстѣ, роящихся и мелькающихъ въ памяти разнообразнѣйшихъ, но оборванныхъ въ живой цѣлости впечатлѣній. Какъ разобратъ въ этомъ хаосѣ элементовъ скорби и мученій человѣка, представшихъ однажды въ жизни и быстро, какъ все прочее, промелькнувшихъ передъ моими глазами? Потому писаніе это такъ медленно и такъ туго подвигается, и я нахожусь въ большемъ сомнѣніи, справлюсь ли я съ предпріятымъ мною трудомъ.

Ахъ! вѣдь это было давно, очень давно!

Вышеописаннымъ оканчивались мои воспоминанія и я болѣе не думалъ ихъ продолжать. Нынѣ принимаюсь вновь за покинутый мною въ 1891 году трудъ. На давно минувшія дѣла налегла еще одиннадцати-лѣтняя давность, — сверхъ прежнихъ тяготѣвшихъ уже надъ ними сорока слишкомъ лѣтъ! Несмотря на это, побуждаемый горячимъ желаніемъ занести въ нашу лѣтопись то, что еще осталось недосказаннымъ и лежитъ сокрытымъ ото всѣхъ въ глубинѣ моего сердца, я принимаюсь вновь за прерванный, казалось мнѣ, уже навсегда, разсказъ, въ надеждѣ довести его до желаемаго мною окончанія, — конечно, если не помѣшаютъ тому какія-либо непредвидѣнныя случайныя обстоятельства, возможныя въ жизни каждаго человѣка.

XIII.

Послѣ описаннаго мною крещенскаго праздника 6 января 1850 г. большая часть арестантовъ, полу-

опьяненные, улеглись спать, по мѣстамъ на нарахъ, кое-гдѣ сидѣли еще отдѣльными кучками, нерасположенные ко сну, слышались громкіе голоса, запѣванье пѣсни, а на верхнихъ нарахъ какъ бы хлопанье картъ съ возгласами. Унтеръ-офицера спали.

Утромъ въ обычный часъ, съ разсвѣтомъ дня, на гауптвахтѣ билась утренняя заря. Лѣнливо пробуждались и поднимались крѣпко спавшіе, раздавались обычные крики унтеръ-офицеровъ *«вставай, выходи!»* Скоро всполошились всѣ и, одѣвшись, вышли на дворъ. Затѣмъ отворилась замкнутая крѣпкимъ замкомъ толстая калитка въ каменной стѣнѣ и вся толпа, принимаемая снаружи стоявшимъ уже вооруженнымъ конвоемъ, сопровождаемая унтеръ-офицерами, исчезла за стѣной. Калитка захлопнулась и, оставшись одинъ на дворѣ, я еще болѣе почувствовалъ лишеніе выхода изъ острога, единственно возможнаго съ прочими арестантами на работу, и я рѣшился какъ можно скорѣе заявить о моей просьбѣ посылать меня на работу. Былъ холодный зимній день, и я вошелъ вновь въ казарму. Но что я буду дѣлать безъ всякихъ занятій, въ пустой почти камерѣ,—моя новая видоизмѣненная тюрьма и я почти одинъ въ ней безо всякаго дѣла!.. Все же моя здѣшняя келья цѣлая казарма и я только теперь одинъ, а часа черезъ два—три я услышу не звонъ запиравшихъ меня ключей, а уже знакомое мнѣ тихое бряцанье цѣпей и за нимъ увижу шумной толпой входящихъ моихъ сожителей—они разгонятъ мои мрачныя думы, развлекутъ и утѣшатъ меня! Я сажусь на нары, встаю, прохаживаюсь по среднему проходу и, все еще разсматривая мое новое жилище, подхожу къ мѣсту моего ночлега: имущества у меня никакого нѣтъ—одна маленькая кожаная подушка въ изголовьѣ, надъ ней на полкѣ у задней стѣны большой кусокъ чернаго хлѣба и деревянная супная чашка; въ карманѣ былъ еще заношенный носовой платокъ, который я уже не разъ споласкивалъ подъ умывальникомъ холодной водой. Въ казарму входитъ арестантъ съ метлою и мететъ ею полъ и всѣ тюфяки. Я подхожу къ нему и спрашиваю: «Вы всегда одни метете, никто не смѣняетъ васъ?» Онъ отвѣчаетъ: — Вотъ три

дня я мету, а потомъ будетъ другой.— Онъ продолжалъ мести и, казалось, не былъ расположенъ разговаривать. Я отошелъ отъ него. На томъ же мѣстѣ сидѣлъ, какъ и третьяго дня, знакомый мнѣ и отчасти читателю А. В. Дамскій. Онъ шилъ башмаки. Поздоровавшись съ нимъ, я подсѣлъ къ нему и вступилъ съ нимъ въ разговоръ:

— Вы каждый день такъ усердно шьете?

«Нѣтъ,— отвѣтилъ онъ,— я кончу работу и продамъ ее на базарѣ, а потомъ пойду въ нарядъ, т.-е. со всѣми вмѣстѣ. Да иначе же и выйти отсюда нельзя, а сидѣть все согнувшись надъ этой работой тяжело».

— Такъ вы для отдыха ходите на работу?

«Да, тамъ все же проходка, увидѣть людей, да и продать надо работу».

Поговоривъ съ нимъ, я подумалъ о Кельхинѣ и пошелъ провѣдать его въ отдѣленіе неспособныхъ. Кельхина засталъ я вставшимъ, но онъ имѣлъ видъ усталый. Онъ встрѣтилъ меня любезно, спросилъ какъ я ночевалъ эту ночь, каково мнѣ здѣсь съ непривычки. Я отвѣтилъ ему: «еслибъ я прибылъ въ острогъ прямо съ воли, я былъ бы Богъ знаетъ въ какомъ отчаяньи; но я уже содержался подъ слѣдствіемъ и судомъ въ одиночномъ заключеніи восемь мѣсяцевъ въ казематѣ, потому одно мое желаніе было выйти оттуда, но куда же? На свободу я не могъ думать выйти, даже не желалъ по отношенію къ моимъ прочимъ товарищамъ, такъ куда же я могъ выйти?... Тутъ мнѣ самое подходящее мѣсто среди вашихъ сожителей, да тутъ же и вы, къ моему утѣшенію!... Таковы были мои первые съ нимъ бесѣды.

XIV.

Проходили дни одинъ за другимъ въ полномъ бездѣліи и я все болѣе ощущалъ потребность выхода на работу съ прочими и собирался заявить о томъ какъ можно скорѣе. Унтеръ-офицеръ Керсанфовъ,

которому я былъ порученъ, уходилъ каждый день съ арестантами и, по возвращеніи ихъ, я надѣялся его увидѣть и переговорить съ нимъ о желаніи моемъ выходить на работы, но, прежде чѣмъ я успѣлъ это сдѣлать, случилось происшествіе, поставившее меня къ нему въ непріязненные отношенія. Я былъ въ ожиданіи вечерняго возвращенія съ работы арестантовъ и вотъ при закатѣ солнца послышался звонъ кандаловъ и затѣмъ нахлынула въ камеру голодная шумная толпа, тутъ были всѣ и мои немногіе знакомые и мои друзья турки. Окончивъ ужинъ, многіе прохаживались, я перешелъ съ мѣста моего ночлега въ компанію турокъ, которые меня все болѣе интересовали и привлекали. Они помѣшались на нарахъ, болѣе отдаленныхъ отъ середины казармы, ближе къ задней стѣнкѣ острога. Перейдя къ нимъ, я сѣлъ возлѣ нихъ и мы бесѣдовали; вдругъ набѣжалъ на насъ, какъ собака, унтеръ-офицеръ Керсанфовъ и напалъ на турокъ за ихъ разговоры по-турецки и мнѣ какъ бы приказывалъ уйти на свое мѣсто. Турки смотрѣли, пожимая плечами, переглядывались, смѣялись надъ нимъ, ругали его по-турецки, но онъ не унимался и меня хотѣлъ чуть не увести отъ нихъ, тогда я не вытерпѣлъ, вскочилъ и закричалъ: «Убирайся, ты, къ чорту!.. Глупецъ! Какой дуракъ тебя ко мнѣ приставилъ?..» Слова мои его очень смутили и обидѣли, онъ отошелъ и, ставъ поодаль, смотря на меня, проговорилъ: — Вотъ какъ, и вы кричите на меня! Я доложу объ этомъ ротному. — Тутъ и другіе арестанты стали на него кричать: «Ну, чего лѣзете? вы же видите, человѣкъ сидитъ тихо и разговариваетъ! И безъ васъ тошно здѣсь, — уходите вонъ туда, — къ себѣ на кровать, — тутъ все благополучно»... Позднѣ всѣхъ возвратился въ казарму Биліо. Возвращаясь послѣ дневного труда, онъ всегда приносилъ городскія новости, сплетни и иногда газетныя извѣстія, и по приходѣ онъ былъ всегда окружаемъ многими. Приходя, онъ прежде всего привѣтствовалъ меня и часто жаловался на большой дневной трудъ. Въ этотъ разъ онъ мнѣ сообщилъ, что въ городѣ уже разнесся слухъ о моемъ прибытіи и вездѣ говорятъ и спрашиваютъ, что за

сосланный, за что и что случилось въ Петербургѣ и всякій, не зная, объясняетъ по своему. Большая часть относится съ участіемъ. Затѣмъ приготовлена была вновь, въ большой деревянной чашѣ, тюря изъ кваса, хлѣба и лука и я былъ въ числѣ немногихъ приглашенныхъ. Между нами были и вышеупомянутые Глушенко и Меншиковъ, компанія была бодро настроенная болтали, смѣялись, рассказывали.

XV.

Проживъ недѣли двѣ подъ ошеломляющимъ вліаніемъ совсѣмъ новыхъ для меня впечатлѣній, я сталъ все болѣе подумывать о крайней надобности мнѣ разъяснить мою дальнѣйшую жизнь относительно самыхъ необходимыхъ нуждъ. Первое, что дало себя почувствовать это, что я былъ съ самаго моего пріѣзда все въ одномъ и томъ же бѣльѣ,—не зная, какъ это будетъ далѣе, я счелъ нужнымъ переговорить съ ближайшимъ моимъ начальствомъ, помимо приставленнаго ко мнѣ глупаго надсмотрщика, прямо съ фельдфебелемъ, при приходѣ его. Онъ приходилъ два раза въ день—утромъ и вечеромъ. Его всѣ именovali по имени и отчеству, и я поступилъ такъ же: объяснивъ ему, что я, по пріѣздѣ моемъ, хожу въ одномъ своемъ бѣльѣ, я просилъ его приказать дать мнѣ казенное чистое бѣлье, на что онъ отвѣтилъ мнѣ:

— Здѣшнее, у насъ въ цейхгаузѣ, бѣлье грубое, для васъ неудобное. Арестанты всѣ, кто можетъ, носятъ свое бѣлье, и вамъ дозволяютъ носить ваше собственное, въ которомъ вы пріѣхали; надо доложить о томъ ротному. Я это сдѣлаю сегодня же, но вѣдь надо же вамъ будетъ и стирать бѣлье; арестанты большею частью отдають здѣшнимъ дешевымъ прачкамъ или стирають сами. Надо будетъ доложить ротному, и онъ это устроить. Объ васъ спрашиваютъ меня каждый день ротный командиръ и плацъ-майоръ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ была выражена мною и другая

просьба относительно выхода моего на работу вмѣстѣ съ прочими арестантами. Въ тотъ же день вечеромъ фельдфебель принесъ мнѣ и отвѣтъ:

— Все бѣлье ваше, привезенное вами съ собою, по приказанію коменданта, взято на храненіе для васъ ротнымъ командиромъ, и онъ и жена его поручили мнѣ вамъ передать, что они будутъ каждую недѣлю вамъ выдавать одну смѣну чистаго бѣлья, черное же, снятое вами, будетъ относиться къ нимъ для стирки.

Такой отвѣтъ былъ для меня неожиданностью: этотъ человѣкъ, столь грубо обошедшійся со мною въ день постриженія и побритія меня арестантомъ, будетъ надѣлять меня хранящимся у него моимъ бѣльемъ! На другой день подошелъ ко мнѣ одинъ изъ арестантовъ, на котораго я прежде не обращалъ вниманія,—высокій полный, съ жирнымъ лоснящимся лицомъ. Въ рукахъ у него былъ узелокъ—онъ принесъ мнѣ отъ ротнаго командира чистое бѣлье и заявилъ, что возьметъ у меня черное. Я очень удивился этому, — отчего передается мнѣ бѣлье не черезъ унтеръ-офицера, а черезъ арестанта какого-то, мнѣ неизвѣстнаго? Я спросилъ его имя и фамилію, онъ назвался Лялинымъ. Тѣмъ не менѣе, обмѣнъ бѣлья состоялся, и онъ ушелъ. Это мнѣ показалось страннымъ и возбуждало во мнѣ сомнѣнія и думы. Въ скоромъ времени оказалось, что это было новымъ тайнымъ надо мною надзоромъ въ средѣ арестантовъ. Первое время моего пребыванія въ острогѣ начальство очень опасалось, чтобы чего-либо со мною не случилось среди бродягъ и разбойниковъ, къ сожителству съ которыми я присужденъ былъ; оно должно было сохранить меня въ продолженіе 4-хъ лѣтъ и выпустить цѣлымъ и невредимымъ для исполненія дальнѣйшаго надо мною по приговору наказанія. Это, полагаю, и было причиною побуждавшею начальство относиться столь заботливо ко мнѣ. Упомянутый арестантъ не долго приносилъ мнѣ бѣлье: своими неумѣстными разспросами, съ желаніемъ отъ меня вывѣдать объ отношеніяхъ моихъ къ нѣкоторымъ арестантамъ, онъ возбуждалъ во мнѣ сомнѣнія, и я не захотѣлъ болѣе говорить съ нимъ и получать черезъ него мое бѣлье,

для этого есть у меня унтеръ-офицеръ, — и шпионскіе вопросы его и заботы обо мнѣ прекратились.

Въ слѣдующій затѣмъ день исполнена была и другая моя просьба черезъ фельдфебеля: мнѣ разрѣшено было выходить на работу вмѣстѣ съ прочими. Тутъ тоже видно было какъ бы заботливое обо мнѣ въ этомъ отношеніи распоряженіе — посылать меня на работы легкія. Но легкія въ смыслѣ начальства были физически не тяжелыя, а въ моихъ желаніяхъ были работы въ болѣе людныхъ мѣстахъ. Большая часть работъ однако же производилась не въ городѣ, а въ крѣпости, да и всѣ работы вообще, назначавшіяся арестантамъ, были, можно сказать, не тяжелыя.

XVI.

Въ предыдущемъ разсказѣ моемъ я часто упоминалъ о туркахъ. Группа иностранцевъ этихъ, мною столь неожиданно встрѣченныхъ въ арестантскомъ острогѣ, раздѣляющихъ со всѣми прочими суровое заключеніе, не могла не поразить меня несоотвѣтственностью ихъ мѣстонахожденія. Удивленный и, какъ оріенталистъ, обрадованный такою находкою, я сейчасъ же, какъ читатель уже знаетъ, обратился къ нимъ съ горячимъ привѣтствіемъ на ихъ родномъ языкѣ. Это мое обращеніе къ нимъ, громко, какъ бы внезапно отъ сердца излившееся въ первый же вечеръ моего вхожденія въ острогъ, удивило ихъ и сразу привлекло ихъ ко мнѣ. Дальнѣйшее сближеніе мое съ ними послѣдовало быстро, и они мнѣ, новичку, въ новой и трудной для меня обстановкѣ, оказывали постоянную помощь. Они были мои вѣрные друзья и слуги, которыхъ я съ самаго начала оцѣнилъ и которые въ продолженіе всей моей жизни въ острогѣ радовали мое сердце. Объ нихъ считаю моимъ долгомъ разсказать подробно теперь же, чтобы не прерывать дальнѣйшій разсказъ. Ихъ было 6 человекъ.

Ибрагимъ-ибнъ-Джамиль — мулла, уже немолодой

съ посѣдѣвшими волосами, но бодрый, лѣтъ 40, ростомъ ниже средняго, кожа лица и рукъ смуглая; черты лица правильныя, выраженіе серьезное, вдумчивое. У нихъ у всѣхъ оно было таковое подъ гнетомъ совершившейся надъ ними судьбы. Голова его была всегда покрыта шапочкою, опоясанною небольшою чалмою свѣтлаго цвѣта изъ простой ткани. Онъ представляется мнѣ и нынѣ въ болѣе обычной его позѣ, сидящимъ на нарахъ, съ поджатыми подъ себя ногами, среди своихъ земляковъ, рассказывающимъ имъ что-либо — поученіе или сказку. Онъ говорилъ своимъ народнымъ языкомъ, который скоро сталъ и мнѣ понятенъ. Его плавная, красивая, спокойная рѣчь разсказа перемѣнивалась нерѣдко ритмованнымъ размѣромъ. Изъ сказокъ этихъ только нѣкоторыя выраженія остались у меня въ памяти. Я вовсе не думалъ тогда, что теперь они были бы мнѣ такъ дороги, я передалъ бы на русскомъ эти живые рассказы, которые врядъ ли существуютъ въ печати и которые мнѣ посчастливилось слушать въ такомъ исключительномъ положеніи. Онъ любилъ передавать рассказы путешественниковъ, съ описаніемъ природы, — въ нихъ были сады, поля, лѣса, горы и моря, трудности путешествія; описывалось населеніе разныхъ мѣстностей, опасныя и забавныя встрѣчи, длинные утомительныя походы и странствія, пріятный отдыхъ и неторопливые переходы, гдѣ срывались цвѣты — нарциссы, тюльпаны, душистая сумбулъ, при угощеніи кофе и куреніи ароматнаго табака.

Лицо его было привѣтливо, оно оживлялось улыбкою, но смѣющимся я его не помню. Онъ ходилъ всегда на работу наравнѣ съ прочими и всегда въ кругу своихъ земляковъ. Онъ часто жаловался мнѣ на судьбу свою и своихъ соотечественниковъ, и что при нихъ даже нѣтъ молебной книги — алькорана, которая въ настоящее время, при неволѣ, была бы для всѣхъ ихъ большимъ утѣшеніемъ. Я слушалъ его рассказы, бесѣдовалъ со всѣми ими по-братски. Часто произносили онъ любимыя всѣми правовѣрными мусульманами слова: «Инша Аллахъ, инша Аллахъ!» (дастъ Богъ, дастъ Богъ) будемъ на волѣ вновь, но теперь надо сохранить намъ свои силы и душу отъ

упадка, отъ грѣха,—и заключалъ словами:—Альхамду Лиллаги (хвала Богу). Ихъ обычаи по религіи внушали имъ всѣмъ чистоту, омовеніе ногъ передъ молитвою, трезвую жизнь. Разказы муллы были только въ свободные праздничные дни.

Другіе члены этой замкнутой въ себѣ, какъ родной семьи были: 2) Мустафа-Халиль-оглу. Это былъ коренастый мужъ, выше средняго роста, смуглый, съ круглымъ лицомъ, полный собой, мускулистый матросъ или земледѣлецъ, лѣтъ 35, кроткій, тихій характеромъ. Я помню его большей частью сидящимъ или медленно прохаживающимся въ молчаніи, съ выраженіемъ лица добродушнымъ, задумчивымъ, грустнымъ: и было надъ чѣмъ задумываться и о чемъ грустить! 3) Джамиль-Джурга, былъ характеромъ противоположенъ предыдущему: небольшого роста, худой, живой, лѣтъ 30, лицомъ слегка рябоватый, горячій, оживленный. Исторія его жизни отличалась отъ прочихъ его земляковъ совершеннымъ имъ неудачнымъ побѣгомъ. Онъ былъ вмѣстѣ съ другими своими земляками первоначально въ военномъ острогѣ въ Севастополѣ, потомъ со всѣми вмѣстѣ переведенъ въ крѣпость Кинбурнъ, при устьѣ Днѣпра, нынѣ упраздненную; тамъ онъ одинъ изъ всѣхъ отважился совершить побѣгъ, но былъ пойманъ, преданъ суду и, по военнымъ законамъ, прогнанъ сквозь строй; все это ничѣмъ незаслуженное страданіе сдѣлало его еще болѣе задумчивымъ, молчаливымъ. (Портретъ его, мною нарисованный позже, сохранился у меня). 4) Мехмедъ Инглизъ (англичанинъ): лѣтъ 23, высокаго роста, тонкій, стройный, рыжій, характера веселаго, живого, подвижной, отличался ловкостью и хитростью. Выходя на работу и проходя съ другими по базарамъ города, онъ не считалъ грѣхомъ украсть, что могъ, и всего чаще приносилъ онъ куски мяса или плоды, овощи—все, что попадалось подъ руку, что можно было стащить. Онъ дѣлалъ это такъ ловко и проворно, что ни разу не попадался. Мулла говорилъ про него: «Онъ не былъ такой на родинѣ, а здѣсь имѣетъ будто бы оправданіе въ нашей бѣдности, мы всѣ его сраимъ, но онъ смѣется, говорить, что это не онъ крадетъ, а неволя и голодъ!» Объ немъ существуетъ разказъ,

переданный мнѣ не имъ самимъ, а его земляками. Года три тому назадъ Мехмедъ заболѣлъ какою-то болѣзнью съ жаромъ и бредомъ. Онъ былъ немедленно отправленъ въ военный госпиталь, въ арестантскую палату. Это было лѣтомъ въ августѣ мѣсяцѣ, и съ нимъ случилось происшествіе, оставившее по себѣ память на весь госпиталь: госпиталь былъ, какъ и острогъ, на крутомъ берегу Днѣпра. Мехмеду, въ жару и бреду, удалось какъ-то выскочить, на виду караула, изъ госпиталя. За нимъ бросились въ погоню, но, пока произошла тревога, онъ бѣгомъ сбѣжалъ съ крутизны и, бросившись въ Днѣпръ, поплылъ на ту сторону и скрылся въ камышахъ... Можетъ быть, такая холодная ванна его привела въ сознаніе. Это было вечеромъ, въ августѣ, и онъ былъ голый. Между тѣмъ въ госпиталѣ сдѣлалась тревога: — «Бѣжалъ арестантъ!» Посланы были за нимъ двѣ лодки, которыя переѣхали на другую сторону, и тутъ люди, бывшіе въ лодкахъ, услышали громкія стоны и крики, призывавшіе на помощь. Идя по направленію голоса, они нашли Мехмеда лежавшимъ на пескѣ, обсиженнымъ комарами по всему тѣлу. Онъ уже выбился изъ силъ отгонять ихъ, лежалъ и стоналъ. Его подняли, прикрыли и доставили обратно въ госпиталь; Побѣгъ этотъ не имѣлъ для него никакихъ послѣдствій, такъ какъ онъ былъ совершенъ не въ полномъ сознаніи. 5) Старикъ Османъ — былъ въ числѣ уже неспособныхъ, но иногда ходилъ вмѣстѣ съ другими на работу. 6) Абу-Турабъ — большой дылда, очень высокаго роста, простой матрость или феллахъ (земледѣлецъ). лѣтъ 35, личность безцвѣтная, обладалъ большой силой.

Такова была группа турокъ, отличавшаяся отъ нашей русской братіи, какъ уже выше сказано, чистотою, трезвостью и честностью. Всѣ они были бѣдны, никто изъ нихъ не зналъ никакого ремесла, носили казенное бѣлье. Не помню, чѣмъ они добывали себѣ вещи, необходимыя для жизни, но у нихъ были всегда мыло и полотенце. Между собою они дѣлились всѣмъ. При видѣ этихъ чужестранцевъ иного племени и подданства невольно рождается вопросъ, какъ они попали къ намъ въ Россію и угодили въ военный острогъ?!

Вопросъ этотъ разрѣшается конвенціею двухъ сосѣднихъ государствъ—Россіи и Турціи относительно турецкихъ контрабандистовъ, сбывавшихъ свои товары на черноморскомъ кавказскомъ берегу. Турецкое правительство предоставило полную власть російскому надъ пойманными контрабандистами, ея подданными, и послѣднее, захвативъ ихъ на самомъ дѣлѣ контрабанды, посадило сначала въ севастопольскій военный острогъ, а оттуда перевело въ херсонскій, безъ опредѣленія срока ихъ заключенія, и затѣмъ какъ бы забыло объ нихъ, а мѣстное начальство само не рѣшилось ходатайствовать объ ихъ освобожденіи, и они сидѣли уже годы въ этомъ острогѣ, куда я привезенъ былъ арестантомъ въ 1850 г. Такова была жестокая судьба, постигшая ихъ. Разсказъ ихъ о томъ, какъ это все случилось, представляетъ большой интересъ.

Они, выѣхавъ изъ одного изъ черноморскихъ портовъ Анатоліи, на большомъ морскомъ парусномъ суднѣ, съ грузомъ товаровъ всякихъ мелочей изъ издѣлій Малой Азіи, отправились открытымъ моремъ къ черноморскому берегу Кавказа. Тамъ продали все береговымъ черкесамъ, черезъ которыхъ привозимые ими предметы распространялись по ауламъ Кавказа. Эти, нынѣ плѣнные турки, были смѣлые, опытные моряки, вооруженные на случай битвы контрабандисты, умѣвшіе пользоваться и темнотою ночи и туманами. Путешествія эти они совершали нѣсколько лѣтъ благополучно и, забравъ мѣстные продукты Кавказа (лѣсъ), возвращались на свою родину, но счастье измѣнило имъ; и вотъ однажды, не помню, въ которомъ изъ сороковыхъ годовъ, сдавъ благополучно товаръ, они отплыли уже въ открытое море, какъ вдругъ застигнуты были военнымъ крейсеромъ.

Они попробовали защищаться, но сейчасъ же убѣдились, что это было невозможно. Ихъ всѣхъ съ судномъ забрали, и они доставлены были въ Севастополь, гдѣ и были посажены въ военный острогъ, наравнѣ съ прочими заключенными. Все имущество ихъ было отобрано, кромѣ бѣлья и платья. Такъ началась ихъ подневольная жизнь, и они уже были тамъ не первыми плѣнными.

Незадолго до ихъ прибытія, въ Севастополѣ была большая партія турокъ, которая, однако же, по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, спаслась отъ своего плѣненія бѣгствомъ моремъ, уплывъ на рабочемъ парусномъ суднѣ къ берегамъ Турціи. Вскорѣ послѣ этого происшествія въ Севастополь привезены были и тѣ турки, которыхъ я засталъ въ Херсонѣ. Вслѣдствіе возможности легкаго побѣга изъ Севастополя, послѣдовало распоряженіе о высылкѣ ихъ въ крѣпость Кинбурнъ при устьѣ Днѣпра, а потомъ, по упраздненіи этой крѣпости, они были перевезены въ херсонскую арестантскую роту. Они рассказывали, что жизнь ихъ въ севастопольскомъ острогѣ была несравненно легче, главнымъ образомъ по близости моря, любимой ихъ стихіи, съ которой они сроднились съ малолѣтства. Побѣгъ, совершенный ихъ предшественниками, рассказанъ мнѣ былъ ими съ особеннымъ увлеченіемъ и заслуживаетъ быть упомянутымъ въ этомъ описаніи.

Партія турокъ, заключенная въ севастопольскомъ острогѣ, была больше ихъ числомъ; они прожили тамъ нѣсколько лѣтъ, оказались хорошими работниками и, по своей спокойной и трезвой жизни, пользовались довѣріемъ начальства. Въ городѣ были работы, соединенныя съ привозомъ матеріала (песку, глины и пр.) съ береговыхъ, но не въ самой близи лежащихъ острововъ. Турокъ, какъ матросовъ, назначали на эти поѣздки. Приготовившись къ побѣгу, взявъ пищи и все необходимое, утромъ рано сѣли они въ большую, рабочую, парусную лодку. Ихъ сопровождали, какъ обыкновенно, два конвойныхъ съ ружьями и унтеръ-офицеръ съ тесакомъ. Разстояніе отъ берега было не очень близкое, и, отчаливъ, они натянули парусъ. По проѣздѣ порядочнаго уже разстоянія унтеръ-офицеръ замѣтилъ, что лодка идетъ не къ мѣсту назначенія, а прямо въ открытое море. Онъ сказалъ рулевому держать къ острову, но въ это время всѣ турки встали и, обезоруживъ конвойныхъ и унтеръ-офицера, объявили, что они плывутъ въ Турцію. Изумленные проводники ихъ закричали и стали просить о возвращеніи, но лодка вѣтромъ уносилась все далѣе въ море. Тогда турки запѣли священныя пѣсни, поздравляли другъ

друга и своихъ русскихъ спутниковъ считали уже своими товарищами по отплытію въ безбрежное море и дѣлились съ ними запасами пищи, утѣшали и уговаривали ихъ, что, Богъ дастъ, они привезутъ ихъ въ свою родину, гдѣ жить людямъ лучше, вольнѣе, а они избавятся отъ 25-ти-лѣтней солдатчины. Отважные мореплаватели плыли весь день и ночь, уносимые попутнымъ вѣтромъ, къ берегамъ Турціи. Унтеръ-офицеръ плакалъ и жаловался на свою судьбу. Наступила ночь, руководителемъ направленія были однѣ звѣзды. Къ утру, на разсвѣтѣ, они увидѣли вдали берегъ и, подѣхавъ ближе, узнали крѣпость Варну. Проѣхавъ въ отдаленіи, они приблизились къ берегамъ Балканскаго полуострова и къ утру другого дня увидѣли Константинополь. Когда они пристали, то, покинувъ лодку, всѣ ушли и съ ними вмѣстѣ ушли и двое конвойныхъ, а унтеръ-офицеръ, оставшись одинъ въ лодкѣ, заявилъ о себѣ и о случившемся въ русскомъ посольствѣ. Тамъ, конечно, въ немъ приняли участіе и при первой возможности посадили на пароходъ въ Севастополь. Высадившись на родинѣ, онъ явился своему начальству, и тутъ пошли для него терзанія—онъ былъ арестованъ, отданъ подъ судъ и лишился унтеръ-офицерскаго чина, такъ что было и о чемъ сожалѣть впослѣдствіи. Таковъ былъ разсказъ турокъ объ этомъ славномъ побѣгѣ ихъ земляковъ.

— Теперь уже,—говорилъ мулла,—убѣжать нельзя, надо ждать, что Богъ дастъ!

Разсказъ же обо всемъ ихъ плаваніи и прибытіи въ Константинополь былъ сообщенъ вернувшимся отсюда унтеръ-офицеромъ.

О дальнѣйшей судьбѣ описанныхъ мною турокъ въ херсонскомъ острогѣ я узналъ впослѣдствіи, по прошествіи болѣе 20 лѣтъ послѣ выхода моего изъ острога. Они были освобождены изъ ихъ безсрочнаго заключенія по окончаніи Крымской кампаніи, вмѣстѣ съ прочими плѣнными турками.

XVII.

Нѣтъ возможности рассказывать все въ послѣдовательности, какъ и что было со мною и совершалось на моихъ глазахъ въ продолженіе всего моего пребыванія въ этой многострадальной обители. Первые дни, о которыхъ я рассказывалъ, запечатлѣлись въ моей памяти сильнѣе послѣдующихъ. Житіе мое въ новой моей обстановкѣ съ каждымъ днемъ становилось мнѣ все болѣе обыкновеннымъ, и вся послѣдующая жизнь какъ бы ступевалась въ моей памяти; остались въ ней только общность, сущность всего видѣннаго: обычныя явленія арестантской жизни и нѣкоторыя только чѣмъ-либо выдававшіяся происшествія—по отношенію къ общей жизни обитателей острога или же ко мнѣ лично.

Общее описаніе острога и жизни въ немъ заключенныхъ.

Зданіе острога каменное, старое на крутомъ правомъ берегу Днѣпра. Живущихъ въ немъ было числомъ около 200 человѣкъ. Въ длину оно раздѣлялось внутреннею стѣною на двѣ равныя половины—для двухъ казармъ—выходившія въ общія большія сѣни. Жилище это было полутемное, внутреннія стѣны его какъ-бы закоптѣлыя, оконъ было немного и всѣ они были небольшія съ маленькими клѣточными стеклами, деревянныя рамки которыхъ, а также и снаружи мелкія желѣзныя рѣшетки отнимали значительную часть свѣта. Окна въ каждой казармѣ были только съ одной стороны; въ первой (при входѣ со двора въ сѣни) казармѣ, неспособныхъ, они выходили на маленькій арестантскій дворъ, во второй—на крѣпостную площадь. Въ каждомъ отдѣленіи, по обѣимъ сторонамъ были двойныя (верхнія и нижнія) нары. И въ томъ и въ другомъ были для оконъ свободныя между нарами промежутки. У самага входа изъ сѣней въ каждой половинѣ была

большая русская печь, прислоненная ко внутренней стѣнѣ. Топка ихъ производилась камышемъ. Посрединѣ казармы, въ каждомъ отдѣленіи былъ проходъ длиною во всю казарму, шириною около 5—6 аршинъ. Въ каждомъ отдѣленіи, на половинѣ его, надъ срединнымъ проходомъ, верхнія нары обѣихъ сторонъ соединялись лежащею на нихъ широкою полкою—доскою со спинкою кзади. Полка эта, какъ уже было упомянуто, уставлена была образами въ кіотахъ или рамкахъ часто съ горѣвшими передъ ними лампадами. Огнѣпоклонники деревяннаго масла усердно поддерживали свою копоть. Посрединѣ каждой въ наружной стѣнѣ находилась небольшая отдушина въ родѣ вентилятора.

Оба отдѣленія выходили въ общія просторныя сѣни. Въ сѣняхъ помѣщались умывалка, ушаты, кадки для воды, метла и другія хозяйственныя вещи. Сѣни эти были съ выходомъ: съ одной стороны—на дворъ, постояннымъ—зимою и лѣтомъ, съ другой же—противоположной—съ выходомъ (только для лѣта) на площадь крѣпости, замыкавшимся плотно на зиму, сдвигающимися двумя половинками дверей и снаружи ихъ желѣзная большая рѣшетка, отмыкавшаяся небольшою калиткой и только въ лѣтніе мѣсяцы.

Дворъ огражденъ былъ высокой, толстой, каменной стѣною. На немъ (какъ уже сказано) были кухня и отхожее мѣсто.

Въ правомъ отдѣлѣ двора, поодаль отъ стѣны, росло большое дерево, весною цвѣтшее душистыми цвѣтами бѣлой акаціи.

XVIII.

Осторожная жизнь.

Попробую представить жившихъ со мною въ описанномъ домѣ—картинами въ различное время дня и ночи.

Зима, январь 1850 года. Воскресный день, восьмой часъ утра. Разсвѣтаетъ. На гауптвахтѣ у самаго острога бьется утренняя заря: люди просыпаются, но не вскакиваютъ торопливо, какъ въ будніе дни, нѣкоторые дремлютъ, иные встаютъ. Праздничный день цѣнится ими, какъ спокойный, безъ криковъ и торопливыхъ понуканій. Каждому дозволено дѣлать, что онъ хочетъ, въ замкнутомъ пространствѣ острога,—въ предѣлахъ, конечно, ничегонедѣланія. Арестанты, когда не торопятся, въ праздничные дни дѣлаютъ тоже туалетъ очень простой, но у кого есть чистое бѣлье, тотъ надѣваетъ его, и моются они въ этотъ день почище будняго дня. Въ казармѣ тишина и нѣтъ еще никакой толкотни въ срединномъ, узкомъ по числу жителей проходѣ; иные подходятъ къ образамъ—шепчутъ молитвы. Затѣмъ начинается день: чаю ни у кого въ заводѣ не было, и никто о немъ не упоминалъ. Люди прохаживались взадъ и впередъ или сѣли на нары кучками бесѣдующихъ, но о чемъ говорить? Новостей извнѣ не приходитъ, внутри все безсмѣнно одно и то же, книгъ ни у кого нѣтъ, большинство безграмотны. Это совершенное бездѣйствіе оторванныхъ отъ жизни людей, въ запертомъ, тѣсномъ жилищѣ, лишенныхъ всякаго развлечения, въ совершенно однообразной, изо дня въ день повторяющейся обстановкѣ, въ праздникъ еще считающихъ грѣхомъ всякую работу, если бы у кого и была такая, оказываетъ притупляющее вліяніе на душевное состояніе. Этимъ положеніемъ они обречены, повидимому, на полное безмысліе—это безцѣльно-движущіеся автоматы. Но размышленіе это вѣрно только съ перваго взгляда. Такая жизнь, конечно, не изошряетъ, а притупляетъ всякую умственную дѣятельность, но у каждаго изъ этихъ несчастныхъ, лишенныхъ свободы, обреченныхъ на годы безжизнья, есть свое прошедшее,—оно, по утратѣ, стало еще милѣе прежняго и глубоко врѣзалось въ памяти, какъ драгоценное, незабвенное, неуываемое. Оно всегда при нихъ, какъ живое, но постоянно оплакиваемое. Настоящее, какъ бы ни было скверно, можетъ заслонить его только временно, но отнять его отъ насъ оно не можетъ. Прожитое прошедшее оставляетъ неотъемлемую часть нашей жизни,

и вотъ, въ свободные дни, въ праздники, никѣмъ не понукаемые жители острога могутъ всего легче предаваться естественному ходу мыслей, влекущихъ ихъ въ воспоминанія. Эти-то воспоминанія и составляютъ предметъ ихъ размышлений наиболѣе въ праздничные дни и въ дообѣденное время, когда они сидятъ молча или прохаживаются въ одиночку, раздумывая, какъ бы ничего не видя. И вотъ, передъ глазами такого погруженнаго въ думу встаетъ его родной уголокъ, деревня, село, городъ, семья, люди, въ средѣ которыхъ онъ жилъ, любимые имъ. Воспоминанія людей безконечно разнообразны, и они-то у заключенныхъ составляютъ самую лучшую часть жизни, а сонъ, съ его сновидѣніями, нерѣдко открываетъ намъ и то, что нами было совсѣмъ забыто. Позднѣе, на моихъ же сожителяхъ, я удостовѣрился въ томъ, что сидящіе въ одиночку въ молчаніи уносятся въ міръ видѣній прошлаго. Примѣромъ тому вспоминаются мнѣ многіе, отвѣчавшіе мнѣ на вопросъ: о чемъ задумались? «Такъ, ничего,— задумался о прошломъ!» И это было большею частью въ праздникъ и въ дообѣденное время. Въ такое время они наиболѣе расположены были вести съ кѣмъ-либо тихую бесѣду о быломъ въ своей жизни, подѣлиться своимъ горемъ. Рѣдко случалось мнѣ отъ нихъ слышать что-либо жестокое, противное нравственнымъ чувствамъ; подробности разсказаннаго о какомъ-либо совершенномъ преступленіи сглаживаютъ, смягчаютъ вину,—особенно если примѣшивается къ тому горькое сожалѣніе и сознаніе заслуженнаго наказанія. Въ праздничный день всего удобнѣе бесѣдовать съ ними о прошломъ и вызвать откровенный разсказъ. Въ этомъ отношеніи вспоминаются мнѣ бесѣды со многими изъ числа описанныхъ.

Морозовъ разсказывалъ мнѣ о своемъ прегрѣшеніи, нѣмецъ колонистъ—о своемъ убійствѣ изъ ревности, Еремѣевъ—о своихъ странствіяхъ въ Анатолиі; Глушенко—о совершенномъ имъ убійствѣ злодѣя ротнаго командира; Степанъ Колюжный—о своей невинности въ совершенномъ его пріятелями убійствѣ.

Также въ праздничные дни жители острога бываютъ наиболѣе расположены и къ другому рода теченію мыслей: какъ бы ни были жестоки людскіе суды,

назначающіе нерѣдко и пожизненные наказанія, обрекающія на вѣчную неволю, но никто въ сердцахъ своемъ не можетъ вѣрить въ исполненіе того, а хранить надежду на освобожденіе раньше срока такъ или иначе, и если теряетъ ее, то замышляетъ, обдумываетъ побѣгъ, какъ единственное спасеніе, и совершаетъ его нерѣдко при самыхъ неожиданныхъ обстоятельствахъ, немыслимыхъ для глазъ и ушей самыхъ бдительныхъ сторожей острога.

Но вотъ настало обѣденное время. Всякій спѣшитъ за своею порціей, которая въ праздникъ нѣсколько питательнѣе—болѣе крѣпкій мясной отваръ, и болѣе въ немъ крупы. Въ эти дни, кто имѣетъ возможность, выпиваетъ. Обѣдъ скоро кончается, во многихъ уголкахъ бесѣда оживленнѣе, громче; слышны смѣхъ, возгласы, порою шутливыя ругательныя слова. Въ срединномъ проходѣ движенія учащаются, люди сталкиваются и отпускаютъ другъ другу непривѣтливныя слова, кандалы бренчатъ повсюду. Въ эти дни мнѣ было наиболѣе скучно, такъ какъ выходъ на работу, какая бы она ни была, доставлялъ мнѣ развлеченіе и отдыхъ отъ казармы. Многіе изъ жителей острога послѣ обѣда ложились на нары и засыпали, и я отъ скуки ложился. Въ утреннее время я большею частью бесѣдовалъ съ арестантами и всегда нѣкоторую часть утра проводилъ среди турокъ и посѣщалъ стариковъ (въ сравненіи съ тогдашнею моею молодостью) Кельхина и Воронова. И здѣсь, какъ въ тѣсномъ казематѣ, повторялось безпріютное *верченіе* въ самомъ себѣ, но оно было все же не столь однообразно, и меня окружали не голыя стѣны, а люди, также страдающіе, какъ и я, и это мирило меня съ обстановкой. И жилище мое было просторнѣе, съ возможностью всегда выйти подышать воздухомъ на дворѣ.

Въ средѣ сожителей моихъ, съ которыми пришлось мнѣ жить въ такомъ общеніи, не было людей талантливыхъ или любителей чего-либо,—это была обыкновенная безцвѣтная людская толпа. Пѣсни я почти не слышалъ за все время, кромѣ иногда одиночныхъ и мало характерныхъ. Пѣвцовъ не было вовсе, скучно было—очень скучно!

Въ январѣ темнѣло рано, — часа въ четыре съ половиною. Зажигались мерцавшіе огнями деревяннаго масла свѣтильники—маленькія и рѣдкія лампы. У арестантовъ были въ запасѣ свѣчи, и свѣчку или огарокъ можно было всегда купить для вечерней работы, игры въ карты или для какого-либо другого дѣла.

Вечеромъ послѣ ѣды допивалась водка—если оставалось что отъ обѣда, а то и новзя приносилась унтеръ-офицерами, которые пили тоже. Бесѣды отдѣльными группами оживлялись. Движенія въ срединномъ проходѣ учащались еще болѣе, а съ ними и тихое бряцанье цѣпей. Этотъ тихій перезвонъ желѣзныхъ колець нисколько не беспокоилъ меня, но при общей тишинѣ навѣвалъ на меня особаго рода думы о безуміи людскомъ, налагавшемъ на своихъ ближнихъ тяжелыя цѣпи и позорныя клейма! Позднѣе уже появлялся Биліо,—личность, оставшаяся мнѣ и по сію пору загадочною. По приходѣ онъ всякій разъ окруженъ былъ арестантами и рассказывалъ имъ мѣстные новости. Я вновь возлежалъ съ нимъ на нарахъ. Каковъ бы онъ ни былъ, но ко мнѣ онъ былъ искренно расположенъ. Болтали, смѣялись и затѣмъ расходились по своимъ мѣстамъ. А на верхнихъ нарахъ слышны были разговоры за игрою въ карты. Такова была печальная жизнь заключенныхъ херсонскаго военнаго острога. Сонъ успокаивалъ все, и безсонницы, кажется, ни у кого не было,—несмотря на неудобное ложе — жесткое и грязное.

Большіе праздники отличались обиліемъ пищевыхъ приношеній благотворителей. Между ними преобладали бѣлыя булки, пироги съ кашею, горохомъ. Свирина, иногда говядина подавались разрѣзанными порціями. На свѣтломъ праздникѣ, конечно, были творогъ, пасха, куличи, яйца и другія яства. Ими заставлялся узкій длинный столъ, состоявшій просто изъ досокъ, клавшихся на перекладыны, приносимыя къ обѣденному часу и затѣмъ убираемый—для освобожденія прохода. За супомъ и за кашей съ саломъ ходили сами въ кухню. Ко мнѣ поваровъ были особенно благосклонны при раздачѣ порцій. Послѣ, и даже за обѣдомъ, уже появлялись бутылки съ водкою, пьянство

было порядочное, въ казармѣ громкіе разговоры, шумъ и споры—до драки не доходило.

Объ упомянутыхъ въ этой главѣ новыхъ личностяхъ (колонистѣ, нѣмцѣ, Колюжномъ и Еремѣевѣ) не было ничего сообщено на предыдущихъ страницахъ, потому считаю не лишнимъ, въ виду послѣдующаго разсказа, дополнить недостающее.

Колонистъ нѣмецъ—Іоганъ Куммеръ былъ человѣкъ лѣтъ 45, средняго роста, брюнетъ, съ крупными чертами лица. Онъ держалъ себя сосредоточенно, былъ задумчивъ и молчаливъ, прохаживался медленно. Однажды въ праздничный день онъ разсказывалъ мнѣ тревожнымъ голосомъ, по-нѣмецки, о своемъ злоключеніи, когда онъ изъ ревности убилъ человѣка.

Несмотря на тягость совершеннаго имъ преступленія, онъ былъ изъ числа срочныхъ и отбывалъ свои годы въ надеждѣ возвращенія къ свободной жизни—въ свою колонію.

Еремѣевъ Дементій (Еремка-пьяница), человѣкъ этотъ хорошо сохранился въ моей памяти: средняго роста, лѣтъ 40, лицомъ рябоватый; къ спокойной бесѣдѣ не склонный. Онъ умѣлъ шить обувь и тѣмъ зарабатывалъ себѣ кое-что. По праздникамъ принаряжался, но сильно запивалъ и любилъ картежную игру. Откуда онъ родомъ мнѣ осталось неизвѣстнымъ, да онъ, кажется, скрывалъ свое происхожденіе отъ всѣхъ, и откровенная бесѣда съ нимъ была бы невозможна. Онъ былъ въ Сибири, оттуда бѣжалъ и, пойманный, вновь уходилъ и наконецъ для безопасности ушелъ въ азіатскую Турцію, гдѣ странствовалъ нѣсколько лѣтъ и научился турецкому языку, но, соскучившись по родинѣ, возвратился въ Россію и, какъ бѣглецъ, послѣ разныхъ странствій попалъ въ херсонскій острогъ. Попадался онъ черезъ свое пьянство. Арестанты болѣе опытные замѣчали на его лбу и скулахъ слѣды клеймъ, которыя выступали слегка красными линиями при всякомъ его разгоряченіи въ пьяномъ видѣ и послѣ бани. Ближайшее начальство, вѣроятно, замѣчало то же, но поведение его все же не подавало повода къ возбужденію противъ него никому не нужнаго дѣла. Онъ одинъ, кромѣ меня, говорилъ съ турками на ихъ

родномъ языкѣ и говорилъ бойко, простонароднымъ языкомъ. Турки отзывались о немъ, какъ о пьяницѣ, много крутившемъ жизнью.

Степанъ Колюжный (Степа-молодчикъ): маленькаго роста, юный, круглолицый блондинъ, — красавчикъ, съ голубыми глазами. Онъ привлекалъ меня своею наружностью и тихимъ, кроткимъ нравомъ, а между тѣмъ онъ, несмотря на свою молодость, былъ отягченъ кандалами. Онъ былъ извѣстный въ острогѣ плясунъ. Глядя на него, невольно возникалъ вопросъ, что могъ онъ совершить, чтобы быть присужденнымъ къ такому тяжелому наказанію? Изъ разговора съ нимъ о его дѣлѣ я ничего не могъ выяснить. Онъ не считалъ себя виновнымъ. Теперь только пришлось мнѣ впервые уразумѣть, какое огромное упущеніе было съ моей стороны пренебречь выясненіемъ тогда же возникавшихъ во мнѣ вопросовъ, — по отношенію столькихъ на моихъ глазахъ проходившихъ фактовъ.

XIX.

Будній рабочій день арестантовъ.

На работу выходили обыкновенно съ разсвѣтомъ во всякое время года и возвращались съ закатомъ солнца. Съ наступленіемъ сумерекъ, арестантовъ, какъ бы стадную и даже опасную скотину, загоняютъ въ острогъ. Таковъ тюремный уставъ на всѣ времена года. Зимой это не такъ чувствительно, — погода, если и не морозная, то свѣжая, поэтому и возвращаться въ теплую казарму не тяжело, но лѣтомъ — работать на жару цѣлый день, а когда для всѣхъ наступаетъ прохладный вечеръ и свободно проживающіе жители выходятъ подышать чистымъ воздухомъ въ сады, поля, лѣса, — арестантовъ лишаютъ этого дарованнаго природой всему живущему отдохновенія и запираютъ въ душную, биткомъ набитую тюрьму съ маленькимъ дворикомъ. Все это людскія измышленія, отягчающія и

такъ уже тяжелую и короткую жизнь человѣка... И мнѣ пришлось испытать это на себѣ самомъ... Уже не разъ описаны были пробужденіе отъ сна и поспѣшное вставаніе арестантовъ съ уходомъ на дворъ. За стѣною люди, выведенные на работу, становились въ рядъ, одинъ подлѣ другого, за ними стояла вооруженная стража. При этомъ присутствовало ближайшее начальство—фельдфебель, унтеръ-офицера и командированное какое-либо лицо отъ инженернаго управленія, со спискомъ въ рукѣ, въ которомъ написаны требованія на предстоящія работы извѣстнаго числа рабочихъ. Затѣмъ однимъ изъ унтеровъ отсчитывались по означеннымъ числамъ рабочіе на каждую группу, къ которой тутъ же назначалось нужное число конвойныхъ съ острожнымъ унтеръ-офицеромъ, причемъ число вооруженной стражи назначалось всегда, по крайней мѣрѣ, второе менѣе числа рабочихъ. Каждая группа, отсчитанная, отправлялась сейчасъ же. Большая часть работъ производилась въ границахъ крѣпости, но окружавшій ее валъ обнималъ большое пространство, и населеніе его было не малое. Зимой производились работы печныя, рубка дровъ, переноска строительнаго матеріала, расчистка улицъ отъ снѣга, если былъ таковой. что случалось рѣдко, такъ какъ большею частью стояли вѣтры, небольшие морозы и гололедица. Какія еще были работы—не помню. Арестанты всѣ были въ полушубкахъ, конвой же въ однихъ своихъ солдатскихъ шинелькахъ. Таковые порядки были при Николаѣ I: военное министерство держалось строгаго, суроваго режима: русскій солдатъ долженъ переносить все, и холодъ и зной, долженъ быть сытъ безъ достаточной пищи, совершать безъ усталости походы и переносить безропотно всѣ тягости службы и побои въ теченіе 25 лѣтъ.

Въ первый разъ, когда я вышелъ со двора въ общій арестантскій нарядъ, встрѣтилось недоразумѣніе, въ какую группу назначить меня. Имѣлось въ виду, по заботливости обо мнѣ начальства, посылать меня на работу болѣе мелкую и чистую. Таковою оказалась рубка дровъ, и я изъявилъ желаніе стать въ числѣ назначенныхъ на рубку дровъ. Начальство не

возражало, и я отправился съ прочими на инженерный дворъ. Нарядъ былъ небольшой—человѣкъ 8. Распредѣлялось, кому пилить, кому рубить, розданы были пилы и топоры. Я взялъ топоръ, но какой-то начальствующій инженерными работами, одѣтый по формѣ инженернаго вѣдомства, молодой человѣкъ, можетъ быть, нѣсколькими годами старше меня, средняго роста, красивый, стройный мужчина, поговоривъ съ унтеръ-офицеромъ, подошелъ ко мнѣ и предложилъ мнѣ оставить топоръ, такъ какъ «рабочихъ рукъ — сказалъ онъ — довольно, а вамъ такая работа непривычна».

Это былъ первый, на свободѣ живущій, человѣкъ въ Херсонѣ, который показалъ мнѣ свое сочувствіе и участіе, — первый, который привлекъ меня къ себѣ — Александръ Михайловичъ Бушковъ. Онъ имѣлъ непосредственное наблюденіе надъ всѣми инженерными работами и подъ своимъ начальствомъ цѣлую команду, такъ называемыхъ, военно-рабочихъ. (Въ числѣ ихъ были и выпущенные уже на волю изъ числа арестантовъ). Я поупрямился оставить работу и выражалъ желаніе и даже необходимость мнѣ, въ моемъ положеніи, хорошей проходки и тѣлодвиженія, — тѣмъ не менѣе, по просьбѣ его, я въ этотъ разъ оставилъ работу и вступилъ съ нимъ въ разговоръ, который меня интересовалъ. Онъ мнѣ сказалъ, что здѣсь, въ этомъ домѣ, живетъ инженеръ Николай Евстафѣевичъ Рудыковскій, который желалъ бы познакомиться со мной, «но, — прибавилъ онъ, — крѣпостное начальство имѣетъ объ васъ строгія предписанія и всякій вашъ шагъ будетъ извѣстенъ ему, потому надо нѣсколько подождать». Онъ ушелъ со двора, и я принялся было вновь за рубку дровъ, но арестанты смѣялись и тоже пригласили меня не браться за топоръ и вовсе не думать о томъ. «Никому не нужна ваша работа, и безъ васъ она будетъ сдѣлана». Тѣмъ не менѣе я началъ рубить дрова, для освѣженія застоявшейся крови, и, порубивъ немного, оставлялъ и потомъ опять рубилъ, — я хотѣлъ привыкнуть рубить дрова. Другого дѣла не было у меня, и это было первое мое дѣло въ арестантской ротѣ. Рубка дровъ начинала меня интересовать, и я,

не утруждая себя, съ отдыхами производилъ ее и тѣмъ быть доволенъ собою. Арестанты смѣялись.

Запасы дровъ были большіе, и рубка ихъ продолжалась нѣкоторое время. Я назначаема былъ на эту работу всегда, когда требовался на то нарядъ.

Другая работа моя, или, лучше, работа, при которой я присутствовать, которая мнѣ вспоминается, это кладка печей. Она производилась печниками, и я быть въ сторонѣ отъ этой работы, но это производилось въ комнатахъ и въ нихъ мнѣ удавалось встрѣчаться съ жителями квартиры. Всѣ мимо проходящіе смотрѣли на меня съ любопытствомъ, но никто не отважился говорить съ сосланнымъ по политическому дѣлу арестантомъ. Въ работѣ этой я не участвовалъ, но все же было лучше, чѣмъ сидѣть безвыходно въ каземтѣ. Во-первыхъ, проходка, а во-вторыхъ, я увидалъ и нѣкоторые новыя люди, кромѣ тѣхъ, которые меня каждый день окружали. Изъ другихъ работъ были переноски строительнаго матеріала, при которыхъ я только присутствовалъ такъ какъ арестанты не допускали меня брать на себя тяжести. Однажды, помню я, поднимали нѣкое утро наверхъ ординарскую большую печь — железную, чугунную печь. Съ этимъ была связана работа, требовалось уложить, чтобы вся эта тяжесть не провалилась на землю и не убила кого-нибудь. Тогда, по истеченіи 12 летъ, я въ совершенномъ молчаніи вспоминаю какія эти работы производились въ каземтѣ, въ каземтѣ каземта, кромѣ упомянутыхъ людей. Изъ этихъ работъ дровъ было для меня самое интересное и желательное, на которое я вѣрнее и чаще всего съ наслажденіемъ Н. Е. Гусевымъ, что являлся для меня самымъ благоприятнымъ обстоятельствомъ.

XX

Послѣднее обстоятельство арестантской работы и моего въ ней участія въ томъ, что я былъ самымъ первымъ, кто въ каземтѣ въ работѣ участвовалъ, и въ вознагражденіи

въ казарму, чувствовалъ себя нѣсколько освѣженнымъ прогулкою и встрѣчами съ новыми лицами, которыя случайно проходили мимо партіи арестантовъ. Тягость моего положенія, однако же, чувствовалась постоянно. Немногіе изъ жителей острога доставляли мнѣ нѣкоторое развлеченіе, ихъ было очень мало, и они всѣ, проведя годы острожной жизни, уже привыкли, приспособились къ оной, и на нихъ уже былъ отпечатокъ покорности своей судьбѣ, хотя въ тайникѣ души у каждаго тлилась искра надежды на освобожденіе — окончаніемъ ли недолгаго уже срока, или царскимъ манифестомъ, или же, наконецъ, постоянно замышляемымъ и обдумываемымъ побѣгомъ.

Я томился, скучалъ полнымъ бездѣліемъ, оторванный ото всѣхъ моихъ привычныхъ занятій. Читать и писать что-либо было немыслимо; надсмотрщики надо мной отняли бы у меня всякій къ тому матеріалъ. Кромѣ этой скуки, которой я томился, оторванный отъ всего свѣта, тяготила меня ежеминутно страшная, совсѣмъ непривычная мнѣ нечистота, которую я не испытывалъ и при всѣхъ лишеніяхъ одиночнаго заключенія въ крѣпости, — я, какъ уже сказано, былъ осыпаямъ блохами и вшами; первыя совались повсюду, даже скакали въ ротъ. Все это не могло быть безропотно переносимо, и я страдалъ и мучился. Въ первые мѣсяцы моей жизни въ острогѣ, терпя столь тяжелое горе, я все болѣе проникался мыслью о несоразмѣрности наложеннаго на меня жестокаго наказанія съ моею ничтожною провинностью, если таковою можно назвать найденныя между моими бумагами случайныя мысли, набросанныя перомъ или карандашемъ на одиночныхъ листкахъ.

И мнѣ все чаще, въ первые мѣсяцы, приходило на мысль, что ссылка моя въ арестантскую роту была только для устрашенія: обстригли подъ гребенку, побрили головы и заставили надѣть арестантскія куртки и шапки, на нѣкоторыхъ даже навѣсили кандалы. Мнѣ казалось, что это не можетъ продлиться долго. Въ назначенный мнѣ четырехлѣтній срокъ я никогда не вѣрилъ, и въ первые мѣсяцы мнѣ казалось, что ежедневно я могу быть возвращенъ въ мою прежнюю

жизнь. Объ этомъ тайномъ моемъ помышленіи я не говорилъ никогда никому, но оно было во мнѣ и поддерживалось несоразмѣрно большимъ наказаніемъ. Проходили, однако же, мѣсяцы, и я все сидѣлъ въ острогѣ, все ждалъ; наконецъ, прошло уже болѣе полу-года, и я убѣдился въ томъ, что это не шутка, а ссылка настоящая — дѣйствительная, неотмѣняемая. Что же дѣлать? Оставалось терпѣть.

Между тѣмъ настала масленица, великій постъ — дни благочестія, молитвы и раскаянія. И великіе грѣшники, жители острога, допускаемы были тоже къ посѣщенію храмовъ. Они водились въ соборную церковь небольшими партіями по обыкновеннымъ воскресеніямъ, а въ великій постъ они допускаемы были и къ говнію. Я всегда старался бывать за обѣдней, въ числѣ партіи, назначенной въ церковь; человекъ двадцать числомъ и болѣе, въ сопровожденіи одного унтеръ-офицера и многихъ конвойныхъ, которые, оставивъ ружья при входѣ въ церковь, входили въ нее тоже и становились возлѣ арестантовъ, которые всѣ вмѣстѣ занимали всегда одно и то же мѣсто—справа по входѣ въ соборъ, въ небольшомъ углубленіи капитальной стѣны, позади вольныхъ мірянъ. Я былъ среди нихъ и старался бывать сколь возможно часто.

И вотъ на первой недѣлѣ великаго поста я стоялъ въ соборѣ между арестантами; мы говѣли. Въ предыдущей моей жизни я пересталъ совсѣмъ бывать въ церкви, считая это тратою времени, но тогда, при безвыходномъ моемъ заключеніи въ казармѣ, это было для меня отдыхомъ и развлеченіемъ. Мои сожители внимали церковному пѣнію и усердно молились, нѣкоторые съ колѣнопреклоненіемъ. Мы ходили два раза въ день и возвращались по окончаніи вечерняго служенія, нѣсколько позже обыкновеннаго по отношенію къ закату солнца. Въ пятницу вечеромъ арестанты допущены были къ исповѣди. Они подходили, входили и выходили одинъ за другимъ довольно скоро; выйдя, молились подъ образами и становились на свои мѣста. Очередь дошла до меня, и я вошелъ въ завѣшанное исповѣдное мѣсто. Въ немъ сидѣлъ старый, сѣдой протоіерей собора. Когда я подошелъ, онъ сказалъ мнѣ:

— Ну, какіе твои грѣхи, говори!

Я затруднялся, что ему сказать; въ тонѣ словъ его выражалась торопливость, я медлилъ отвѣтомъ, не зная, что сказать, и онъ продолжалъ:

— Ну, говори, что ты сдѣлалъ, за что ты арестантомъ... обманулъ, обокралъ, убилъ, можетъ быть, кого?

Я еще больше смутился и тихо отвѣтилъ:

«Батюшка! Я ничего такого никогда не дѣлалъ».

— За что же ты здѣсь съ арестантами?

Отвѣтъ мой былъ:

«Я не знаю».

— Откуда ты и по суду за что обвиненъ,—спрашиваю я?

«Я изъ Петербурга и сосланъ сюда за участіе въ политическомъ дѣлѣ, но по совѣсти скажу вамъ на исповѣди—я ни въ чемъ не виноватъ... хотя и просилъ со страха прощенія».

Тутъ онъ задумался, посмотрѣлъ на меня и сказалъ!

— Такъ это ты, что присланъ сюда недавно изъ Петербурга! Фамилія ваша какъ?

«Моя фамилія Ахшарумовъ».

— Да, такъ вотъ что!.. Жаль, жаль мнѣ васъ... Стало быть, вышло какое недоразумѣніе, когда вы не чувствуете себя виновнымъ! Грѣха стало быть, нѣтъ? (Я молчалъ). Ну и утѣшьтесь этимъ—бываютъ и по суду ошибки... Все тайное обнаружится, и вы будете вознаграждены за страданіе... Какъ же вы живете, въ острогѣ,—со всѣми прочими?

«Да, я живу въ острогѣ, съ арестантами».

— Дозволяется ли вамъ чѣмъ заниматься?.. Есть ли у васъ книги?

«Я ничѣмъ не занимаюсь, книгъ у меня нѣтъ».

— О! это тяжело, очень тяжело!

«Батюшка! позвольте васъ просить — дайте мнѣ что-нибудь читать».

— Дамъ,—какую бы книгу вы желали? Если у меня есть, конечно.

«Можетъ быть, у васъ есть проповѣди какого-либо извѣстнаго проповѣдника? Іоанна Златоуста или другого?»

— Есть, и я вамъ дамъ ее, придите ко мнѣ.

«Меня никуда не выпускаютъ, и мнѣ не повѣрятъ, что къ вамъ. Вы сами меня потребуйте къ себѣ, тогда меня должны будутъ отпустить въ сопровожденіи конвойнаго».

— Такъ вотъ какъ!.. Хорошо, я скажу коменданту, и васъ отпустятъ.

«Прошу васъ, сдѣлайте это».

Онъ положилъ мнѣ на голову эпитрахиль и прочиталъ надо мною молитву, затѣмъ отпустилъ.

Какъ только я вышелъ и присоединился къ своей средѣ, меня встрѣтили всѣ вопросомъ:

«Что это онъ васъ такъ долго держалъ, развѣ грѣховъ такъ много?»

Тутъ нашъ арестантъ псаломщикъ Иванъ Ефимовъ, смѣясь, добавилъ про меня:

— О! злоба его велика, и беззаконіямъ его нѣтъ конца... сердце его твердо, какъ камень, и жестко, какъ нижній жерновъ — съ полунагихъ снималъ онъ платье...

«Перестань врать, — сказалъ тутъ же близъ него стоящій, — вѣдь мы въ церкви!»

— Слова мои изъ библіи. — какое тутъ вранье.

«Такъ они къ намъ неподходящія — понимаешь ты? Голова твоя пустая, а языкъ, какъ мельница!».

Разговоръ этотъ продолжался вполголоса, и стоявшій подлѣ меня сказалъ мнѣ: «Этотъ человѣкъ не злой, любитъ сболтнуть и посмѣяться».

Мы оставались, пока всѣ арестанты поисповѣдались, и вернулись въ казарму позже обыкновеннаго.

XXI.

Великій постъ 1850 года прожить былъ мною однообразно, печально. Съ арестантами встрѣчаясь ежеминутно и сталкиваясь въ срединномъ проходѣ, я пере-знакомился почти со всѣми, хотя и не зналъ каждаго по имени. Всѣ они были со мною привѣтливы, иные

даже услужливы. Пища была постная, но по вкусу она мнѣ болѣе приходилась, такъ какъ сала не кла-лось болѣе въ нее, хлѣбъ остался тотъ же самый, а квась приготавливался чаще прежняго.

Вскорѣ я замѣтилъ, что въ праздничные дни, по утрамъ въ срединномъ проходѣ проходилъ иногда медленно солдатъ, смотря на полки надъ нарами и, останавливаясь, спрашивалъ что-то. Это не замедлилось объясниться. Солдаты приходили покупать у арестантовъ хлѣбъ—вѣроятно, онъ былъ лучше испеченъ. Ежедневный хлѣбный паекъ былъ 4 фунта, и не всѣ съѣдали его до конца. Несъѣденное сбывалось солдатамъ. Отъ моей ѣды оставался всегда порядочный излишекъ, и куски эти охотно покупались по копейкамъ.

Наше русское воинство въ различныхъ полкахъ и мѣстностяхъ Россіи, по количеству и качеству пищи, кормится весьма различно. Это зависитъ, конечно, всецѣло отъ командующихъ ими начальниковъ. Въ тѣ времена, 50 лѣтъ тому назадъ, при Николаѣ I, извѣстно было и ему самому, что командиры обогащались, и должность эта даже давалась для поправленія средствъ жизни. Этотъ же, какъ бы добрый, старый обычай переходилъ и на подвѣдомственные имъ низшіе отдѣлы полка,—батальонные, ротные командиры, и фельдфебели дѣлали себѣ сбереженія на счетъ солдатской пищи и вообще всего содержанія солдата, сколько могли, такъ что оно было всюду неудовлетворительно. Неда-ромъ образовалась всѣмъ извѣстная поговорка, даже бывшая уже въ печати, сколько мнѣ помнится, въ «Русской Старинѣ» въ 80-хъ годахъ: «Русскій солдатъ голъ, какъ соколъ, голоденъ, какъ песъ, остеръ, какъ бритва».

Въ 1850 году, въ Херсонѣ стоялъ виленскій пѣхотный полкъ, который впослѣдствіи, въ 1854 году, участвовалъ въ закавказской дѣйствующей арміи—въ азіатской Турціи и большая часть его пала при штурмѣ Карса. Я знаю это потому, что въ 1854 году и я былъ переведенъ въ этотъ самый полкъ. Имъ-то, будущимъ моимъ сослуживцамъ, я и продавалъ хлѣбъ. Деньги эти, собираемые мною по копейкамъ, употреблялись на покупку крайне нужнаго мнѣ мыла, что и дѣлалось съ помощью турокъ.

XXII.

Въ казармѣ, какъ уже извѣстно читателю, была большая печь, она топилась зимою каждый день. Ее топили матеріаломъ, растущимъ въ большомъ обиліи по ту сторону отлогаго берега Днѣпра, поросшаго высокими камышами. Я въ первый разъ въ жизни въ 1850 году узрѣлъ это отопленіе. Большія, необъятныя руками связки камышинъ волоклись по земляному полу стѣней и втягивались въ казарму по мѣрѣ надобности. Втолкнутыя въ печь и зажженные, онѣ быстро загорались большимъ огнемъ, сгорали и были безостановочно замѣняемы другими. Большая, толстая печь становилась, какъ жаркое горнило; стѣны ея нагрѣвались сильно, и теплота отъ нихъ распространялась по всей казармѣ. Меня эта новость занимала въ первое время, и я смотрѣлъ, какъ камыши вспыхивали большимъ пламенемъ. Въ иные дни топлёніе это соединено было съ печеніемъ хлѣба. Пекли хлѣбъ два арестанта, которые варили пищу и жили въ кухнѣ. Хлѣба пеклось большое количество, на двѣ казармы, потому это дѣло продолжалось нѣсколько часовъ. По окончаніи печенія оставалась пустая жаркая печь и тутъ, къ удивленію моему, хлѣбопеки предлагали всѣмъ, кто хотѣлъ, очищеніе жаромъ носимыхъ арестантами рубахъ, онучъ и портковъ. Охотниковъ всегда было много, и, снявъ съ себя всѣ свои покровы, они, голые, приносили ихъ для очищенія, и вещи эти партіями вводились въ духовую печь: клопы, блохи и вши лопались отъ жара, и затѣмъ всякій бралъ свою одежду и надѣвалъ ее уже очищенной. Меня удивляла такая находчивость русскаго человѣка, до которой наши ученые додумались настоящимъ образомъ только въ 60-хъ годахъ минувшаго вѣка, и я могу сказать, какъ врачъ, что первую дезинфекціонную камеру жаромъ я видѣлъ въ 1850 году, въ херсонскомъ военномъ острогѣ, гораздо прежде, чѣмъ изобрѣтены были аппараты Шиммельбуша и другихъ гигиенистовъ въ лабораторіяхъ Европы.

XXIII.

Жизнь моя въ острогѣ продолжалась однообразно-томительно, скучно,—безъ всякаго интересовавшаго меня умственного дѣла. Я все ближе знакомился съ моими сожителями, то съ тѣмъ, то съ другимъ, и примѣнялся къ моей новой жизни. По вечерамъ возвращался изъ ордонансъ-гауза Билію и приносилъ нѣкоторыя городскія новости о людяхъ мнѣ незнакомыхъ, о распоряженіяхъ начальства, о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ и о ихъ страсти къ картамъ. Въ одинъ изъ вечеровъ, въ теченіе великаго поста, онъ мнѣ принесъ новость о беззаконныхъ, какъ онъ говорилъ громко, намѣреніяхъ плацъ-майора относительно привезенныхъ мною въ Херсонъ вещей. «Онъ вознамѣрился продать ихъ съ аукціона, на томъ основаніи, что арестантъ не имѣетъ права имѣть имущества; все должно быть продано и вырученныя отъ продажи деньги обращены на улучшеніе пищи арестантовъ». Я объ этихъ правилахъ не имѣлъ никакого понятія, потому и считалъ нужнымъ безропотно покориться этому. Билію, однако же, высказывалъ другое мнѣніе, быть можетъ, слышанное имъ отъ другихъ,—что это относится только къ бродягамъ, не имѣющимъ родства, мое же имущество, за невозможностью мнѣ владѣть имъ, подлежитъ отдачѣ моимъ роднымъ. Я не рѣшался претендовать на что-либо, такъ уже я отягченъ былъ всѣмъ со мною случившимся. Билію, однако же, совѣтовалъ мнѣ увидѣть коменданта и просить его не допускать этой продажи, но лишеніе свободы до такой степени превышало лишеніе вещей, которыя когда-то въ будущемъ могутъ мнѣ понадобится, что я былъ равнодушенъ къ потерѣ ихъ. Дальнѣйшія свѣдѣнія о положеніи этого дѣла я получалъ ежедневно. Билію, ругая плацъ-майора, говорилъ, что это картежникъ, играющій на большую ставку, и что продажа моихъ вещей съ аукціона затѣяна была имъ съ цѣлью пріобрѣсти посредствомъ подставного лица нѣкоторыя изъ моихъ вещей. Наконецъ, продажа эта совершилась, и плацъ-

майоръ захватилъ себѣ часы, мѣховую шапку и нѣкоторыя другія вещицы.

XXIV.

Ближайшимъ моимъ начальникомъ былъ ротный командиръ Петрини. Ему ввѣрено было исполненіе всего строжайшаго обо мнѣ предписанія, врученнаго коменданту привезшимъ меня фельдъ-егеремъ. Читатель отчасти уже знакомъ съ нимъ по описанію моего приѣма въ арестантской ротѣ. Онъ былъ человѣкъ старый, изношенный жизнью, и въ немногія кратковременныя мои съ нимъ встрѣчи производилъ на меня впечатлѣніе испытанаго, жалкаго больного; руки его, всегда грязныя, тряслись, голосъ его былъ слабый, грудной, силъ. Его именовали капитаномъ, но въ умственномъ отношеніи онъ производилъ впечатлѣніе человѣка какъ бы вовсе неразвитаго. Онъ приходилъ въ роту раза два въ недѣлю, прохаживался, какъ бы осматривая все, причемъ дежурный унтеръ-офицеръ сопровождалъ его, отвѣчая на его вопросы. Иногда онъ садился въ описанной досчатой канцеляріи и требовалъ къ себѣ нѣкоторыхъ арестантовъ.

При приходѣ онъ считалъ, кажется, своею служебною обязанностью увидѣть меня и освѣдомиться, какъ я тутъ живу, причемъ всегда говорилъ мнѣ «ты». Разговоры были короткіе; онъ не зналъ, что сказать; я молчалъ, и онъ уходилъ. Между прочимъ, я счелъ нужнымъ поблагодарить его за сохраненіе моего бѣлья и его заботы обо мнѣ. Онъ казался довольнымъ этимъ и сказалъ, что это не онъ, а его жена, и что она желаетъ меня видѣть. Я съ удивленіемъ услышалъ это и молча смотрѣлъ на него. «Ну, это мы устроимъ... Можно тебѣ будетъ придти къ намъ съ работы по близости», сказалъ онъ.

Однажды, по приходѣ онъ позвалъ меня въ канцелярію и сказалъ, что унтеръ-офицеръ Керсанфовъ жаловался на меня, что я на него кричу, на что я

отвѣтилъ, что онъ не даетъ мнѣ говорить съ арестантами, и что это такой человѣкъ, что выводитъ меня изъ терпѣнія.

— Ну, я тебѣ назначу другого унтеръ-офицера... надо будетъ сказать плацъ-майору.

«Зачѣмъ же нуженъ для меня особый человѣкъ?» — спросилъ я.

— Ну, такъ приказалъ комендантъ и отмѣнить совсѣмъ его приказаніе я не могу!

Я привелъ эти разговоры, чтобы показать читателю обращеніе со мною этого человѣка, каковаго я никакъ не могъ ожидать по первоначальному его приему; онъ ко мнѣ, видимо, благоволилъ, и я чувствовалъ, что долженъ быть въ моихъ словахъ съ нимъ сдержанъ и все же почтителенъ къ его капитанскому чину.

XXV.

Черезъ нѣсколько дней послѣ моего разговора съ капитаномъ Петрини подошелъ ко мнѣ вечеромъ одинъ изъ унтеръ-офицеровъ по фамиліи Матвѣевъ, нравившійся мнѣ по своему обращенію съ арестантами. Онъ объявилъ мнѣ, что назначенъ начальствомъ для присмотра за мной, — вмѣсто Керсанфова. Сказавъ мнѣ это, онъ вызвалъ меня въ сѣни и спросилъ меня:

— Скажите, пожалуйста, что случилось, развѣ вы что-нибудь сказали или сдѣлали что-либо?

«Я? Нѣтъ, ничего не сдѣлалъ и не сказалъ».

— Такъ отчего же меня потребовалъ плацъ-майоръ и, смѣнивъ Керсанфова, приказалъ мнѣ смотрѣть за вами и день, и ночь?!

Я объяснилъ ему, что все это случилось помимо моего вѣдома, что я только просилъ капитана принять отъ меня Керсанфова и не назначать для меня никакого особаго надзора, — потому что нечего смотрѣть за мною... меня всѣ видятъ.

— А больше этого ничего вы не говорили и обо мнѣ тоже?

«Ничего не говорилъ».

— Такъ это, значить, плацъ-майоръ самъ выдумалъ Богъ знаетъ что. Нашъ ротный капитанъ сказалъ мнѣ только, что онъ назначаетъ меня, вмѣсто Керсанфова, и ничего болѣе не прибавлялъ, что если вамъ нужно что, то чтобы вы сказали мнѣ, это для меня не трудно, и я этимъ нисколько не тягочусь, но плацъ-маоръ приказывалъ и днемъ, и ночью наблюдать за вами—это уже Богъ знаетъ что и зачѣмъ?

«Я также думаю, что плацъ-майоръ самъ не знаетъ, чего опасается. Васъ только тревожить напрасно»!

— Да чего мнѣ за вами смотрѣть?!.. Васъ всѣ знаютъ, всѣ видятъ; да объ васъ никто дурного слова не сказалъ; еще буду я по ночамъ уходить въ казарму?!.. Я недавно женился!

«Такъ чего же вамъ свою жизнь портить... Я увѣряю васъ, что за мною не надо вовсе смотрѣть, и прошу васъ, идите спокойно домой. Мы всѣ будемъ спать преспокойно, и плацъ-майоръ тоже»!

— Ну я такъ и сдѣлаю—пойду домой и буду ночевать дома, меня и пушками не разбудить плацъ-майоръ!

Этимъ кончился этотъ забавный разговоръ, показавшій мнѣ, что одинъ только грубый плацъ-майоръ чего-то опасается.

Все послѣдовало, какъ мы переговорили, и я почувствовалъ особое расположеніе къ этому молодому, еще не испорченному унтеръ-офицеру.

Тутъ же вскорѣ случилось и другое обстоятельство, облегчившее нѣсколько мою жизнь въ острогѣ. Въ одинъ изъ дней—это было уже на страстной недѣлѣ—прибѣжалъ ко мнѣ одинъ изъ турокъ—молодой Мехмедъ Инглизъ и сообщилъ мнѣ, «что старикъ, сосѣдъ его по ночлегу на верхнихъ нарахъ, переведенъ въ отдѣленіе неспособныхъ, и его мѣсто осталось пустымъ. «Хорошо бы вамъ занять это мѣсто,—сказалъ онъ,—и я бы желалъ, чтобы вы, а никто другой помѣстились подлѣ меня». Мнѣ хотѣлось самому перейти на верхнія нары, чтобы не быть внизу посрединѣ казармы—на самомъ видномъ мѣстѣ для

всѣхъ проходящихъ, и его приглашеніе стало вдругъ моимъ самымъ лучшимъ, горячимъ желаніемъ въ эту минуту, и неисполненіе его было бы для меня уже очень прискорбно.

«И въ самомъ дѣлѣ для меня,—думалъ я,—самый лучший, уютный уголокъ!» Я боялся только, чтобы ротный Петрини этому не воспротивился, но что будетъ послѣ,—это неизвѣстно, а мѣсто освободившееся могутъ занять, и я сейчасъ же перемѣстился туда. Въ тотъ же день объ этомъ я сообщилъ унтеръ-офицеру Матвѣеву, который противъ такого моего перемѣщенія ничего не имѣлъ, и вопроса объ этомъ болѣе никто не поднималъ. Верхнія нары, куда я перешелъ, были четвертыя или пятая по счету, считая отъ замыкавшей острогъ капитальной задней стѣны,—противоположной входу изъ стѣнъ.

Вечеромъ Мехмедъ и я улеглись тамъ, какъ близкіе пріятели. Это положеніе мое наверху было несравненно лучше прежняго—низкаго, гдѣ по срединному проходу безпрерывно мимо меня туда и сюда ходили люди,—тамъ же наверху я былъ уединенъ въ своемъ уголкѣ и чувствовалъ себя какъ бы пріютившимся въ самомъ для меня лучшемъ мѣстѣ казармы. Одного мнѣ не доставало—я болѣе не слышалъ уже вечерней молитвы Морозова, которою какъ бы кончался мой день и которая производила на меня особое умиротворяющее дѣйствіе.

XXVI.

Была страстная недѣля въ концѣ. Работы не производилось болѣе. Арестанты бывали чаще въ церкви, и любимая молитва молящихся «Господи и владыко живота моего...» творилась ими усердно,—со слезами и колѣнопреклоненіемъ.

Всѣ церковные праздники чтутся арестантами, и свѣтлѣйшій праздникъ, наиболѣе возбуждающій воображеніе темнаго люда,—ожидаемъ былъ всѣми жителями

острога съ радостнымъ чувствомъ высокаго благоговѣнія. Звонъ колоколовъ, пушечные выстрѣлы и пасхальныя пѣсни—все содѣйствуетъ къ усиленію торжества. Но арестанты въ ночное время не были допущены къ заутренѣ. Тѣмъ не менѣе они не спали въ ожиданіи Воскресенія Господня въ полночь. Не раздѣляли этого настроенія только мои друзья турки—да колонистъ-нѣмецъ, да наши два застарѣлыхъ нигилиста—Кельхинъ и, конечно, на все свысока смотрящій и надо всѣмъ смѣющійся Биліо. Когда я зашелъ провѣдать перваго, онъ мнѣ сказалъ:

— Сегодня они всѣ въ бреду, какъ бы сумасшедшіе, а завтра будетъ большое пьянство.

Биліо въ этотъ вечеръ пришелъ позднѣе обыкновеннаго. Хотя и не было въ этотъ день присутствія въ ордонансъ-гаузѣ, но онъ выходилъ съ конвойнымъ и, возвращаясь, зашелъ на гауптвахту къ своему знакомому, въ этотъ день стоявшему на посту, офицеру, который его угощалъ чаемъ и водкою. Придя въ казарму, онъ рассказывалъ свою откровенную бесѣду съ прекраснымъ человѣкомъ, офицеромъ. Они оба, выпившіе, конечно, договорились до того, что офицеръ изъявлялъ готовность, въ день его дежурства, снять постъ часового, для облегченія побѣга Биліо, какъ бы давно уже ими замышляемаго, но теперь онъ болѣе расположенъ, чѣмъ когда-либо, исполнить свое намѣреніе и думаетъ бѣжать съ наступленіемъ полной весны. На мой вопросъ, какъ онъ совершитъ побѣгъ, онъ объяснялъ мнѣ какъ именно это возможно,—пробраться черезъ чердакъ въ новостроющуюся казарму, примыкающую къ этому дому, и затѣмъ у него есть люди въ городѣ, которые его примутъ, снабдятъ платьемъ, но что онъ уйдетъ не одинъ, а съ нимъ вмѣстѣ бѣжить и Меншиковъ, да и меня онъ не оставитъ здѣсь одного. Изъ города онъ имѣлъ въ виду бѣжать въ Галицію къ польскимъ помѣщикамъ, которые его примутъ радостно, и мое съ нимъ прибытіе, какъ политическаго эмигранта, заинтересуетъ ихъ.

Галиція, говорилъ онъ, это чудная страна, ему давно знакома, и помѣщики ея несомнѣнно окажутъ намъ помощь и содѣйствіе во всемъ.

Я слушалъ его разсказъ, но не вѣрилъ ничему, что онъ говорилъ, такъ какъ онъ былъ подъ вліяніемъ спиртныхъ паровъ, и я радъ былъ, когда онъ кончилъ.

Нѣкоторые арестанты зажигали лампадку подъ образами, крестились и отходили. Было по всей казармѣ тихое, благочестивое, безцѣльное хожденіе взадъ и впередъ, въ ожиданіи наступленія великаго завтрашняго дня.

Турки сидѣли въ отдѣльности и тихо бесѣдовали съ чувствомъ глубокой тоски объ отдаленности ихъ отъ родины и ото всѣхъ своихъ народныхъ праздниковъ, обреченные отбывать безмѣрно великую, безсрочную ссылку въ чужой странѣ, въ херсонской военной тюрьмѣ, по жестокому договору такъ-называемыхъ дружественныхъ государствъ.

Но вотъ насталъ и столь ожидаемый великій день Свѣтло-Христова воскресенья. Ночью спали всѣ спокойно. Пробужденіе было медленное. Вставъ, всѣ одѣлись въ чистое бѣлье, одинъ другого поздравляли, христосовались. Часовъ около 11 внесенъ былъ складной длинный столъ и поставленъ въ срединѣ казармы, въ проходѣ, такъ что по обѣимъ сторонамъ его оставалось достаточно мѣста для прохода. Установленный столъ покрытъ былъ небѣленою грубою скатертью, и затѣмъ приносились всѣ имѣвшіеся въ обилии запасы пищи,—здѣсь были яйца, куличи, творогъ, пасхи, куски наръзанной говядины свинины, пироги,—все это были приношенія благотворителей къ свѣтлому празднику.

Кромѣ того, въ кухнѣ приготовлена была лучшая, болѣе сытная пища.

Опять же за ѣдою появились бутылочки съ водкою, и затѣмъ началось уже разъ описанное, почти поголовное опьяненіе, перемѣнившее настроеніе заключенныхъ,—болтовня, разговоры болѣе громкіе, порою возгласы... Боюсь прикоснуться къ описанію картины этого праздничнаго кажущаго отдыха,—такъ она разнообразна по проявленіямъ въ отдѣльныхъ личностяхъ этой оживившейся толпы; иные сидѣли въ раздумьѣ и шептали что-то. Исчезла изъ памяти моей за 52 года окружавшая меня рѣчь арестантская, съ ея характерными выраженіями, но лица нѣкоторыхъ стоятъ передо

мною, какъ живыя, также какъ и голоса нѣкоторые слышались мнѣ. Еремѣевъ былъ очень подвиженъ, перемѣнялъ мѣста, заговаривалъ съ разными кучками сидѣвшихъ, ища забвенія своей неволи, не находя ни въ чемъ покоя. При мнѣ подошелъ онъ къ туркамъ:

— Мустафа, Мехмедъ! убѣдимъ изъ неволи Дунай или въ Анатолію... тамъ лучше живется, тамъ люди лучше... тутъ жить нельзя... пропадемъ мы всѣ

«Анатолія!.. это наша родная страна! Инша Аллах инша Аллахъ! (Богъ дастъ...). Но тамъ водку не пьютъ зачѣмъ ты пьешь?»

— Радъ бы оставить, да не могу теперь, — отвечаетъ онъ и уходитъ.

Колонистъ-нѣмецъ то сидѣлъ одинъ, то прохаживался въ раздумьѣ. Я подошелъ къ нему:

— Вы, кажется, не пьете!

«Я не пью, — Gott bewahre (Боже сохрани!), от водки еще хуже. А вы пьете?»

— Я? Нѣтъ, я совсѣмъ не привыченъ — меня угашаютъ, но я мочу только губы.

«Я совѣтую вамъ не привыкать вовсе».

— Конечно, конечно, — я не пилъ никогда и не буду пить... Позвольте спросить, надѣетесь вы выйти скоро изъ острога?

«Охъ, я уже прожилъ 5 лѣтъ, осталось еще 3 года. Богъ знаетъ, какъ-нибудь доживу ихъ!»

Разговаривалъ я съ Глушенко и Меншиковымъ, со многими другими... Большая часть были навеселе. Вертятся туда и сюда, не зная, куда примкнуться от скуки, я взобрался въ мой высокій пріютъ и прилегъ уснуть. Я спалъ недолго; проснувшись, спустился вниз и тамъ увидѣлъ ту же картину, — казалось! было еще болѣе шума.

XXVII.

Подъ вечеръ этого дня, еще засвѣтло, въ помѣщеніи неспособныхъ, куда я пришелъ побесѣдовать с

Кельхинымъ и Вороновымъ, случилось происшествіе, врѣзавшееся глубоко въ моей памяти.

Кельхинъ и Вороновъ въ отдѣленіи неспособныхъ помѣщались одинъ противъ другого на нижнихъ нарахъ близъ срединной части казармы: Кельхинъ—справа отъ входа съ стѣней, у внутренней стѣны, примыкавшей къ отдѣленію, гдѣ жилъ я, а Вороновъ—слѣва, у наружной стѣны, выходившей окнами на дворъ. Посрединѣ казармы неспособныхъ, какъ я уже упоминалъ, была отлогая, лѣстница для всхода на верхнія нары, такъ какъ старыя, слабыя жильцы этого отдѣленія не могли влѣзть по зарубкамъ на столбахъ, какъ это дѣлалось въ нашемъ отдѣленіи. Кельхинъ и Вороновъ были два товарища, раздѣлявшіе постоянно между собою тяжелую подневольную жизнь. Оба они были малопьющіе.

Я вошелъ въ отдѣленіе ихъ и засталъ Кельхина сидящимъ на нарахъ помѣщенія Воронова; оба они меня встрѣтили привѣтливо, и мы расположились втроемъ. Мы бесѣдовали о дѣлахъ текущаго дня, о томъ, что видѣли и слышали въ нашихъ казармахъ, ни газетъ, ни книгъ у насъ не было, и мы жили вполнѣ однимъ настоящимъ, для насъ столь тяжелымъ временемъ; оторванные отъ жизни, мы были какъ бы въ одиночномъ заключеніи.

Во время нашей бесѣды мы стали замѣчать, что противъ насъ на верхнихъ нарахъ какой-то несчастный говорилъ самъ съ собою, повидимому, въ пьяномъ бреду. Онъ лежалъ на животѣ, головою къ срединному проходу и повременамъ приподнималъ голову. Бредъ его становился все сильнѣе и громче и все болѣе привлекалъ вниманіе проходившихъ.

«Кто это?»—спрашивали нѣкоторые.

— Это старый Савва Баламутенко.

«Что же это онъ во снѣ говорить?»

— Нѣтъ, лежитъ и все вретъ что-то.

Бредъ становился все сильнѣе, слышались отдѣльные слова—то ругательства, то молитвенныя. «Господи! помоги!.. Сподоби меня грѣшнаго!»

Затѣмъ онъ высунулъ голову сверху и, смотря на внизу сидѣвшихъ, произносилъ озлобленно сквернословія.

— Савва, Савва! что ты это?—сказалъ кто-то.

«Я васъ, антихристы, адово племя, всѣхъ уложу тутъ»!

Всѣ перестали говорить, проходившіе останавливались и съ удивленіемъ смотрѣли, что съ человѣкомъ сдѣлалось.

Онъ выдвинулся головой еще болѣе и излился цѣлымъ потокомъ страшныхъ ругательствъ.

— Ироды! лиходѣи, костогрызы, отродье дьявола, сонмище нечестивыхъ... Я васъ всѣхъ утихомирю... Онъ произносилъ ужасныя ругательства и окончилъ ихъ словами:—теперь насталь судъ Божій,—моею рукою я уложу васъ всѣхъ...

При этомъ онъ всталъ и съ ножомъ въ рукѣ, потрясая имъ, съ верхнихъ наръ бросился по лѣстницѣ внизъ, держа въ правой рукѣ поднятый ножъ.

Сидѣвшіе и стоявшіе внизу только въ эту минуту поняли угрожавшую всѣмъ опасность и вскочили со своихъ мѣстъ, но яростный раскраснѣвшійся безумецъ застрялъ на лѣстницѣ съ поднятой, державшей ножъ, рукой. Она была крѣпко обхвачена у самой кисти болѣе сильною рукою за нимъ стоявшаго старика въ чалмѣ,—это былъ его сосѣдъ по нарамъ—турокъ Османъ, помѣщавшійся, по старости лѣтъ, въ отдѣленіи неспособныхъ. Другой сосѣдъ его разжалъ пальцы, стиснувшіе ножъ, и онъ выпалъ на лѣстницу. Покушавшійся на жизнь всѣхъ безумецъ, обезоруженный, упалъ внизъ. и на него накинулись близъ него стоявшіе и стали его немилосердно бить кулаками, проталкивая далѣе, какъ бы прогоняя его сквозь строй кулаковъ: онъ упалъ на полъ. Сейчасъ закричали:

— Давайте веревку, свяжемъ его.—и черезъ минуту онъ былъ привязанъ въ сидячемъ на полу положеніи къ одному изъ столбовъ, поддерживавшихъ верхнія нары.

Надзираваго за порядкомъ начальства не нашлось въ цѣлой казармѣ, и когда пришелъ унтеръ-офицеръ и узналъ обо всемъ случившемся. то одобрилъ совершившуюся надъ виновнымъ расправу.

Жаль было смотрѣть на этого несчастнаго, не пришедшаго еще въ полное сознаніе совершившагося надъ

нимъ суда. Старикъ этотъ былъ средняго роста, смуглый, полный лицомъ, съ прямымъ носомъ и большими глазами, чертами и складомъ лица походившій на фотографію философа Эммануила Канта. Жаль было смотреть на него, но никто не предлагалъ его развязать... «Пусть выдохнется изъ его глупой башки спиртъ».

XXVIII.

Въ праздничные дни, особенно въ длинные, зимніе вечера, мнѣ случалось быть свидѣтелемъ арестантскихъ забавъ. Изъ таковыхъ наиболѣе привлекали меня *пляски* и *сказки*. Ихъ попробую описать въ отдѣльности, насколько память моя не измѣнитъ мнѣ. Но я долженъ сознаться, что, замышляя это, я стою едва ли не передъ самой трудной задачей предпринятаго мною труда, и что только побуждаемый горячимъ желаніемъ записать хоть что-либо изъ видѣнныхъ мною этихъ удивительныхъ зрѣлищъ, я отваживаюсь прикоснуться къ описанію ихъ хоть въ самыхъ общихъ чертахъ. Эти невинныя развлеченія производили всеобщее оживленіе толпы, какъ бы ими вырывавшейся на свободу, людей, замученныхъ тяжелой неволей. Много забыто въ жизни, но не все.

Въ пляскѣ принимали живое участіе, какъ зрители, болѣе или менѣе всѣ арестанты, но помѣщеніе для этого зрѣлища было неудобное по тѣснотѣ пространства. Пляски производились въ среднемъ проходѣ—въ болѣе глубокой части его, т.-е. во второй половинѣ отъ входа изъ сѣней,—такъ что хорошо любоваться этимъ зрѣлищемъ могли только жители нижнихъ и верхнихъ наръ задней половины казармы, но пляски привлекали всѣхъ, и все свободное пространство на нижнихъ и верхнихъ нарахъ наполнялось всѣми живущими въ казармѣ. Освѣщеніе отъ маленькихъ лампъ было слабое, потому во всемъ отдѣленіи для плясокъ устраивалось оно помощью зажигаемыхъ камышевыхъ лучинъ. Высокіе тростники камышей, которыми топилась печь, прино-

симы были въ достаточномъ количествѣ, чтобы ярко освѣтить въ продолженіе небольшого времени темную, плясочную арену. Все готово. Ударили въ двѣ балалайки плясовую, но никто сейчасъ не выходилъ, тогда стали заохочивать, припѣвая подъ ладъ разныя слова:

Ой, вы наши молодцы, что стоите удалцы?
Выходите прогуляться, дать собой полюбоваться!..

Балалайки гремѣли громче, припѣвы съ разными присочиняемыми тутъ же словами продолжались.

Вотъ выступилъ одинъ, повидимому, старикъ, но съ первыхъ приемовъ, какъ развернулся, сразу помолодѣлъ и заинтересовалъ всѣхъ. Онъ прошелся разъ — два и остановился на своемъ прежнемъ мѣстѣ, поджидая... Балалайки бренчали. Насупротивъ его выходитъ одинъ изъ стоявшихъ — тоже уже немолодой. Онъ выпрямился, подбоченясь и поднявъ голову, потопталъ ногами и бросился въ живую пляску; плясавшій прежде выступилъ снова, и, обмѣнявшись выходами нѣсколько разъ, они отошли въ толпу. Балалайки не переставали бренчать, лучины камышинъ дружно вспыхивали, подпѣвалы пѣли, присочиняя все разныя слова. Выходить юноша, какъ молодница — маленькій ростомъ, бѣлый, красивый, круглолицый, — онъ въ кандалахъ! Вышелъ, сталъ, смотритъ на всѣхъ и задумался. При музыкѣ и пѣсняхъ, онъ встрѣченъ громкими возгласами привѣтствій, и подпѣвалы запѣли подъ ладъ балалаекъ:

Степа, Степа! Нашъ голубчикъ, нашъ плясунчикъ золотой!
(Это былъ вышеупомянутый юный Степанъ Колуж-

ный).

Потоптавшись на мѣстѣ съ поднятой гордо головой, побренчавъ кандалами, онъ выскочилъ на середину арены и пустился выдѣлывать съ чрезвычайной быстротой и ловкостью своеобразныя, ему одному только свойственныя увертки — выворачивая пятками, стуча каблуками, выкидывая впередъ то ту, то другую ногу и въ это время подскакивая, ударяя въ ладоши подъ колѣнами, то раздвигая ноги съ откинутой назадъ головой, то сближая ихъ вновь, онъ хлопалъ пятками и ладошами. Затѣмъ, прикидываясь усталымъ, изнеможеннымъ, опускалъ голову на грудь и вдругъ, подска-

кивая, выпрямлялся и пускался въ присядку. Музыка брэнчала звонко, хоръ запѣвалъ, подхватывалъ:

Степа, Степа! Нашъ голубчикъ, нашъ плясунчикъ золотой!
Наша радость, нашъ молодчикъ! Нашъ красавчикъ дорогой!

Степа плясалъ... Отовсюду между пѣснями раздавались ликующіе крики одобренія, воодушевленіе было полное,—вдругъ онъ сталъ и замахалъ руками, желая сказать что-то... Все остановилось въ ожиданіи:

— О, то!—сказалъ онъ.—Подивитесь!—при этомъ онъ поднялъ и вытянулъ одну ногу—подошва сапога, оторванная спереди, висѣла на половинѣ ступни...

— Доплясался!—добавилъ онъ. Раздался хохотъ, и съ верхнихъ наръ упали внизъ двѣ пары сапоговъ.
«Надѣнь, надѣнь, пляши, пляши»...

Онъ надѣваетъ сапоги, прохаживается, смотритъ вверхъ и говоритъ смѣясь: «добре!» И забрэнчали вновь балалайки, и Степа, забрэнчавъ кандалами, возобновилъ пляску, выдѣлывая все новыя фигурки, не повторяясь. Затѣмъ остановился и сѣлъ.

Музыка и пѣніе затихли, настала тишина...

Всѣ чего-то ожидали, вдругъ въ толпѣ стало повторяться чье-то имя, сначала шопотомъ, а потомъ все громче, и выразилось единодушными, неумолкавшими криками: Глущенко, Глущенко!

Сидѣвшій на нижнихъ нарахъ въ толпѣ Глущенко, обремененный тяжелыми звеньями, былъ лучшій танцоръ. Онъ всталъ и вышелъ на середину. Захлопали всѣ въ ладоши, забрэнчали звонко балалайки, и подпѣвалы запѣли:

Нашъ Глущенко богатырь! Намъ на славу богатырь!
Брамъ—брамъ—брамъ—брамъ—брамъ—брамъ.
Брамъ—брамъ—брамъ...

Сначала онъ, какъ и предыдущій, побрэнчалъ своими звеньями, потомъ, все болѣе и болѣе оживляясь, развернулъ всю свою мощь, производя со звономъ цѣпей самыя быстрыя, самыя ловкія движенія руками и ногами. Порою онъ, склонившись впередъ, пригибался смиренно, топчась и медленно подвигаясь, выглядывалъ какъ бы робкимъ взглядомъ и затѣмъ, вдругъ выпрямляясь, бурнымъ вихремъ кружился по

аренѣ и, пріостановившись, пустился въ присядку, выбрасывая ноги, звонившія цѣпями.

По мѣрѣ все большаго оживленія веселящейся толпы балалайки бренчали еще громче, и пѣвцы, измышляя новыя восторженныя похвалы искусному танцору, пѣли:

Нашъ Глушенко, нашъ боецъ!
Молодецъ ты, молодецъ!
Брамъ—бамъ—бамъ, брамъ—бамъ!
Воинъ славный удалецъ
Брамъ—бамъ—бамъ...

Тутъ и Степа не вытерпѣлъ, выскочилъ снова съ своими дробными увертами и, крутясь, при наступательномъ движеніи свободно, легко, едва прикасаясь къ полу, сталъ описывать круги вокругъ могучаго Глущенко, присядкою выступавшаго впередъ. Такъ продолжалась эта пляска съ различными варіаціями, сопровождаемая восторженными возгласами одобренія, хлопаньемъ въ ладоши и припѣваніями; наконецъ, оба устали и сѣли на нары. Музыка не переставала, пѣсни заохочивали снова, и выходили еще молодцы и плясали, и всѣ кричали и шумѣли веселымъ разгуломъ.

Откуда ни возьмись, появились чарки съ водкою и подносились сначала плясавшимъ, потомъ музыкантамъ и пѣвцамъ. Оживились музыка и пѣнье, запѣвалы пѣли вновь, и выходили вновь плясуны, и между ними нашъ Еремка-пьяница; онъ хотъ и съ прежними клеймами, но безъ кандаловъ, и пляска его была бурная; съ криками и визгами, онъ стучалъ ногами, сжималъ кулаки со злобнымъ взглядомъ, какъ бы увидя что передъ собою, и дикими ухватками, выступалъ подъ музыку и пѣнье, а запѣвалы пѣли:

Ай Ерема молодецъ,
Разудалый удалецъ!
Всюду былъ ты: за морями,
За кавказскими горами,
По всей Турціи прошелъ,
Нигдѣ мѣста не нашелъ
И опять сюда пришелъ.
И опять сюда пришелъ.
Молодецъ ты молодецъ,
Разудалый удалецъ!

(Кто-то изъ зрителей тихо прошепталъ: «Ну, сорвался сорванецъ!»). Вдругъ Ерема остановился, какъ вкопанный, лицо его покрылось мрачною думой и, отойдя, онъ сѣлъ на нары. Послѣ того выходили еще другіе и ихъ смѣняли новые танцоры—пляски продолжались, но мало-по-малу вниманіе утомлялось, лучины сгоравшія не смѣнялись новыми, нары вверху и внизу пустѣли, запѣвалы замолкли, и балалайки перестали бренчать.

Таковы, приблизительно, были пляски, которыхъ я былъ свидѣтелемъ и которыми восхищался до забвенія всего. По прошествіи 48 лѣтъ, въ одномъ изъ моихъ сочиненій, озаглавленномъ «Потокъ жизни», описывая періодъ этого времени, я писалъ:

Мои осторожные друзья,
Мои товарищи бывше!
Васъ не забыть, васъ помню я—
Вы предо мною какъ живые;
Мнѣ слышны ваши голоса
И ваши пѣсни, ваши сказки—
Ихъ слушалъ я не полчаса...
И ваши топанье и пляски,
Съ бряцаньемъ на ногахъ цѣпей,
Подъ блескъ лучинъ изъ камышей.

XXIX.

Не разъ я упоминалъ уже о старикѣ Вороновѣ, который привлекалъ меня къ себѣ своими личными качествами. Мнѣ казалось въ немъ все интереснымъ—его наружность, его деликатное обращеніе съ людьми, его складная, тихая, часто юмористическая рѣчь. Вороновъ, по виду, казалось, годами былъ старше всѣхъ жителей острога: высокаго роста, худой до костлявости, съ блѣдно-бѣлымъ лицомъ и бѣлыми, всегда чистыми руками, небольшою головою, покрытой негустыми, снѣжной бѣлизны сѣдыми волосами, какъ его усы и маленькая бородка. Несмотря на старые года, онъ былъ полонъ жизни, усердно шилъ платье, прода-

валъ его и тѣмъ зарабатывалъ себѣ деньги. За что осужденъ онъ былъ, осталось мнѣ неизвѣстнымъ. Въ моей памяти онъ сохранился въ его болѣе обычномъ положеніи, сидящимъ на своихъ нарахъ за швейной ручной работой или стоящимъ на томъ же мѣстѣ съ высоко поднятой головой, выступавшею надъ уровнемъ толпы людей, его окружавшей и съ напряженнымъ вниманіемъ слушавшей его всегда оживленный рассказъ. Голосъ его былъ не сильный, но онъ былъ достаточно слышенъ по всей вокальной залѣ нашей казармы. Кельхинъ былъ его vis-à-vis по нарамъ въ самой срединѣ этого помѣщенія, и мы вдвоемъ часто сиживали подлѣ работавшаго и всегда болтливаго Воронова. Онъ любилъ разговоръ и много рассказывалъ о своей прошедшей жизни. Посторонніе люди, проходившіе мимо, нерѣдко останавливались и слушали его. Изъ его рассказовъ о быломъ,—чего онъ былъ свидѣтелемъ въ долготѣней его жизни,—запечатлѣлся въ моей памяти болѣе всѣхъ одинъ, который я и желалъ бы представить здѣсь—хотя бы въ его основномъ остовѣ.

Въ его ранней молодости—ему было, по его словамъ, можетъ быть, лѣтъ 16—онъ жилъ въ Москвѣ, при своемъ дѣдушкѣ, который былъ дворникомъ въ домѣ князя Голицына (сколько мнѣ помнится). Это было во время нашествія французовъ, въ 1812 году и они оставались въ Москвѣ во время всего пребыванія тамъ Наполеона. Домъ ихъ господъ занятъ былъ кавалерійскимъ отрядомъ какого-то маршала, со всѣмъ его штабомъ; французскія войска, поселившись тамъ, оказывали его дѣдушкѣ уваженіе и съ нимъ—мальчикомъ обращались шутливо. Порядокъ былъ во всемъ; дѣдушка угощалъ французовъ запасами винъ и водокъ изъ большого погреба, за что они платили ему большія деньги. Такъ было во все время пребыванія французовъ. Языка ихъ онъ не понималъ, но видѣлъ, что всѣ они были тревожны.

Москва горѣла, и никто не зналъ, откуда эти пожары; было что-то зловѣщее, горѣли барки на рѣкѣ Москвѣ, въ которую наши войска, уходя, затопили бывшія въ арсеналѣ пушки, ружья, сабли и огромные

провіантскіе запасы; съѣстныхъ припасовъ въ ихъ домѣ было мало, и они берегли ихъ, чтобы не остаться безъ пищи. Дѣдушка не отлучался почти изъ дома. Безпрестанно пріѣзжали верховые съ приказаніями, и тревожное состояніе все усиливалось. Были толки, которыхъ онъ не понималъ.—Въ одинъ день вдругъ всѣ осѣдлали лошадей и оставили домъ. При уходѣ французовъ по направленію къ Драгомиловской заставѣ, русская конница, съ казаками впереди, вѣзжала съ другого конца въ Москву, и догнавъ французовъ, они кололи отстававшихъ пиками. Тутъ дѣдушка заперъ ворота, опасаясь, чтобы домъ нашъ, сохранившійся въ цѣлости по уходѣ французовъ, не былъ разграбленъ казаками. Была глубокая осень,—погода холодная, грязная, и когда этотъ первый натискъ нашихъ конныхъ отрядовъ подвинулся впередъ преслѣдовать выступавшихъ, и мѣсто на площади близъ дома опустѣло, они вдвоемъ вышли изъ воротъ и увидѣли лежащаго въ грязи, безъ чувствъ, молодого, хорошо одѣтаго француза. Дѣдушка очень опасался, чтобы его не убили.

— Надо спасти его, спрятать къ намъ въ домъ,—и вотъ, мы вдвоемъ—я поддерживалъ его ноги—понесли его въ нашъ дворъ. Мы успѣли его внести и заперли ворота.

Раненый французъ имѣлъ видъ очень молодой и не приходилъ еще въ себя. Мы внесли его въ комнаты, сняли съ него загрязненную верхнюю одежду. Дѣдушка пошелъ за бѣльемъ. Я остался одинъ съ лежащимъ на диванѣ французикомъ и увидѣлъ вдругъ, что это молоденькая дѣвушка... Я побѣжалъ къ дѣдушкѣ и закричалъ: «Дѣдушка, дѣдушка! Это французенка». Онъ схватилъ бѣлье и побѣжалъ къ ней.

Мы се раздѣли, перемѣнили бѣлье, положили на постель, прикрыли одѣялами, затопили печь и напоили ее чаемъ, и она, очнувшись, смотрѣла и ничего не говорила. Затѣмъ мы приготовили кушать, что было. Въ погребѣ нашлись еще остатки вина, и мы дали ей выпить. Понемногу она заговорила что-то и заплакала. Потомъ выражала намъ свою благодарность улыбкою и поцѣловала руку дѣдушки. Ранена она была копьемъ

въ спину, и мы ее мыли грѣтой водой и прикладывали чистыя тряпки, и она, какъ видно, упала больше отъ испуга.

Москва быстро наполнилась нашими войсками, вступавшими черезъ Коломенскую заставу,—всѣ они стремились впередъ за французами и вслѣдъ за ними потянулись скоро возвращающіяся телѣги и экипажи московскихъ жителей. Изъ военныхъ многіе забѣгали въ свои дома и, освѣдомившись, продолжали походъ. Между такими былъ шедшій съ ополченіемъ одинъ изъ молодыхъ князей Голицыныхъ; онъ постучалъ въ ворота и, когда увидѣлъ дѣдушку, бросился къ нему на шею съ радости. Онъ вошелъ въ комнаты, освѣдомился обо всемъ, и тогда дѣдушка разсказалъ ему о приключеніи со спасенной нами французенкой, которую онъ и полюбопытствовалъ увидѣть. Онъ благодарилъ дѣдушку за все и сказалъ, чтобы о больной заботились и сохранили ее до возвращенія его родителей.

Въ такомъ видѣ сохранился этотъ разсказъ въ моей памяти. Я слышалъ его въ 1850 году, не помышляя, къ сожалѣнію, о томъ, что я буду когда-нибудь его описывать, и теперь я удивляюсь, какъ мало я воспользовался совмѣстною жизнью моею съ такимъ рѣдкимъ сожителемъ, вмѣщавшимъ въ себѣ цѣлый архивъ драгоцѣнныхъ свѣдѣній объ этомъ времени Отечественной войны.

Разсказовъ Воронова было много; въ нихъ онъ, по страсти говорить, мѣшалъ былъ съ небылицею, дополняя и украшая разсказываемое своими вымыслами. Къ таковымъ принадлежали въ особенности его *сказки*, славившіяся извѣстностью въ нашемъ замкнутомъ мірѣ херсонскаго острога, но можно навѣрное сказать, что онѣ привлекали бы огромную толпу во всякомъ мѣстѣ, гдѣ бы онъ ни являлся разсказчикомъ.

Содержаніе ихъ разнообразно и многочисленно, и воспроизвести я не могу ни одной сказки, но самое говореніе его, настроеніе собравшейся около него толпы и общій характеръ видѣннаго и слышаннаго мною я очень бы желалъ возстановить, насколько это удастся мнѣ. Сказки его обыкновенно говорились подъ ве-

черъ въ праздничные дни, когда люди, не утомленные работой, никуда не торопились и бродили, не зная, что дѣлать.

О сказкѣ никогда не возвѣщалось, да и онъ самъ, полагаю, не зналъ того, и говорилъ, когда на него находила охота. Иногда его просили, вызывали на рассказы, и онъ рѣдко уклонялся отъ нихъ. Находившіеся вблизи его, видя его готовность, громко возвѣщали о томъ по обѣимъ казармамъ, и всѣ спѣшили занять поближе мѣсто, чтобы не только слышать, но и видѣть Воронова говорящимъ.

Говоря сказку, онъ стоялъ на своемъ мѣстѣ на нарахъ, придвинувшись къ самому краю ихъ; голова его возвышалась надъ всѣми, лицо оживлялось неподдѣльной мимикой, и голосъ его, всюду слышный, мѣнялся соотвѣтственно содержанію рассказа, также, какъ и выраженіе его лица; изображаемые имъ люди говорили каждый своимъ языкомъ, своимъ голосомъ. Лицо его становилось то смѣющимся радостнымъ, то угрюмымъ или страшнымъ. Проходившее по дѣламъ или случайно ближайшее начальство—унтеръ-офицера—равнымъ образомъ вовлекалось въ слушаніе. Тутъ забывались всѣ людскія отношенія и многія горести, пережитыя прежде, и всѣхъ привлекалъ одинъ интересъ чудеснаго, столь же по изящному, часто рифмованному говоренію, сколько и по фантастическому содержанію рассказа, часто съ примѣсю значительнаго юмора. Это былъ цѣлебный отдыхъ отъ безцвѣтной, однообразной жизни несчастныхъ заключенныхъ. Рассказъ талантливаго рассказчика выводилъ слушателей далеко за стѣны тюрьмы,—на волю, гдѣ передъ ними возникали картины природы, дѣйствія людей въ ихъ разнообразныхъ проявленіяхъ—пылкихъ страстей, любви, злобы, отчаянія...

Сказки Воронова были всегда предшествуемы, короткимъ предисловіемъ, обращеннымъ къ собравшимся слушателямъ, и предисловія эти съ первыхъ же словъ привлекали вниманіе. Мнѣ помнятся нѣкоторыя, и въ особенности одно изъ нихъ.

«Эхъ вы, братцы мои, братцы! Всѣ-то мы засидѣлись въ неволѣ; я ужъ старъ, облѣнился, многіе

вышли, кому какъ придется, что Богъ дастъ! Не вѣчна неволя, какъ не вѣчны, не прочны дѣла людскія и ихъ рѣшенія писанныя. У Бога все близко, и не знаемъ мы ни дня, ни часа, когда жизнь наша измѣнится... Ну, слушайте, я буду вамъ правду говорить, чистую правду, маленько привираючи, конечно, приплетаючи, а вы уже сами разберете. Я выведу васъ, да и самъ выскочу изъ тюрьмы на волю, позабавимся вмѣстѣ. Такъ слушайте: то не волъ мычить, — человѣкъ сказку говорить... Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, а именно въ томъ, въ которомъ мы живемъ, жили, были...»

Затѣмъ слѣдовалъ самый рассказъ, и столь увлекательный, что былъ слушаемъ всѣми съ напряженнымъ вниманіемъ. Тишина была полная, звучалъ только одинъ его голосъ, чистый теноръ, прерываемый возгласами или смѣхомъ, или криками одобренія...

Слова лились изъ устъ рассказчика, глаза его блистали какъ бы вдохновеніемъ, рѣчь его то лилась потокомъ, то пріостанавливалась и затѣмъ возобновлялась съ новымъ увлеченіемъ.

XXX.

Однажды—это было, сколько мнѣ помнится, зимою, въ концѣ 1850 года, въ одинъ изъ буднихъ дней, когда арестанты только что возвратились съ утреннихъ работъ, и я вошелъ на верхнія нары къ своему мѣсту, чтобы взять свою посуду для пищи. Вслѣдъ за мной пришелъ и Мехмедъ, у него въ рукѣ былъ какой-то узелокъ. Онъ показалъ мнѣ на него съ довольнымъ видомъ и сказалъ: «У насъ сегодня будетъ хорошій ужинъ». На вопросъ мой, что это у него, онъ мнѣ сказалъ по-турецки: «Это кусокъ мяса». На вопросъ—откуда?—онъ отвѣтилъ: «Аллахъ верды!» (Богъ послалъ). Я удивился и, покачавъ головой, сказалъ ему: «Ты стащилъ на базарѣ!» — «Ну, да,—отвѣтилъ онъ,—никто не замѣтилъ, и я благополучно принесъ его къ

намъ; теперь надо позаботиться приготовить его къ ужину». — «А что скажетъ мулла?» спросилъ я его. «А, онъ, конечно, будетъ ругать меня, а потомъ будетъ ѣсть со всѣми, и всѣ будутъ рады».

Затѣмъ онъ исчезъ, и я его до вечера не видѣлъ. Насталъ вечеръ, и арестанты вновь возвратились съ работъ, и, когда я шелъ съ моею посудой въ кухню, меня остановилъ одинъ изъ турокъ—это былъ знакомый Джурга—и сказалъ мнѣ:

— У насъ сегодня хорошій, сытный ужинъ, и наши земляки всѣ послали меня предупредить васъ и просить пожаловать къ намъ на вечернюю трапезу.

Объ утреннемъ разговорѣ моемъ съ Мехмедомъ онъ ничего не зналъ. Я въ этомъ былъ почти увѣренъ и потому спросилъ, какъ это и по какому случаю у нихъ сегодня хорошій ужинъ. Онъ отвѣтилъ, усмѣхаясь:

Не знаю, что мнѣ вамъ сказать; придете къ намъ—тамъ мулла вамъ скажетъ все. Приходите же сейчасъ.

Я пошелъ было поставить мою посуду наверхъ, но подумалъ, что, можетъ быть, взять ее съ собою, и съ нею, какъ былъ, пошелъ вслѣдъ за Джургой. Группа турокъ въ теченіе нѣкотораго времени вся мало-помалу перемѣстилась на другое мѣсто, тамъ же внизу, но съ правой стороны казармы, у самой задней стѣны зданія. Всѣ перебрались туда, кромѣ Мехмеда, который остался моимъ сосѣдомъ на верхнихъ нарахъ противоположной отъ нихъ стороны. Туда я пришелъ къ нимъ вмѣстѣ съ Джургой и засталъ ихъ всѣхъ сидящими вокругъ большого чугуна, казалось, только что вынутаго изъ русской печи. Тутъ собралась вся ихъ семья, и старый Османъ пришелъ къ нимъ изъ отдѣленія неспособныхъ. Они еще не начинали ужинать. Всѣ они имѣли довольный видъ, болтали, кромѣ муллы, который сидѣлъ задумавшись. Послѣ обыкновенныхъ привѣтствій и взаимныхъ любезностей, я поблагодарилъ ихъ за приглашеніе и полюбопытствовалъ спросить о причинѣ собранія ихъ всѣхъ на ужинъ; тогда мулла сказалъ:

— Мнѣ не легко отвѣтить вамъ на этотъ вопросъ. Я долженъ вамъ многое объяснить, и потому позвольте

отложить это объясненіе до окончанія ужина. Какъ видите, горячій супъ, съ такимъ стараніемъ приготовленный Османомъ, стынетъ, и ожидающіе ужина всѣ голодны. Будемъ сначала кушать, а потомъ уже говорить. и мнѣ предстоитъ обсудить многое, касающееся жизни всѣхъ насъ въ острогѣ. Будемъ кушать,—сказалъ онъ и протянулъ руку ко мнѣ за мою посуду.

Онъ налилъ мнѣ полную чашку крѣпкаго, густого отвара мяса, приправленнаго картофелемъ, морковью, разными кореньями и пряностями. Супъ своимъ видомъ и запахомъ возбуждалъ аппетитъ, и всѣ застольники молча принялись за ѣду. Затѣмъ, многіе, вкушая отменно вкусный супъ, выражали свое удовольствіе Осману, приготовившему его. Послѣ первой порціи были наливаемы вторыя, но нѣкоторыя уже просили полупорціи. Потомъ были вынуты изъ супа куски жирной говядины и порѣзаны на деревянной доскѣ. Каждый бралъ себѣ и повторно, сколько хотѣлъ, такъ какъ мяса была цѣлая гора. Восхваляемый ужинъ былъ сопровождается оживленною бесѣдою. Послѣ ѣды всѣ замолкли, и, казалось, наступилъ часъ отдохновенія, тогда мулла поднялъ отложенный вопросъ.

— Теперь я считаю своимъ долгомъ. — сказалъ онъ,—обсудить многое... Причиной, или, лучше, виновникомъ, какъ вамъ извѣстно, нашего ужина былъ одинъ изъ насъ... Хотя и совѣстно, но надо признаться, что нашъ землякъ Мехмедъ, вашъ сосѣдъ по ночлегу,—сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—большой плутъ... Представьте, что онъ совершилъ сегодня: вернувшись съ утреннихъ работъ, онъ принесъ съ собою кусокъ мяса... Конечно, никто ему не подарилъ, а онъ сташилъ съ лотка, укралъ у торговца и принесъ въ казарму. Мы всѣ, узнавъ о случившемся, пристыдили его, но онъ виновнымъ себя не призналъ, пожималъ плечами и, смѣясь, утверждалъ, что голодному можно украсть пищу. На этомъ разсужденіи нашемъ и его оправданіи мы остановились утромъ, а потомъ всѣ должны были вновь выходить на работу, а между тѣмъ тутъ возникъ и другой вопросъ—спѣшный: что дѣлать съ принесеннымъ имъ большимъ кускомъ мяса? Самое лучшее, по моему, было бы бросить его, пусть

Мехмедъ дѣлаетъ съ нимъ, что хочетъ, но наши земляки, какъ и всѣ живущіе здѣсь, съ аппетитомъ, единогласно порѣшили сварить на ужинъ хорошій супъ, и вотъ достали у кашеваровъ картофеля, моркови, крупы, кореньевъ, перцу и пряностей, и тамъ же въ кухнѣ Османъ приготовилъ намъ ужинъ. Такимъ образомъ состоялся сегодняшній ужинъ, но я бы желалъ, чтобы такихъ ужиновъ у насъ больше не было. Если въ острогѣ пища и не очень сытна, то все же мы не умираемъ съ голода. Мехмедъ развѣ больше страдаетъ, чѣмъ всѣ здѣсь живущіе, что ему дозволяется нарушать законы! Мы всѣ, благодаря Бога, живы и здоровы на этой пищѣ, а въ праздничные дни насъ кормятъ хорошо благотворители, и мы въ русской тюрьмѣ не обижены ничѣмъ передъ другими; даже готовящіе обѣдъ насъ, чужестранцевъ, надѣляютъ какъ бы болѣе щедрой рукою.

Мехмедъ, слыша эти слова, покраснѣлъ и дрожащимъ голосомъ, ударяя себя рукою въ грудь, воскликнулъ:

«Бисмиллягир-рахмани (во имя Бога всемилостиваго)! я никогда не сдѣлалъ бы того на свободѣ!»

— Слышали вы, что онъ сказалъ?! Нѣтъ, друзья мои, никогда, никто изъ насъ, въ какомъ бы положеніи онъ ни находился, въ неволѣ ли, въ плѣну или на свободѣ, не долженъ творить беззаконія, но всякій долженъ себя вести одинаково честно. Всюду, во всѣхъ странахъ, кража признается постыднымъ грѣхомъ, по нашему мусульманскому шаріату и по русскому закону. Я вѣрю словамъ Мехмеда, что прежде, на свободѣ, онъ такъ не поступалъ, но я боюсь за него, чтобы онъ за этотъ долгій срокъ нашего здѣшняго плѣненія не испортился совѣсть, — дурныя привычки легко усваиваются... пожалуй, и водку станетъ пить...

Мехмедъ слушалъ съ безпокойствомъ. Ему хотѣлось прекратить оскорбительную для него рѣчь муллы, онъ порывался говорить и наконецъ смиреннымъ голосомъ проговорилъ:

«Я никогда болѣе не буду такъ поступать!...»

— Ну, вотъ такъ, это лучше. Простимъ ему въ этотъ разъ и предадимъ забвенію нашъ сегодняшній

узнать. Будемъ жить мирно, благочестиво въ неволѣ (это воля Божія) и не очернимъ нашу жизнь никакими грязными дѣлами. тогда, и выйдя изъ воли, мы будемъ достойны лучшей жизни и будемъ чувствовать свое достоинство передъ Богомъ и людьми!

Этимъ окончилось высоконравственное поученіе мурлы. Остальное время проведено было въ тихой бесѣдѣ, мы сидѣли всѣ вмѣстѣ, нѣкоторыхъ клонило ко сну, и они располагались къ ночи. Мурлы благодарить меня, сказать, что онъ считаетъ меня какъ бы своимъ землякомъ. Прощаясь съ Мехмеломъ, онъ подѣлъ ему руку и, смотря ему въ глаза, сказать:

«Ты знаешь, я люблю васъ всѣхъ и тебя, можетъ быть, болѣе всѣхъ нашихъ, люблю и жалѣю, такъ какъ ты моложе насъ всѣхъ!»

Послѣ того мы простались совсѣмъ и пошли на свои верхнія нары. Прощаясь, я сказать мурлѣ:

— Мехмель и мы всѣ не забудемъ сегодняшняго ужина!

XXXI.

По-временамъ, очень рѣдко, впрочемъ, арестантамъ предлагалась баня. Они ходили туда партіями, въ сопровожденіи унтеръ-офицера и соотвѣтственнаго по числу арестантовъ конвоя. Баня выбиралась не вдалекѣ отъ острога,—очень тѣсная, дешевая. Въ ней было два помѣщенія—раздѣвальня и самая баня съ кранами горячей и холодной воды и съ полкомъ для пара—въ той же комнатѣ. Она помѣщалась въ крѣпости, на крутомъ берегу Инѣпри. Я всегда пользовался этимъ случаемъ, чтобы хоть сколько-нибудь омыться теплою водою съ мыломъ. Въ первый разъ, однако же, когда я вошелъ въ нее, въ первой комнатѣ на скамьяхъ не было ни одного мѣстечка, и, видя другихъ сидящихъ на полу, я старался приткнуться гдѣ-нибудь у стѣнки, но тутъ меня взялъ подѣ руку одинъ изъ арестантовъ и попросилъ перейти на его мѣсто на скамейку—это

былъ упомянутый уже въ описаніи псаломщикъ. Невозможно было укладывать свое бѣлье въ отдѣльности—все складывалось, какъ попало, вмѣстѣ.

Войдя въ банную, я былъ удивленъ представившимся мнѣ зрѣлищемъ. Отъ пару не видно было ничего, стоялъ какой-то густой туманъ,—въ двухъ шагахъ нельзя было различать предметовъ—ни лицъ, ни скамеекъ, ни ступенекъ полка. Всѣ входящіе наталкивались одинъ на другого: въ рукахъ я держалъ кусочекъ мыла и маленькую мочалку. Подвигаясь впередъ, разсматривая, что и кто это, я вдругъ наткнулся на Мустафу, который взялъ меня за руку и пригласилъ сѣсть возлѣ него на полу, — на другой сторонѣ отъ меня я увидѣлъ Мехмеда и всю компанію турокъ. Они мнѣ помогли разобраться въ этой объятый туманомъ тѣснотѣ, приносили мнѣ воду и просто мыли меня. Тутъ я увидѣлъ вблизи меня моющагося Глущенко и былъ изумленъ страшнымъ видомъ его спины. Она была вся изрыта, исполосована поперекъ идущими глубокими рубцами, которые въ мѣстахъ перекрещиванья полосъ представляли узлы безобразно зажившихъ ударовъ. Это были страшные слѣды тысячей шпицрутеновъ, которыми онъ былъ нещадно избитъ за свою расправу съ ихъ ротнымъ командиромъ. Видя, что у него не было мочалки, я попросилъ позволенія дать мнѣ вымыть его спину—и онъ согласился, хотя не сразу, на мою усердную и настойчивую просьбу; я развелъ мыло въ его ряжкѣ и старательно теръ ему его избитую спину съ особеннымъ чувствомъ довольства, тѣмъ какъ бы воздавая почтеніе перенесеннымъ имъ жестокимъ страданіямъ. Это была зима, великій постъ, и многіе выбѣгали на крыльцо и обтирались лежавшимъ около бани снѣгомъ.

Въ дополненіе къ этой главѣ тѣлеснаго очищенія присоединяю краткую замѣтку о тѣлесномъ загрязненіи, составляющемъ, какъ я узналъ потомъ, обычное явленіе въ жизни арестантовъ.

Изъ партіи работающихъ арестантовъ иногда отдѣлялось нѣсколько человѣкъ для исполненія какой-либо частной работы, съ вознагражденіемъ за трудъ.

Такъ, однажды потребовалось перенесеніе какой-то

торговой будки на другое мѣсто. Случайно и я примкнулъ къ этой партіи—5 человѣкъ съ конвойнымъ. Мы пошли. По окончаніи работы, получивъ вознагражденіе, арестанты переговорили о чемъ-то между собою и съ конвойнымъ и вся партія повернула неожиданно къ Днѣпру. Шли скоро. На мой вопросъ, куда мы идемъ, я получилъ отвѣтъ—въ бардель. Я шель съ ними, мы пришли къ ряду какихъ то домишекъ на самой крутизнѣ спуска. Это было осенью.

У входа меня арестанты звали зайти, но я уклонился отъ этого, сказавъ, что подожду здѣсь у входа. Узнавъ о моемъ отказѣ, конвойный, который имѣлъ въ виду тоже облегчить свое половое томленіе, задумался. Я спросилъ его, чего вы остановились? Онъ посмотрѣлъ на меня въ недоумѣніи съ упрекомъ, но потомъ сказалъ—«Вы же здѣсь подождете?»—«Разумѣется подожду,—идите спокойно». Онъ ушелъ поспѣшно и я остался въ необычномъ для меня положеніи—совершенно одинъ на берегу Днѣпра. Черезъ минутъ 15 выбѣжалъ конвойный и былъ обрадованъ, найдя меня у входа. Скоро вышли и остальные и мы пошли присоединиться къ партіи, отъ которой отдѣлились. По дорогѣ я спросилъ одного. Что стоитъ это удовольствіе? Онъ отвѣтилъ: «5 копѣекъ. Хорошо, что вы не пошли—слишкомъ ужъ погано!»

XXXII.

Въ теченіе всего великаго поста, томясь и скучая безцвѣтною моею жизнью, безъ всякаго умственного занятія, среди арестантовъ, я нерѣдко вспоминалъ исповѣдь мою на первой недѣлѣ поста и слова почтеннаго старца, отнесшагося къ судьбѣ моей съ сочувствіемъ и участіемъ и общавшаго мнѣ книгу Іоанна Златоуста для чтенія. Ждалъ я сначала съ любопытствомъ и желаніемъ имѣть при себѣ хоть какую-нибудь книгу; но прошла недѣля, другая и такъ весь великій постъ, и я думалъ, что преподобный отецъ уже забылъ обо мнѣ. Но вотъ, на Ѳоминой

недѣлѣ, вернувшись съ арестантами въ казарму, я получилъ приказаніе въ тотъ же день идти къ отцу протоіерею—въ его жилище и былъ тамъ въ шестомъ часу вечера. Послѣ обѣда я долженъ былъ остаться безъ выхода на работу. Къ означенному времени я увидѣлъ моего пріятеля, унтеръ-офицера Матвѣева, который пришелъ за мной, чтобы сопровождать меня на квартиру протоіерея. Я вышелъ въ арестантской курткѣ безъ полушубка, такъ какъ была уже весна и вскрылся Днѣпръ. При выходѣ моемъ изъ калитки я увидѣлъ стоящаго солдата съ ружьемъ, и мы пошли втроемъ. Такое сопровожденіе двухъ человѣкъ отозвалось крайне непріятнымъ чувствомъ въ моемъ сердцѣ. Я выходилъ обыкновенно вмѣстѣ съ арестантами и не ощущалъ тягости этой охраны, но на меня одного столько охранительной силы вызвало во мнѣ какое-то жуткое впечатлѣніе—унтеръ-офицеръ съ тесакомъ и конвойный, какъ всегда, съ заряженнымъ ружьемъ! Мы шли съ версту по дорогѣ на форштатъ и дошли до дома, гдѣ жили соборные священники. Я вошелъ. Изъ сосѣдней комнаты послышался голосъ: «Кто тамъ?»

— Я, арестантъ Ахшарумовъ, пришелъ по приказанію отца протоіерея,—отвѣтилъ я.

«А,—сказалъ онъ, входя сейчасъ же въ комнату, гдѣ я стоялъ.—Давно желалъ васъ видѣть... я помню, вѣдь я обѣщалъ вамъ книгу, и вотъ цѣлый постъ прошелъ. Это время такое для насъ трудное, насилу справляешься: теперь только я отдыхаю, да и вся Святая прошла въ поѣздкахъ и посѣщеніяхъ. Ну, что же, какъ живете, здоровы?»

Я поблагодарилъ за то, «что меня вспомнили».

«Ну, какъ къ вамъ здѣшнее начальство?»

Я отвѣчалъ, что я его не вижу совсѣмъ, живу въ общей казармѣ и хожу на работу съ арестантами.

«И работать заставляютъ?»

«Нѣтъ. работать меня не заставляютъ, но и безъ дѣла скучно».

«Да, да. безъ дѣла скучно жить. Вѣрю, вѣрю, что вамъ тяжело, и жалѣю васъ! Но надѣйтесь болѣе всего на Бога. Онъ не оставитъ, сохранитъ вашу жизнь и вернетъ вамъ свободу и все потерянное».

Затѣмъ онъ предложилъ мнѣ поискать съ нимъ вмѣстѣ книгу проповѣдей Іоанна Златоуста.

«Это былъ знаменитый проповѣдникъ въ V вѣкѣ нашей эры—архіепископъ византійскій, по-гречески онъ назывался «Хрюзостомъ», по-русски Златоустъ. Сочиненія его у меня есть».

Онъ вышелъ въ другую комнату. Я послѣдовалъ за нимъ. Комната эта была раздѣлена перегородкою, не доходившею до потолка, на два отдѣленія. За перегородкою на полкахъ помѣщалась его библіотека, и, когда я вошелъ туда, я увидѣлъ, кромѣ книгъ, еще болѣе въ ту минуту меня заинтересовавшіе предметы: тамъ на нижнихъ полкахъ и на полу, на столикахъ и на табуреткахъ, въ углахъ и всюду, прислоненные къ стѣнѣ, лежали съѣстные припасы—приношенія мірянъ. Всего болѣе было обыкновенныхъ бѣлыхъ хлѣбовъ, затѣмъ—меду, яицъ разныхъ цвѣтовъ, куличей и другихъ мелкихъ приношеній. Такая вкусная, необыкновенная для меня въ то время пища привлекла невольно все мое вниманіе, и я, рассматривая его библіотечку, все думалъ, если бы онъ мнѣ далъ хотя бы одинъ французскій хлѣбецъ, я бы его съѣлъ съ особеннымъ удовольствіемъ. Такъ продолжались его поиски съ четверть часа. Не находя упомянутой книги, онъ становился на табуретку и обзрѣвалъ верхнія полки. Я, показывая, что ищу внизу, все болѣе увлекался разсмотрѣніемъ представшей моимъ глазамъ въ такомъ обилии прекрасной пищи. И если бы я ему сказалъ, то я увѣренъ, святой отецъ не пожалѣлъ бы надѣлать меня цѣлой охапкой засохшихъ уже и пропадающихъ у него въ чуланѣ хлѣбовъ, но я этого не сдѣлалъ.

«Вотъ, нашелъ,—воскликнулъ онъ,—Іоанна Златоуста,—и снялъ съ верхней полки большую, въ желтомъ, кожаномъ переплетѣ *in quarto* книгу. - Вотъ возьмите и читайте!»

Мы вышли изъ его чулана въ прежнюю гостиную; онъ предложилъ мнѣ сѣсть и еще поучалъ меня и ободрялъ, утѣшая, что я буду вновь свободенъ. Затѣмъ благословилъ меня и отпустилъ. Мы вышли; смеркалось, погода была теплая и весенняя, и я, прекрасно прогулявшись, вернулся въ казарму. Арестанты, уже вернув-

пшисъ, поужинали, и я съ моею суповою посудою пошелъ въ кухню.

Книгу, данную мнѣ священникомъ, прочелъ я почти всю, она была на славянскомъ и читалась трудно. Черезъ мѣсяцъ приблизительно я испросилъ позволеніе отнести эту книгу и вновь, сопровождаемый солдатомъ и унтеръ-офицеромъ, былъ на квартирѣ протоіерея, но его дома не засталъ и, оставивъ книгу, просилъ передать ему мою благодарность.

XXXIII.

Наступила весна 1850 года: я продолжалъ выходить каждый день съ арестантами на работы и вотъ однажды, когда съ партіей арестантовъ я вновь былъ на инженерномъ дворѣ, вышеупомянутый А. М. Бушковъ пригласилъ меня войти въ квартиру инженера Рудыковского и провелъ меня самъ съ крыльца, выходившаго на дворъ.

Объ этихъ людяхъ было упомянуто мною. Рудыковскій былъ единственный человѣкъ во всемъ городѣ, который не побоялся принять во мнѣ участіе и оказать мнѣ какъ нравственную, такъ и матеріальную поддержку. Я вошелъ къ нему въ домъ, и онъ, встрѣтивъ меня привѣтливо, попросилъ войти въ столовую, гдѣ онъ въ то время пилъ чай. Съ первыхъ словъ его онъ своимъ деликатнымъ со мною обращеніемъ удовлетворилъ самой насущной потребности души, лишенной въ продолженіе долгаго уже времени живого, добраго слова участія со стороны человѣка одинаковаго со мною общества и образованія. Въ его голосѣ, въ его вопросахъ мнѣ слышалось что-то какъ бы родственное, близкое моему сердцу. Николай Евстафіевичъ Рудыковскій былъ лѣтъ сорока отъ роду, средняго роста, бѣлолицый, бѣлокурый, красивый собой мужчина. Лицо его носило отпечатокъ умственнаго труда, выраженіе было серьезное, но вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно привѣтливое и какъ бы грустное. Послѣ нѣкоторыхъ вопросовъ о моемъ по-

ложеніи онъ выразилъ сожалѣніе, что, несмотря на желаніе познакомиться со мною съ самаго моего прибытія въ здѣшній острогъ, онъ долженъ былъ откладыватьъ.

— Ваше ближайшее крѣпостное начальство, напуганное строжайшими о васъ предписаніями, имѣло и на меня вліяніе, но теперь уже о васъ перестали говорить, и я готовъ вамъ помочь всѣмъ, чѣмъ могу.

Затѣмъ онъ предложилъ мнѣ чаю, и я съ особеннымъ удовольствіемъ впервые послѣ дороги пилъ чай и ѣлъ бѣлый хлѣбъ. Потомъ пришла къ столу его жена, молодая, худенькая красивая женщина, и онъ познакомилъ меня съ нею и съ маленькой дочкой, которая была на рукахъ у нянюшки. Первая бесѣда моя съ нимъ была недолгая, и эти полчаса, проведенные съ нимъ, имѣли на меня самое благотворное вліяніе. Я почувствовалъ вдругъ, что я не одинъ, забытый всѣми, но вблизи отъ меня есть искренно ко мнѣ расположенный человѣкъ, въ сердцѣ котораго «почтены мои страданья»,—другъ, готовый оказать мнѣ помощь и облегчить мнѣ пережить это тяжелое время. Съ этого дня внесена была въ мою жизнь отрадная мысль, меня утѣшавшая, и она какъ бы повѣяла надо мною во всѣхъ моихъ соображеніяхъ, размысленіяхъ и надеждахъ... Образъ этого человѣка, имя его сдѣлались мнѣ дорогими.

Вернувшись въ казарму къ обѣду, я не могъ забыть со мною случившагося и, пообѣдавъ, прилегъ и заснулъ въ пріятныхъ размысленіяхъ. Вечеромъ, я сообщилъ мою новость Кельхину. Онъ очень заинтересовался этимъ и раздѣлилъ мою радость. Позже вернулся и Биліо, но онъ съ праздниковъ не переставалъ пить, и я сожалѣлъ, что онъ для меня какъ бы все болѣе перестаетъ существовать.

XXXIV.

Съ теплымъ временемъ открылись новыя работы. Въ крѣпости начались поправки, очистка улицъ, переноска строительнаго матеріала, производство кирпича,

привозка песку въ тачкахъ, крашеніе крышъ и разныя другія, которыхъ въ эту минуту не вспомню. Между прочимъ, были нѣкоторыя и на инженерномъ дворѣ, но моя любимая работа—рубка дровъ—лѣтомъ не производилась. Будучи на дворѣ у жилища Рудыковского, я всегда надѣялся побывать у него, но самъ, безъ приглашенія, ни разу не рѣшился войти къ нему непрошеннымъ гостемъ. И онъ, я полагаю, воздерживался отъ приглашенія меня, — «политическій арестантъ» звучалъ непривѣтливо. Но отношенія мои съ моимъ начальствомъ были самыя для меня желательныя; оно какъ бы совсѣмъ забыло обо мнѣ, и я ни о чемъ не просилъ и о себѣ не напоминалъ.

Все болѣе наставало лѣто, и мѣстомъ любимой работы моей сдѣлался кирпичный заводъ. На немъ формовались плитки изъ глины, песку и воды и затѣмъ обжигались въ особо устроенныхъ для сего печахъ. Глина доставалась тамъ по близости, а песокъ привозился изъ мѣстности верстахъ въ четырехъ отъ завода. Самый кирпичный заводъ былъ устроенъ верстахъ въ трехъ отъ крѣпости, на самомъ берегу Днѣпра, и эта прогулка по чистой степи, вдали отъ всякаго людского жилья, мнѣ очень нравилась. Въ нарядѣ на работы, при распредѣленіи арестантовъ, каждому предоставлялся свободный выборъ, только бы выходило требуемое число, а если нужно было спеціальное знаніе какого-либо мастерства (кровельщики, маляры, печники), то назначались знающіе. Я былъ вполне свободенъ въ выборѣ, куда идти, и шелъ, куда мнѣ казалось пріятнѣе. Таковымъ былъ для меня кирпичный заводъ. Иногда же я избиралъ работу вблизи инженернаго двора, чтобы увидѣть, можетъ быть, Рудыковского.

Въ слѣдующій разъ, когда я былъ у него, онъ разспрашивалъ меня о моихъ нуждахъ, и я объяснилъ ему, что я лежу на голыхъ нарахъ, и мнѣ хотѣлось бы завести, по примѣру другихъ арестантовъ, самый простой тюфякъ—мѣшокъ съ соломой или сѣномъ, и затѣмъ имѣть при себѣ какую-нибудь книжку—всего лучше научнаго содержанія—карандашъ и бумагу.

— Я готовъ вамъ помочь во всемъ, но надо сдѣлать это съ соблюденіемъ обоюдной осторожности.

Я думаю, самое лучшее, если вы возьмете отъ меня, сколько вамъ нужно денегъ для необходимыхъ издержекъ, и сами справите себѣ, что вамъ нужно. Я вамъ буду давать понемногу, да у васъ могутъ и украсть тамъ арестанты.

Я поблагодарилъ его; онъ далъ мнѣ пять рублей.

— Что же касается книгъ, то вотъ что у меня есть.

Онъ привелъ меня къ этажеркѣ, гдѣ лежали книги, и я взялъ, кажется, какое-то сочиненіе по естественной исторіи—зоологію Мильнъ-Эдварса и Эли-де-Бомонъ (Elie-de-Baumont)—изслѣдованіе о нѣкоторыхъ переворотахъ на земной поверхности, также его «*Notices sur les systèmes des montagnes*». Вернувшись въ казарму, я подѣлился моими новостями съ ближайшимъ моимъ сосѣдомъ по нарамъ и просилъ его спрятать полученные мною 3 рубля для нашихъ общихъ надобностей, такъ какъ у меня не было никакого помѣщенія для денегъ, а мнѣ извѣстно, что арестанты хранятъ деньги всегда при себѣ, въ сапогахъ большею частью.

На другой же день я просилъ Кельхина купить холста для мѣшка. Онъ охотно взялся за это и обѣщалъ мнѣ и сшить изъ него мѣшокъ. Все это было сдѣлано очень скоро, и у меня явился мѣшокъ достаточной величины для моего ночлега, но не такъ-то легко было достать сѣна для набивки его. Тѣмъ не менѣе, я радъ былъ и подстилкѣ одного чистаго мѣшка на досчатая нары и улегся на немъ очень довольный. Остальныя деньги я отдалъ Мехмеду, предложивъ ихъ считать нашими общими и, что нужно, купить на нихъ.

Съ наступленіемъ теплой погоды, однажды, вернувшись съ работъ, я увидѣлъ, что въ сѣняхъ сдѣлалось свѣтло, какъ прежде не было; это выставлена была или снята съ петель большая, на зиму запертая, дверь на площадь крѣпости (противъ двери на дворъ), и осталась только одна, большой величины желѣзная рѣшетка, снаружи вдѣланная въ каменную стѣну и тоже при надобности отворяющаяся на обѣ половины, какъ дверь. Около этой рѣшетки скоро появились торговли съ пищею разнаго рода—пироги съ горохомъ,

куски жаренаго мяса, яйца, булки; арестанты покупали, кто могъ. Въ тотъ же день и я съ Мехмедомъ купили себѣ по пирогу съ горохомъ и съѣли ихъ, какъ рѣдкое лакомство. Помнится мнѣ, что въ одинъ изъ послѣдующихъ праздниковъ я купилъ себѣ у торговли небольшую кружку молока, котораго съ прибытія моего въ острогъ ни разу еще не пилъ, къ нему и булку бѣлаго хлѣба. Тутъ же въ сѣняхъ я присѣлъ на какую-то скамью и сталъ съ большимъ удовольствіемъ вкушать мою рѣдкую пищу. Между тѣмъ проходилъ мимо Иванъ Ефимовъ и, увидѣвъ меня въ такомъ интересномъ положеніи, остановился и сказалъ:

— Должно быть, это очень вкусно?

«Вы, будто, никогда не кушали такой пищи?» — сказалъ я ему.

— Я? — отвѣтилъ онъ. — Никогда; но, судя по тому, что мнѣ говорилъ одинъ жидъ, что онъ видѣлъ такого человѣка — ѣвшаго молоко съ хлѣбомъ, я могу только полагать какъ это должно быть вкусно!

Я, засмѣявшись, попросилъ его сѣсть и готовъ былъ подѣлиться съ нимъ моею пищею, но онъ, улыбнувшись, уклонился отъ предложенія, сказавъ: «Какъ можно. Давамъ-то и дѣлиться нечѣмъ! Я вѣдь это такъ сболтнулъ...»

Въ числѣ немногихъ лѣтнихъ работъ, на которыхъ я предпочиталъ бывать, были малярныя работы — красились крѣпостныя желѣзныя крыши. Погода была ясная, теплая, но солнце еще не жарило; рѣка была въ полномъ разливѣ. Зданія были высокія, крыши большія, работники же въ маломъ количествѣ, и всегда находились нетронутыя еще краскою мѣста, или уже высохшія, гдѣ можно было босикомъ прохаживаться, сидѣть или лежать. Съ высоты этихъ большихъ зданій разстилался огромный кругозоръ: широко разлившійся Днѣпръ былъ безбреженъ по ту сторону берега, и пароходы большіе и малые и парусныя барки неслись на моихъ глазахъ. Воздухъ вдыхался чистый, весенній, душистый, стаи птицъ летѣли на сѣверъ, и я былъ на крышахъ, какъ бы одинъ съ природою, не видя стражи, оставшейся внизу у лѣстницы, покинувъ внизу все земное. Товарищи мои по работѣ за-

няты были своимъ дѣломъ или тоже отдыхали, курили трубку и, сидя, бесѣдовали, пользуясь тишиною и покоемъ.

Крыши этихъ зданій были для меня самое спокойное мѣсто во все время моей острожной жизни: я отдыхалъ всею душою, и никто не мѣшалъ мнѣ предаваться вволю моимъ думамъ. Съ разсвѣтомъ дня я уже былъ на крышѣ и тамъ упивался моимъ высокимъ, изолированнымъ отъ всякихъ людскихъ притязаній положеніемъ между землею и небомъ. Тамъ стоялъ я молча, смотрѣлъ, прислушивался къ звукамъ природы, любясь безбрежнымъ разливомъ, произнося вполголоса вырывавшіяся изъ груди разныя слова!..

Еще одна работа интересовала меня—это нарядъ для привезенія въ тачкахъ запаса хорошаго песка въ мѣстность, болѣе удаленную отъ крѣпости. Объ этой работѣ я буду говорить ниже особо. Другія лѣтнія работы были самыя обыкновенныя—я не знаю, какъ и назвать ихъ; не было ни одного будничнаго дня, чтобы арестанты сидѣли дома. Они посылаемы были и въ городъ, и на базаръ за различными хозяйственными надобностями и возвращались оттуда нерѣдко и не съ пустыми руками; объ этомъ будетъ особая глава.

XXXV.

Зимою этого года у меня какъ-то ночью стала болѣть рука въ области плечевой кости—я почувствовалъ ломъ, который мѣшалъ заснуть, но это было кратковременно и мало чувствительно, и я не обращалъ вниманія на эту боль, которая, полагалъ я, должна сама пройти, но она возвращалась ночью, такъ что я долженъ былъ вставать и ходить. Это продолжалось недолго и затѣмъ забылось, но весною рука вновь заболѣла, и я желалъ увидѣть доктора. Когда я объ этомъ сказалъ Кельхину и Мехмеду, оба они посоветовали мнѣ пойти въ военный госпиталь, какъ это всѣ дѣлаютъ, такъ какъ особаго доктора для острога

нѣтъ, и острогъ этотъ военнаго вѣдомства. Военный госпиталь былъ за крѣпостью верстахъ въ двухъ, на берегу Днѣпра, и вотъ, я рѣшился тамъ побывать и полечиться. Объявившись по начальству больнымъ, я, въ сопровожденіи моего почетнаго караула—унтеръ-офицера и конвойнаго—былъ отправленъ въ госпиталь.

Меня приняли, привели въ особую палату—арестантскую. Она была полна больными, и у двери стоялъ часовой. Мнѣ выдали чистое бѣлье—длинную рубаху грубаго холста и большіе, выше колѣнъ, холщевые чулки съ завязками и сѣрый солдатскій халатъ; вещи напомнили мнѣ Петропавловскую крѣпость. Я легъ на кровать—на тюфякъ изъ мочалокъ, должно быть, и былъ удивленъ удобствомъ моего ложа, по сравненію съ досками и безъ постели. Кромѣ того, было и чѣмъ покрыться—одѣяло, подшитое простыней. Все это было для меня отдохновеніемъ, и я съ большимъ удовольствіемъ валялся на новой своей чистой постели. Комната была большая, свѣтлая, съ большими окнами на Днѣпръ. Вскорѣ подошелъ ко мнѣ на костылѣ какой-то хромоу мужчина высокаго роста, старше меня годами, въ военной одеждѣ, назвавшій себя фельдшеромъ, и, узнавъ мою фамилію, поинтересовался моимъ положеніемъ и моимъ здоровьемъ.

— Васъ положили въ арестантскую палату,—сказалъ онъ,—но надо будетъ устроить черезъ доктора, чтобы вы не были этимъ стѣснены.

Я поблагодарилъ его и сказалъ, что я ненадолго; у меня болитъ рука, и больше ничего.

— Ну это все равно сколько вы пробудете, но все же вамъ здѣсь хуже, чѣмъ въ другихъ палатахъ, и я позабочусь объ этомъ.

Я спросилъ его, кто онъ и какую должность занимаетъ при госпиталѣ. Онъ назвалъ мнѣ свою фамилію. Онъ былъ тоже арестантомъ и, такъ какъ прежде изучалъ медицину, то и остался помощникомъ вродѣ фельдшера и живетъ постоянно въ госпиталѣ при аптекѣ. Онъ предложилъ мнѣ пройти съ нимъ по палатамъ и зайти къ нему въ комнату. Я очень охотно согласился, и мы прошли всѣ палаты. Госпиталь былъ большой и полонъ больными.

Ожидался визитъ врача, и я поспѣшилъ къ своему мѣсту. Въ госпиталѣ было три врача: главный врачъ въ генеральскомъ чинѣ, старшій ординаторъ и младшій врачъ. Пришелъ съ визитаціей послѣдній, молодой человѣкъ небольшого роста, блондинъ, полный собой, лицомъ рябой. Онъ осмотрѣлъ меня, разспросилъ о болѣзни и прописалъ мнѣ какое-то лекарство—втираніе.

Подавалась вечерняя пища; она была гораздо лучше арестантской нашего острога. Эту ночь я спалъ очень хорошо и утромъ всталъ освѣженный новою обстановкою. Не помню, подавался ли чай, но я уже отвыкъ отъ него. Пришли врачи, осматривали меня и одобрили прописанное лекарство. Младшій врачъ, ведущій скорбный листъ, оставался въ палатѣ дольше и со мной обошелся очень любезно. На другой день меня перевели въ другую палату—не арестантскую,—просторную, гдѣ было свѣтлѣе и воздухъ былъ чистый. Этимъ мнѣ было оказано со стороны врачей особое вниманіе и довѣріе. Я былъ внѣ пристрастія стражи. Молодой врачъ пришелъ съ утренней визитаціей и сказалъ мнѣ:

— Мы перевели васъ въ эту палату—она въ санитарномъ отношеніи лучше прочихъ, и здѣсь нѣтъ заразныхъ больныхъ, да и вамъ будетъ здѣсь свободнѣе и лучше во многомъ.

Я былъ очень доволенъ моимъ перемѣщеніемъ въ госпиталѣ и новыми лицами, которыхъ я видѣлъ вкругъ себя, и это доставляло мнѣ отдыхъ и развлеченіе. Младшій врачъ относился ко мнѣ весьма сочувственно, назначалъ мнѣ болѣе питательныя пищевыя порціи. Познакомившись съ нимъ, я попросилъ дать мнѣ что-либо читать,—онъ назвалъ мнѣ нѣкоторыя сочиненія, которыя были у него, и, по моему выбору, принесъ мнѣ «Исторію воздухоплаванія», которую я прочелъ съ большимъ увлеченіемъ. Къ сожалѣнію, имени и фамилій его я не могу теперь вспомнить, но старые гѣда мои не заслонили въ моихъ воспоминаніяхъ его дорогой для меня образъ: онъ какъ бы живой и теперь передъ моими глазами и въ сердцѣ моемъ я храню къ нему чувство глубокой благодарности. Милый профельдшеръ заботился постоянно о

моемъ благополучіи, и я былъ окруженъ невидимыми заботами моихъ новыхъ доброжелателей. Рука у меня болѣла все такъ же по ночамъ, но я о ней пересталъ и думать, и только при вопросѣ о здоровьѣ говорилъ, что мнѣ лучше. Одно, чего мнѣ не доставало: я не могъ выходить на воздухъ и только смотрѣлъ въ открытыя окна. Въ арестантской палатѣ я встрѣтилъ нѣсколько сектантовъ — нѣмцевъ и нашихъ. Между послѣдними были строгіе фанатики. Одинъ изъ нихъ, говоря о преслѣдованіяхъ ихъ правительствомъ, выражалъ свою готовность «принять пулю, какъ драгоценную жемчужину».

Во время моего пребыванія въ госпиталѣ случилось со мною памятное мнѣ происшествіе. Вдругъ, въ утренній часъ, вошелъ въ палату офицеръ жандармскаго вѣдомства и за нимъ плацъ-маіоръ Червинскій и остановились у моей кровати: офицеръ этотъ передалъ мнѣ конвертъ, онъ былъ адресованъ на мое имя и запечатанъ большою печатью.

— Это письмо на ваше имя, — сказалъ онъ.

Я прочелъ надпись и распечаталъ конвертъ: въ немъ было письмо отъ моихъ родныхъ, написанное рукою брата Николая. Я прочиталъ съ безпокойствомъ и большимъ интересомъ. Затѣмъ мнѣ сообщено было, что я долженъ сейчасъ же отвѣтить собственноручно и передать мой отвѣтъ принесшему мнѣ письмо.

Мнѣ былъ данъ листъ почтовый бумаги большого формата. Я сѣлъ за столъ и сочинялъ письмо. Въ письмѣ ко мнѣ спрашивалось о моемъ здоровьѣ, сообщалось о готовности пріѣхать въ Херсонъ для свиданія со мною и о домашнихъ новостяхъ. Я отвѣчалъ, чтобы они не безпокоились обо мнѣ, что я переношу много лишеній, живу въ казармахъ съ арестантами, но вообще духомъ бодръ и здоровъ, въ госпиталѣ теперь, потому что у меня болитъ рука, которая, надѣюсь, скоро пройдетъ. Предложеніе пріѣхать ко мнѣ повидался теперь же я отклонилъ и очень просилъ ихъ не пріѣзжать сюда; въ настоящее время видѣть ихъ мнѣ было бы очень тяжело, но я буду надѣяться на лучшее время для свиданія съ ними...

Когда я окончилъ, я отдалъ написанный листъ

жандармскому офицеру, и онъ, сложивъ его, положилъ въ заранѣе приготовленный уже конвертъ и спряталъ въ свой боковой карманъ. Затѣмъ, не сказавъ мнѣ ни слова, слегка кивнувъ головой, ушелъ; за нимъ послѣдовалъ и плацъ-маіоръ. Послѣ я слышалъ отъ Биліо, что плацъ-маіоръ былъ очень непріятно удивленъ такимъ, помимо моего прямого начальства, дѣйствіемъ жандармскаго управленія.

XXXVI.

Въ моемъ предыдущемъ описаніи я не проронилъ ни одного дурного слова объ арестантахъ вообще, и мнѣ было бы грѣшно выставять на видъ дурное изъ нашей немногочисленной подневольной, замкнутой семьи. Многія погрѣшности можно и простить живущимъ въ такихъ ненормальныхъ условіяхъ жизни. Почти всѣ дѣйствія, называемыя по закону преступными, совершаются въ горячности или въ пьяномъ видѣ и рѣдко кто усваиваетъ себѣ, приобрѣтаетъ склонность къ повторенію такихъ дѣйствій.

Не могу, однако же, не сказать, что большинство ихъ были осуждены за воровство, и они, сохраняя въ себѣ склонность къ такого рода дѣйствіямъ, возвращались съ работы не всегда съ пустыми руками. Принося вещи украденныя, они ихъ припрятавали. У нѣкоторыхъ были ящики подъ нарами. Больше приносили они по вечерамъ, возвращаясь въ сумерки, и въ тотъ же самый вечеръ, послѣ ужина, на верхнихъ нарахъ производилась продажа ихъ съ аукціона. Приходили снизу многіе посмотреть, что продается. Продажа эта имѣла свой порядокъ: производилъ ее такъ-называемый майданщикъ—арестантъ запасливый, у котораго были всегда на-готовѣ вещи первой необходимости; у него можно было купить свѣчу, посуду и другія вещицы. Онъ же держалъ у себя карты, и около него собирались играющіе. Приходившій взглянуть снизу долженъ былъ, пробравшись наверхъ, при-

сѣсть, такъ какъ тамъ стоять нельзя было. Если было темно, зажигалась свѣча. Все это дѣлалось безъ шума, хотя и не очень стѣсняясь—всѣ знали, всѣ пользовались, кто могъ, и всѣ молчали. Вещь показывалась и называлась по имени. Унтеръ-офицера не вмѣшивались ни во что, да имъ и дарилась часть этихъ вещей, въ особенности фельдфебелю. Говорили, что и ротный былъ задабриваемъ приношеніями украденныхъ лучшихъ вещей. Таковы были нравы полвѣка тому назадъ, никто не осуждалъ, не протестовалъ. Я приходилъ взглянуть тоже на эту продажу и удивлялся, какъ много было накрадено, быть можетъ, это не за одинъ разъ. Вообще склонность къ пріобрѣтенію, къ увеличенію своего имущества такъ велика во всѣхъ людяхъ, что она весьма легко затемняетъ понятіе о правовыхъ границахъ владѣнія.

Нѣкоторые способы присвоенія чужого имущества, въ понятіяхъ даже и умственно развитаго класса людей, считаются какъ бы совершенно законными и никто тому явно не возражаетъ—по близорукости, легкомыслію или изъ опасенія вовлечь себя въ непріятности. Событія послѣднихъ лѣтъ у насъ въ Россіи—крахи столькихъ акціонерныхъ банковъ показали явно, что причиной тому былъ широкій кредитъ, которымъ пользовались лица, стоявшія во главѣ управленій ихъ, распоряжавшіяся капиталомъ акціонеровъ и ихъ вкладами, какъ своею собственностью. Нынѣ постигшій насъ кризисъ даетъ обильный матеріалъ для размышленій о хищнической природѣ человѣка, которую законодатель долженъ имѣть въ виду, съ цѣлью большаго обезпеченія имущественнаго права: Сесили Родсы, Чемберлены и имъ подобные хищники алмазныхъ копей и золотыхъ рудъ не знаютъ границъ самообогащенія и готовы подъ лицемѣрной эгидой любви къ отечеству разорять, уничтожать огнемъ и мечемъ на пути къ ихъ замысламъ стоящія цѣлыя поселенія мирныхъ жителей. Какъ же послѣ этого мы будемъ осуждать недостаточно для жизни обезпеченныхъ чиновниковъ, за то, что они составляютъ кое-какіе сбереженія изъ крохъ ввѣренныхъ имъ управленій? Еще менѣе такой осуждающій образъ мыслей примѣнимъ къ

гидравлическим способом во время движения и т. п.

Он изложил все, что было сделано, и спросил, не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать, и не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать.

Видя, что все было сделано, он спросил, не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать, и не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать. Он спросил, не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать, и не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать.

— А ну! Там же, где вы были, все ли было сделано?

Интерьер-офицер ответил, что все было сделано, и что он был очень доволен, что все было сделано, и что он был очень доволен, что все было сделано.

Видя, что все было сделано, он спросил, не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать, и не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать.

Он спросил, не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать, и не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать. Он спросил, не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать, и не было ли еще чего-нибудь, что он мог бы сделать.

— А ну! Кто там широк, что там такое?

«Привали новата арстанта, ваше высококоролье».—от-
вечать интерьер-офицеру.

— А ну! Привали это до меня.

Интерьер-офицер пошел в двери канцелярии ар-
станта.

Кто ты?—громко спросил командир.

«Из бродяг, ваше высококоролье, непомнящий род-
ства».— робко проговорил стоявший в дверях.

— А за что тебя до нас послали?

«За воровство и пьянство, ваше высококоролье».—от-
вечать слабым голосом спрошенный.

Такой ответ видимо смутил его; он отвернулся,
задумался, положил гитару и тихо проговорил:

— Ступай.

Вслѣдъ затѣмъ, положивъ гитару, и самъ онъ поднялся съ мѣста и съ помощью унтеръ-офицера вышелъ изъ казармы.

XXXVII.

Весна скоро смѣнилась лѣтомъ; прошли дожди и грозы, наступили ясные, сухіе и пыльные дни. Пыль эта была не такая, какую я привыкъ видѣть въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ Россіи, она была известковая, мельчайшая, парящая въ воздухѣ какъ бы до небесъ. Эта пыль, какъ я узналъ позже, по всей южной Россіи, но я впервые увидѣлъ и ощутилъ ее въ Херсонѣ. Съ непривычки она трудно переносима и вызываетъ постоянное желаніе вымыть себѣ лицо, глаза, уши, носъ и руки. Она забивается въ самыя тончайшія ткани одежды. Для меня, случайнаго жителя острога, лишеннаго возможности соблюдать привычную чистоту, она была особенно тягостна. Въ маѣ уже наступили жары. Для арестантовъ херсонскаго военнаго острога особаго лѣтняго платья не было, и всѣ ходили въ зимнихъ суконныхъ курткахъ, а на работахъ онѣ сбрасывались, и работали безъ нихъ. Арестантскія работы производились большею частью, какъ я уже упомянулъ, безъ торопливости, лишь бы арестанты не сидѣли сложа руки, но нѣкоторые изъ работъ были спѣшныя, и тогда унтеръ-офицера и инженерные начальствующие наблюдали сами и торопили. Въ такихъ случаяхъ предпочиталась работа на урокъ, т.-е. назначалось, сколько должно быть исполнено утромъ и послѣобѣда, и арестанты охотно и дружно принимались за дѣло и приводили его скорѣе къ назначенному концу, чѣмъ бы они сдѣлали это съ поуканіями. По окончаніи урока они были свободны и могли возвращаться раньше въ свое жилище. На таковой работѣ, если я находился въ нарядѣ, то считалъ долгомъ участвовать въ общемъ трудѣ. Работа эта раннимъ окончаніемъ обязательнаго труда утромъ

и вечеромъ даетъ болѣе отдыха и измѣняетъ отчасти весь день. Вотъ одинъ изъ такихъ дней.

Работа была въ крѣпости на берегу Днѣпра—ломка стараго строенія и переноска годнаго матеріала на другое мѣсто. Назначенъ былъ большой нарядъ арестантовъ, а работа, для успѣшнаго окончанія, дана была на урокъ. Арестанты, взявшись за дѣло, торопились окончить его какъ можно скорѣе, потому и я счелъ нужнымъ содѣйствовать своими руками къ скорѣйшему его окончанію. Какъ только я началъ работать, помогая переносить, я былъ остановленъ арестантами, но въ этотъ разъ я не хотѣлъ присутствовать, ничего не дѣлая, когда всѣ усиленно работали. Многіе изъ арестантовъ противились этому и унтеръ-офицеръ тоже отговаривалъ, но я не оставилъ работу и мнѣ было это вовсе не трудно. Мы кончили часомъ раньше передъ обѣдомъ и отправились на покой. Мнѣ было пріятно, что я исполнилъ то, что считалъ долгомъ. Къ тому же, работа не будучи сверхъ моихъ силъ, меня не утомила, а только оживила во мнѣ кровообращеніе. Послѣ обѣда мы отправились вновь на ту же работу и вернулись въ казарму раньше сумерекъ, и я былъ доволенъ работою дня. День былъ жаркій; по приходѣ въ казарму, большинство арестантовъ вышли отдыхать на дворъ. На немъ, какъ я уже упомянулъ, росло большое дерево бѣлой акаціи; оно было все въ цвѣту и наполняло воздухъ живымъ ароматомъ. Усталый нѣсколько въ этотъ день, я сѣлъ подъ нимъ, прислонившись спиною къ стволу. Солнце садилось, и арестанты всѣ выходили изъ душной тюрьмы на дворъ. Большинство садились, прислонившись къ каменной стѣнѣ, нѣкоторые усаживались вблизи меня подъ навѣсомъ акаціи. Запахи цвѣтовъ, когда-то слышанные нами въ жизни, при повтореніи навѣваютъ воспоминанія былого и переносятъ насъ въ другую обстановку совсѣмъ иного времени. Запахъ бѣлой акаціи былъ мнѣ чрезвычайно пріятенъ и вызвалъ передо мною картину лѣта, проведеннаго мною однажды за границей въ 1845 году въ Карлсбадѣ, куда я сопровождалъ мою больную мать. Сидя на арестантскомъ дворѣ, я мысленно уносился въ это пріятное мнѣ воспо-

минаніе: я былъ тогда еще студентомъ и наслаждался полнѣйшею свободой, совершалъ дальнія, загородныя прогулки, всюду одинъ, бродилъ по горамъ, по непроходимымъ путямъ, лежалъ на самыхъ вершинахъ горъ, на спинѣ, смотря на небо, не видя кругомъ себя земли. Утромъ, по желанію и настоянію моей матери, для запаса здоровья, принималъ я теплыя ванны горячаго источника Шпруделя и въ тотъ же день, послѣ обѣда, спускался на цѣлые часы въ долину Егеря и, подходя, разгорѣвшись и въ поту, къ рѣкѣ, купался въ ней съ наслажденіемъ.

Тогда я былъ вполнѣ свободенъ и счастливъ,—теперь я запертъ въ тюрьмѣ, негдѣ и омыться... Кельхинъ вышелъ на дворъ и сѣлъ подлѣ меня. Всѣ говорили о томительной жарѣ и недостаткѣ хорошаго дождя. Между тѣмъ темнѣло все болѣе, и остальные рабочіе наряды возвращались домой. Билась вечерняя заря. Арестанты всѣ повыходили изъ душныхъ стѣнъ казармы на дворъ и, сидя, разговаривали кучками.

Вечеръ былъ безоблачный, потемнѣвшее небо заблистало звѣздами. Кельхинъ и я, мы встали, и, прохаживаясь со мною, онъ предался воспоминаніямъ совершеннаго имъ дважды кругосвѣтнаго плаванія, въ «немолчномъ разливѣ океана». Я интересовался его рассказами; при этомъ онъ называлъ поименно созвѣздія и звѣзды, видимыя нами.

— Вотъ Малая Медвѣдица,—говорилъ онъ,—и Полярная звѣзда; отъ нея, проводя прямыя линіи, можно найти всякую звѣзду. Послѣдовательность восхожденія звѣздъ одной за другою не мѣняется; вотъ Плеяды, за ними всегда слѣдуетъ Альдебаранъ—свѣтлая звѣзда 1-й величины, за нимъ—ближе къ горизонту—стоитъ созвѣздіе Оріонъ, а за нимъ на горизонтѣ восходитъ Сиріусъ—самая яркая, сверкающая бѣлокапильнымъ брилліантовымъ лучемъ неподвижная звѣзда въ нашемъ полушаріи! А вотъ стоитъ Юпитеръ, теперь находящійся въ періодѣ близкаго своего разстоянія къ солнцу и землѣ...

Онъ говорилъ объ отдаленности отъ земли планетъ и неподвижныхъ звѣздъ и о паралаксахъ,—экваторіальномъ (на поверхности земли) и годовомъ (на

дѣйствіямъ лишенныхъ свободы подневольныхъ жителей остроговъ.

Въ заключеніе изложенныхъ размышленій присоединяю совершившійся на моихъ глазахъ случай съ капитаномъ Петрини, дополняющій эту главу въ видѣ иллюстраціи.

Однажды, подъ вечеръ, капитанъ Петрини пришелъ во ввѣренную его управленію роту и, пріостановившись въ дверяхъ, будучи выпивши, нетвердою походкою дошелъ до клѣточной канцеляріи и сѣлъ въ ней у стола на нары. За нимъ слѣдовалъ унтеръ-офицеръ. Просидѣвъ нѣсколько минутъ, онъ проговорилъ:

— А, ну! Пошли ко мнѣ на квартиру, нехай дадутъ гитару.

Унтеръ-офицеръ ушелъ, а капитанъ въ полголоса сталъ напѣвать малороссійскіе пѣсни... Арестанты какъ бы вовсе не интересовались его присутствіемъ.

Принесли гитару. Онъ взялъ ее въ руки и грязными пальцами пощипалъ по струнамъ и забормоталъ что-то, припѣвая.

Въ такомъ пріятномъ настроеніи сидѣлъ онъ нѣсколько минутъ, распѣвая все громче, какъ вдругъ—въ казармѣ хожденіе и разговоры: привели какого-то бѣднягу новаго арестанта,—худого, грязнаго, оборваннаго; онъ былъ молодъ, очень блѣденъ и имѣлъ видъ замученный,—можетъ быть, послѣ этапнаго пути.

— А, ну! Кто тамъ шумитъ, что тамъ такое?

«Привели новаго арестанта, ваше высокородіе»,—отвѣчалъ унтеръ-офицеръ.

— А, ну! Приведи его до мене.

Унтеръ-офицеръ подвелъ къ двери канцеляріи арестанта.

— Кто ты?—громко спросилъ командиръ.

«Изъ бродягъ, ваше высокородіе, непомнящій родства»,—робко проговорилъ стоявшій въ дверяхъ.

— А за что тебя до насъ послали?

«За воровство и пьянство, ваше высокородіе»—отвѣчалъ слабымъ голосомъ спрошенный.

Такой отвѣтъ видно смутилъ его; онъ отвернулся, задумался, положилъ гитару и тихо проговорилъ:

— Ступай.

Вслѣдъ затѣмъ, положивъ гитару, и самъ онъ поднялся съ мѣста и съ помощью унтеръ-офицера вышелъ изъ казармы.

XXXVII.

Весна скоро смѣнилась лѣтомъ; прошли дожди и грозы, наступили ясные, сухіе и пыльные дни. Пыль эта была не такая, какую я привыкъ видѣть въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ Россіи, она была известковая, мельчайшая, парящая въ воздухѣ какъ бы до небесъ. Эта пыль, какъ я узналъ позже, по всей южной Россіи, но я впервые увидѣлъ и ощутилъ ее въ Херсонѣ. Съ непривычки она трудно переносима и вызываетъ постоянное желаніе вымыть себѣ лицо, глаза, уши, носъ и руки. Она забивается въ самыя тончайшія ткани одежды. Для меня, случайнаго жителя острога, лишеннаго возможности соблюдать привычную чистоту, она была особенно тягостна. Въ маѣ уже наступили жары. Для арестантовъ херсонскаго военнаго острога особаго лѣтняго платья не было, и всѣ ходили въ зимнихъ суконныхъ курткахъ, а на работахъ онѣ сбрасывались, и работали безъ нихъ. Арестантскія работы производились большею частью, какъ я уже упомянулъ, безъ торопливости, лишь бы арестанты не сидѣли сложа руки, но нѣкоторые изъ работъ были спѣшныя, и тогда унтеръ-офицера и инженерные начальствующіе наблюдали сами и торопили. Въ такихъ случаяхъ предпочиталась работа на урокъ, т.-е. назначалось, сколько должно быть исполнено утромъ и послѣобѣда, и арестанты охотно и дружно принимались за дѣло и приводили его скорѣе къ назначенному концу, чѣмъ бы они сдѣлали это съ поуканіями. По окончаніи урока они были свободны и могли возвращаться раньше въ свое жилище. На таковой работѣ, если я находился въ нарядѣ, то считалъ долгомъ участвовать въ общемъ трудѣ. Работа эта раннимъ окончаніемъ обязательнаго труда утромъ

различныхъ пунктахъ земной орбиты),—какъ о способахъ измѣренія этого разстоянія, возможныхъ только для нѣкоторыхъ болѣе близкихъ звѣздъ... Поздно ночью окончилась его поучительная для меня астрономическая бесѣда, къ которой я былъ уже отчасти подготовленъ моими предыдущими чтеніями.

По случаю описанной въ этой главѣ работы вспоминалась мнѣ еще другая, гораздо болѣе урочной, побудившая меня къ собственноручному участию въ ней, заключившаяся весьма смѣшнымъ и характернымъ, по отношенію ко мнѣ арестантовъ, эпизодомъ. Это была выбранная мною по дальней прогулкѣ, такъ сказать, пѣшая поѣздка за пескомъ для кирпичнаго завода. Туда назначалось тоже значительное число арестантовъ и двѣ или три тачки для песку. Тачки эти везли сами арестанты, по четыре числомъ, за длинныя, привязанныя къ нимъ, веревки, накидывавшіяся, подобно бурлацкой бичевѣ, петлями на грудь черезъ плечо. Мы выѣхали изъ крѣпости; арестанты, на каждой приблизительно полуверстѣ, смѣнялись для отдыха. Тачки были двуколесныя съ дышлами. Видя, что всѣ арестанты наблюдаютъ очередь, я тоже хотѣлъ раздѣлять ихъ трудъ, но они до этого меня не допускали и впрягались сами. Когда же я убѣдительно просилъ ихъ дозволить и мнѣ везти тачку, они смѣялись и постоянно оспаривали у меня петлю. Это меня приводило въ смущеніе на каждой смѣнѣ впряжки и сдѣлалось до того смѣшнымъ, что кто-то громко сказалъ:

— Когда онъ не хочетъ идти просто, такъ посадимъ его въ тачку!

«Больше нечего съ нимъ дѣлать»,—кто-то отозвался на это, меня поразившее предложеніе.

Не долго думая, одинъ изъ нихъ схватилъ меня, поднялъ и посадилъ въ тачку. Я испугался и, смущенный, хотѣлъ выпрыгнуть, но съ боковъ шли арестанты около самой тачки, и мнѣ не удалось.

Такъ ѣхалъ я поневолѣ; но этого еще мало: всегдашній шутъ Иванъ Ефимовъ (псаломщикъ) сорвалъ съ дерева длинную вѣтку и, ободравъ ее, раскололъ на концѣ и, вынувъ изъ кармана какую-то тряпку, вродѣ платка, воткнулъ ее въ щель и всадилъ какъ-то въ тачку.

— Вотъ такъ, съ флагомъ мы его и повеземъ, — проговорилъ онъ.

Всѣ засмѣялись, и такъ въ тачкѣ доѣхалъ я до самаго мѣста. Набравъ въ тачки песку, мы поѣхали въ обратный путь. Я уже не смѣлъ болѣе ничего говорить и шелъ молча, сконфуженный, всю дорогу.

По этому случаю читатель видитъ, каковы были отношенія ко мнѣ арестантовъ. Во всемъ я видѣлъ ихъ ко мнѣ снисходительность и уваженіе — ничѣмъ собственно мною незаслуженныя, кромѣ, быть можетъ, моимъ къ каждому участливымъ, уважительнымъ обращеніемъ, не подавшимъ никогда никакого намѣка на какое-либо мое надъ ними превосходство, по дворянскому моему происхожденію или по образовательному цензу. Во все время моей совмѣстной съ ними жизни они оказывали мнѣ, гдѣ только могли, всякія уступки и одолженія.

Вспоминается мнѣ еще одинъ случай, подходящій къ вышеописанному.

Была весна 1851 года; дожди размыли всѣ дороги, по улицамъ стояли непроходныя лужи. Въ это время большой нарядъ арестантовъ шелъ по улицѣ и наткнулся на такой разливъ; близкаго обхода не было, — всѣ остановились, но, подумавъ, пошли по водѣ, погрузившись въ нее всею ступнею. Мое затрудненіе и остановка въ раздумьи были немалыя. И вотъ, въ эту секунду моей нерѣшительности одинъ изъ арестантовъ предложилъ мнѣ перенести меня; я, поблагодаривъ, отказался, но онъ вдругъ, отвѣтомъ на мои слова, подхватилъ меня, понесъ на рукахъ и поставилъ на сухое мѣсто. Я былъ такъ тронутъ его неожиданною предупредительностью, что, ставъ на ноги, обнялъ и поцѣловалъ его. Сапоги берегли мы всѣ, и я тоже боялся, что они преждевременно порвутся и изнаются; у меня была только одна пара хорошихъ сапогъ, привезенныхъ съ собою. (Другая, какъ оказалось впоследствии, дана была, по приказанію коменданта, на сохраненіе капитану Петрини).

Вниманіе и заботливость обо мнѣ моихъ сожителей отзывались въ моемъ сердцѣ самымъ отраднымъ ощущеніемъ и чувствомъ спокойствія и полнѣйшей без-

опасности въ средѣ отверженныхъ обществомъ. Поистинѣ, я не могу иначе назвать людей этихъ, переносившихъ со мною неволю, какъ моими добрыми и вѣрными товарищами, охранявшими мое благополучіе, и вспоминаю о нихъ съ самою искреннею благодарностью.

XXXVIII.

Вскорѣ послѣ описанной поѣздки за пескомъ, въ одинъ изъ праздничныхъ дней, когда арестанты не выходили на работу, уже послѣ обѣда, когда день склонялся къ вечеру, я бесѣдовалъ съ Мехмедомъ, сидя на ступенькахъ крыльца сѣней, выходившаго на дворъ. Мы оба томились жарою и говорили о невозможности выкупаться въ Днѣпрѣ, столь близкомъ отъ насъ. Мехмеду пришла счастливая мысль сдѣлать попытку; но какъ? Онъ говорилъ, что съ Днѣпра приносятъ воду каждый день арестанты. Для этого назначаются два арестанта, въ сопровожденіи одного конвойнаго, котораго можно потребовать во всякое время съ гаупвахты—они, все равно, ничего не дѣлаютъ. Скажемъ, что намъ нужна вода для стирки, и принесемъ ушатъ воды, а когда придемъ на плотъ, то сейчасъ же, въ одну секунду сбросимъ платье и обувь и—въ воду. Онъ никогда еще не пробовалъ выкупаться въ Днѣпрѣ, а ему этого очень хотѣлось бы. Мы оба рѣшились попытаться выкупаться, и вотъ Мехмедъ докладываетъ унтеръ-офицеру, что ему нужна вода для стирки. Такъ какъ это было обыкновеннымъ дѣломъ, то препятствія не встрѣтилось, и вытребованъ былъ черезъ окно калитки конвойный. Оставалось взять ушатъ, палку и идти. Насъ выпускалъ дежурный унтеръ-офицеръ и когда увидѣлъ, что второй арестантъ былъ я, то онъ сказалъ мнѣ: «Вамъ это будетъ тяжело, ушаты у насъ большіе». Я отвѣтилъ, что не будетъ тяжело, и мнѣ нужна вода. Мы оба, съ пустымъ ушатомъ и — — — въ немъ, выскочили

изъ калитки и стали спускаться по крутому берегу внизъ. Я съ особеннымъ удовольствіемъ увидѣлъ этотъ спускъ къ водѣ лѣтомъ. Мы дошли скоро, надо было сопротивляться большой тяжести, влекшей насъ внизъ. Но вотъ мы на плоту, поставили ушатъ и сколь возможно быстро раздѣлись и бросились въ воду. Увидѣвъ это, конвойный сталъ кричать на насъ и вознамѣрился не пускать, но Мехмедъ былъ уже въ водѣ и я вслѣдъ за нимъ. Мы оба поплыли. Тогда онъ закричалъ изо всей силы: «Послать ефрейтора!» Мехмедъ, отличный пловецъ, очутившись какъ бы въ своей стихіи, поплылъ далѣе, я же держался вблизи плота, но плавалъ и наслаждался чудеснымъ купаньемъ. Большая крутизна берега заслоняла собою полетѣвшій къ гауптвахтѣ звукъ отъ крика конвойнаго—никто сверху не бѣжалъ на помощь; тогда онъ закричалъ, что будетъ стрѣлять въ Мехмеда и угрожалъ прицѣломъ, но тотъ махнулъ ему рукою и повернулъ назадъ. Конвойный успокоился. Мехмедъ приплылъ къ плоту, но не вылѣзалъ изъ воды, я тоже остался еще нѣсколько минутъ, и мы оба, чудесно выкупавшись, также скоро одѣлись и, наполнивъ ушатъ, потащили его. Взойдя на значительную уже высоту, я почувствовалъ, что не въ силахъ болѣе идти и просилъ остановиться отдохнуть. Опустивъ на землю, на покато́мъ мѣстѣ, ушатъ, причемъ вылилось много воды, мы постояли минуты двѣ, и я принялся вновь за мою тяжелую ношу. Тутъ мы встрѣтили спускавшагося ефрейтора съ ружьемъ, спѣшившаго внизъ, но когда онъ увидѣлъ наше благополучное шествіе вверхъ, то спросилъ: «Чего кричалъ?» Конвойный объяснилъ ему случившееся, и ефрейторъ посмѣялся его трусости. Мы благополучно дошли до калитки, постучали, и насъ впустили на дворъ. Такъ кончился этотъ забавный эпизодъ нашего купанья, доставившій намъ столь пріятное, чудное, можно сказать, въ нашемъ положеніи омовеніе и освѣженіе нашего загрязненнаго пылью и потомъ тѣла.

XXXIX.

Въ срединѣ лѣта я былъ потребованъ комендантомъ. Такая новость сначала меня какъ бы испугала: не случилось ли чего помимо моего вѣдома. Для исполненія сего позванъ былъ съ гауптвахты конвойный, и я пошелъ одинъ съ нимъ (безъ унтеръ-офицера, какъ это было прежде). Это было утромъ и въ праздничный день. Я вошелъ въ переднюю (конвойный остался у входа) и меня попросили войти въ пріемную, и затѣмъ я былъ приглашенъ въ кабинетъ. Коменданта я видѣлъ только одинъ разъ—въ вечеръ моего прибытія въ Херсонъ. Я увидѣлъ передъ собою при дневномъ свѣтѣ того же худенькаго, небольшого роста старичка. Фамилія его была Краббе. Онъ всталъ, когда я вошелъ, и говорилъ со мною стоя (чтобы не просить меня у него сѣсть, вѣроятно), но въ разговорѣ говорилъ мнѣ «вы» и высказывалъ сожалѣніе, что онъ не можетъ сдѣлать мнѣ никакихъ снисхожденій, что предписанія обо мнѣ очень строгія, и что онъ не одинъ здѣсь, а на глазахъ у людей, готовыхъ на все: «Я уже разъ,—сказалъ онъ,—по неосторожности, былъ подъ судомъ 5 лѣтъ; теперь я опасаюсь всего!..» Затѣмъ онъ сказалъ, что мнѣ разрѣшено писать письма роднымъ, черезъ него предложилъ написать сейчасъ же письмо. Я былъ тому радъ и написалъ коротенькое сообщеніе, что я здоровъ, живу въ казармѣ съ прочими арестантами и надѣюсь, что это время пройдетъ, и я вернусь вновь въ прежнюю жизнь въ наше семейство... Съ тѣхъ поръ я по-временамъ былъ вновь требуемъ комендантомъ и вновь писалъ короткія письма о моемъ здоровьѣ, безъ всякихъ подробностей. Онъ со мною наединѣ былъ вѣжливъ и увѣрялъ меня, что онъ, съ своей стороны, сдѣлаетъ все отъ него зависящее для скорѣйшаго моего освобожденія.

XL.

Въ одинъ изъ будничныхъ дней августа мѣсяца, подъ вечеръ, когда спадаль жаръ, арестанты возвращались партіями съ различныхъ работъ и немногіе, вернувшіеся уже, отдыхали, выйдя на дворъ, — вдругъ шелкнулъ затворъ калитки, отворилась дверь и вошелъ на дворъ капитанъ Петрини, замѣтно выпившій. Съ нимъ вмѣстѣ вошелъ и чернорабочій съ топоромъ за поясомъ.

Такое явленіе обратило вниманіе всѣхъ бывшихъ на дворѣ и притомъ возникъ вопросъ: «Зачѣмъ этотъ рабочій съ топоромъ, — починять, что ли, что понадобится?» Никто не отгадалъ, да и возможно ли сообразить, что всплыветъ на видъ въ грязной тинѣ представленій пьянаго глупца? Войдя, онъ направился вдоль по срединѣ двора къ правой его (отъ выхода изъ сѣней) сторонѣ. При приближеніи его сидѣвшіе вставали; онъ смотрѣлъ впередъ, ничего не говорилъ, а между тѣмъ то, что было въ его головѣ, носило въ себѣ жестокой замыселъ — совсѣмъ ненужное лишеніе самою природою, казалось, сохранившагося утѣшенія для людей заключенныхъ, лишенныхъ вечерняго отдыха: въ его сумасбродной головѣ спяна блеснула мысль: зачѣмъ на арестантскомъ дворѣ растеть дерево душистой акации? Оно совсѣмъ неумѣстно, притомъ же оно можетъ пригодиться къ совершенію побѣга. Срубить эту акацію, доставлявшую арестантамъ все же нѣкоторую отраду.

Къ нему выбѣжалъ изъ казармы дежурный унтеръ-офицеръ. Никому не говоря ни слова, Петрини подошелъ къ акации и приказалъ срубить это дерево. Немногіе присутствовавшіе едва успѣли сообразить, какъ уже топоръ былъ взмахнуть, ударъ былъ нанесенъ въ основаніе ствола многолѣтней акации. Двое изъ близъ стоявшихъ арестантовъ отважились возразить, но ротный командиръ закричалъ:

— Молчать! Я отвѣчаю за васъ, мерзавцы! Нужна имъ еще акація!.. Руби!

И удары остраго топора подсѣкли внизу слабый, на мягкой древесинѣ, стволъ прекраснаго дерева; оно склонилось на бокъ и затѣмъ упало, обсыпавъ сухими стручками землю, на которой росло!.. Виновники этого позорнаго дѣла, совершивъ его, ушли, и рабочій поволокъ по землѣ упавшую акацію! Широкія вѣтви, не входившія въ отверстіе калитки, были тутъ же обрублены и выпихнуты наружу. Оставить дерево на дорогѣ было неудобно и онъ вѣроятно повлекъ его далѣе, въ свой дворъ, и тамъ dokonчилъ рубку на дрова.

Возвращавшіеся съ работы арестанты всѣ, не заходя въ казарму, приближались къ пню павшей акаціи и, покачивая головой, отходили съ ругательствами. Одинъ изъ нихъ сказалъ: «Видитъ Богъ, что дѣлаютъ злодѣи!»

Другое безсмысленное, нахальное дѣйствіе капитана, совершившееся на моихъ глазахъ, было слѣдующее. Оно было въ другое время года—въ началѣ зимы 1851 г.

Въ праздничный день, когда арестанты были всѣ дома, въ послѣобѣденное время, пришелъ ротный командиръ въ острогъ, тоже выпивши. Онъ имѣлъ видъ недовольный, строгій. Обходя казарму, онъ смотрѣлъ на всѣхъ, останавливался и заводилъ придиричвые разговоры. Арестанты отвѣчали, но одинъ изъ нихъ (это былъ недавно присланный—непомнящій родства) чѣмъ-то провинился, и онъ, обращаясь къ сопровождавшему его унтеръ-офицеру, приказалъ подать розги. Арестанты, слышавшіе это, были удивлены, также какъ и унтеръ-офицеръ, недоумѣвавшій и не торопившійся исполнить приказаніе. Но когда приказаніе было повторено, уклониться ему было нельзя и онъ пошелъ. При мнѣ спроса на розги не было ни разу. и онъ, вѣроятно, употреблялись рѣдко, потому ихъ наготовѣ не было, Командиръ ходилъ разсерженный взадъ и впередъ, плевалъ на полъ, кашлялъ, бормоталъ что-то, произнося ругательныя слова, затѣмъ вышелъ на крыльцо и тамъ дождался розогъ. Онѣ принесены были въ казарму, и съ ними захвачена была изъ сѣней скамейка и поставлена въ серединномъ проходѣ передъ дверью канцеляріи. Всѣ спрашивали вполголоса: для кого это? и ожидали, что будетъ.

— А ну ты, какъ тебя, непомнящій родства, что ли?.. А ну, иди сюда, ложись!

— За что же, ваше высокородіе?—сказалъ подошедшій тихимъ голосомъ,—я не виноватъ!

— А ну, чтобъ ты зналъ здѣшніе порядки и какъ говорить съ ротнымъ командиромъ, ложись!

Наказаніе долженъ былъ производить унтеръ-офицеръ. Несчастный, мнимо-провинившійся въ чемъ-то опустился на скамью.

— Ваше высокоблагородіе! за что же? Я ничего не сдѣлалъ.

— Говори тамъ, бездѣльникъ; чтобы ты зналъ, какъ отвѣчать. Сѣки его!..

Унтеръ-офицеръ, неохотно принявшійся за это скверное дѣло, для вида, легко нахлестывалъ бѣднаго арестанта. Тогда командиръ, замѣтивъ это, окинулъ взглядомъ толпу стоявшихъ и, увидѣвъ выдающуюся высокую, смуглую фигуру одного изъ турокъ, закричалъ:

— Мустафа! А ну, иди сюда!

Мустафа подошелъ.

— Возьми розги и сѣки его!

Мустафа, всегда тихій, кроткій, долженъ былъ почувствовать всю мерзость такого дѣйствія и сталъ просить освободить его отъ этого дѣла.

«Я не могу,—говорилъ онъ и, пожимая плечами, отодвигался».

Тогда пьяный капитанъ, недовольный унтеръ-офицеромъ, но не рѣшившійся поступить съ нимъ, какъ съ арестантомъ, набросился на Мустафу.

— Это что, меня уже не слушаютъ!.. Ты не можешь? Вотъ я тебѣ покажу: не можешь, такъ ложись самъ—я тебя отдеру!..

Тутъ онъ крикнулъ изъ толпы арестанта Лялина, приказавъ ему сѣчь Мустафу (это былъ негодяй, приносившій мнѣ одно время бѣлье). Лялинъ, здоровый, высокій, жирный, подошелъ къ Мустафѣ взять его, но тотъ оттолкнулъ его съ остервененіемъ. Въ это мгновеніе съ верхнихъ наръ кто-то страшнымъ, угрожающимъ голосомъ закричалъ: «Лялинъ!..» Въ тотъ же моментъ раздались со всѣхъ сторонъ, сверху и снизу,

сзади и спереди неистово кричавшіе голоса, ругавшіе Лялина всякими скверными словами. Вся казарма шумѣла, стучала и кричала, не смолкая. Лялинъ отошелъ, готовый убѣжать; унтеръ-офицеръ, испуганный, подошелъ къ капитану и шепнулъ ему что-то, послѣ чего оба ушли. Виновникъ готоваго разразиться бунта успѣлъ скрыться, сопровождаемый унтеръ-офицеромъ, переступивъ благополучно за калитку арестантскаго двора. Лялинъ же не ушелъ отъ суда толпы: избитый сильными кулаками, съ окровавленнымъ лицомъ, выбѣжалъ онъ въ сѣни, но и тамъ ему покоя не было.

Таковыя дѣла творилъ въ пьяномъ состояніи капитанъ Петрини.

XLI.

Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ получать понемногу денегъ, благодаря заботливости обо мнѣ Н. Е. Рудыковского, моя имущественная пустота стала понемногу пополняться. Началось съ мѣшка для тюфяка, служившаго мнѣ первоначально подстилкою. Въ него я влѣзалъ одно время, снявъ рубаху, для спасенія отъ блохъ, затягивая имъ снутри продѣтой шворкой кругомъ шеи, что вызывало смѣхъ всѣхъ видѣвшихъ это и было мною оставлено. Затѣмъ, уже гораздо позже, по перемѣщеніи моемъ на верхнія нары, мнѣ удалось достать небольшой мѣшокъ мочалокъ, чтобы хоть слегка набить мой холщевый мѣшокъ. и у меня явился тюфякъ. Вскорѣ затѣмъ обогащеніе мое приняло большіе размѣры, и ночлегъ мой совсѣмъ преобразился.

Прошу читателя представить себѣ слѣдующую картину: глубокая осень, поздній часъ ночи, я лежу на тюфякѣ на верхнихъ нарахъ, въ своемъ уголкѣ; рядомъ со мною, съ лѣвой стороны, спитъ Мехмедъ; между нашими изголовьями стоитъ старый сѣроватый ящичекъ, запирающійся ключемъ, на немъ, воткнутая въ какую-то деревянную подставку, горитъ свѣча. Я лежу и читаю книгу съ карандашомъ въ рукѣ; на ящикѣ,

служившемъ намъ столомъ, лежитъ записная школьная тетрадь. Кругомъ тьма и тишина, всѣ спятъ вверху и внизу, кое-гдѣ слышно храпѣнье, порою вздохи и бормотанье во снѣ или при просыпленіи. Вскорѣ я замѣчаю, что верхнія нары, поодаль отъ меня влѣво, освѣтились еще въ двухъ мѣстахъ: тамъ что-то творится не въ одиночку, слышны шопотъ и разговоры вполголоса, а въ ближнемъ ко мнѣ освѣщеніи, по-временамъ слышны и болѣе громкія слова и видны издали размахи рукъ,—дѣло обыкновенное: играютъ въ карты. Далѣе, за этой компаніей, поодаль отъ нея, у послѣдняго отъ сѣней схода, виденъ какой-то мерцающій чуть замѣтный полусвѣтъ, тамъ тоже сидятъ нѣсколько человѣкъ, видны торчащія головы.

Уставъ читать передъ сномъ, я хочу посѣтить ихъ, увѣренный въ томъ, что, по моимъ добрымъ отношеніямъ къ арестантамъ, я не нарушу ихъ дѣлъ. И вотъ я поднимаюсь и иду тихонько босикомъ, въ рубашѣ, подхожу—все знакомыя лица; между ними одного я хорошо знаю—Еремѣвъ; посрединѣ у нихъ коврикъ и на него выкидываютъ карты; игра идетъ разгоряченно, ставятъ въ конъ то мѣдь, то серебро и затѣмъ, по окончаніи всякаго тура, выигравшій беретъ всѣ деньги. Не знаю, въ какую игру они играли, но между арестантами херсонскаго острога наиболѣе распространенными были игры въ три-листика, въ горку, и въ преферанецъ. Въ сущность этихъ игръ я никогда не вникалъ.

— А! У васъ очень весело!—въ видѣ привѣтствія говорю я.—Должно быть, много выигрывается и проигрывается!

«Да, кому какъ, тутъ фортуна только одна играетъ, расчета никакого!»—отвѣчаетъ одинъ изъ игроковъ.

— Охъ, фортуна, фортуненко, гдѣжь до тебѣ стежка?—прибавляетъ другой, смотря на меня.

«Присядьте, посмотрите, кто изъ насъ счастливъ».

Игра продолжается оживленно, вниманіе напряжено, глаза горятъ. Я смотрю не безъ интереса, такъ какъ играющіе волнуются, играютъ горячо, выбрасывая изъ кармана, можетъ быть, послѣднія деньги. Я принимаю участіе въ игрѣ Еремѣва, и онъ на моихъ глазахъ выигрываетъ.

Посидѣвъ съ ними, не торопясь, я простился, поблагодаривъ ихъ и извинившись, направился далѣе къ другому слабому огоньку и вижу: человѣкъ пять, тоже мнѣ знакомыхъ, сидятъ вокругъ маленькой скамеечки. Я подошелъ, они всѣ взглянули на меня сначала, какъ бы смутясь, а потомъ всѣ засмѣялись.

— А, это вы? Вы тамъ въ своемъ уголкѣ дѣлаете свои дѣла, а мы здѣсь тоже праздну не сидимъ.

«Что вы дѣлаете?»—спросилъ я.

— А вотъ, присядьте, увидите...

На скамейкѣ что-то горитъ мерцающимъ пламенемъ подъ котелкомъ, въ немъ виденъ какой-то плавящійся бѣлый металлъ и одинъ изъ нихъ выливаетъ эту жидкую массу въ глиняную форму на таковой же подставкѣ. По остываніи масса вынимается и показывается, вышелъ кружокъ съ надписью, похожій на четвертакъ.

Видя это, я удивился и сказалъ:

«И вы не боитесь это дѣлать? И меня не боитесь?!»

— Что же намъ васъ бояться? Мы всѣ васъ знаемъ, вы же не выдадите насъ... А если выдадите, такъ мы скажемъ, что вы съ нами вмѣстѣ, да еще научали насъ!

«Вотъ какъ! Сказать-то я, конечно, не скажу, но все же вы что-то ужъ очень смѣлы... лучше бы вамъ совсѣмъ оставить это!»

— Вотъ, посмотримъ, позабавимся... еще не сбывали нашихъ четвертаковъ... Мы дѣлаемъ только пробу.

«Это дѣло очень трудное и не съ вашими средствами... Мой совѣтъ—лучше бросить и выкинуть все, чтобы и слѣдовъ не осталось».

Побывъ еще нѣсколько минутъ, я поторопился уйти и легъ спать, раздумывая о безумствѣ вообще человѣческихъ дѣлъ. Съ одной стороны насильственное заключеніе, отобраніе всего имущества—«голь какъ соколъ»,—живешь впроголодь, никуда не пускаютъ, и день и ночь въ душной казармѣ—поневолѣ взбредетъ на умъ чортъ знаетъ что, о чемъ и не помыслилъ бы на волѣ!

Мое ночное занятіе—чтеніе книги—хотя и было запрещеннымъ для меня въ то время, но оно было, при

установившихся уже для меня отношенійхъ къ моему начальству, совершенно безопасно и потому прочно и устойчиво, и мои ночныя занятія пережили собранія «ночныхъ верхненарныхъ монетчиковъ» (какъ я ихъ въ то время назвалъ). Собранія эти хотя и продолжались еще нѣкоторое время, но я ихъ не посѣщалъ болѣе и потомъ я ихъ болѣе не видѣлъ.

Картежники, которыхъ я тоже болѣе не посѣщалъ, продолжали играть, и у нихъ случилось однажды большое замѣшательство, встревожившее весь острогъ.

Ночная тишина вдругъ прервана была внезапнымъ шумомъ и возней. Одинъ изъ участниковъ игры (вѣроятно, мало извѣстный прочимъ) схватилъ кучку денегъ, лежавшихъ на коврикѣ, и побѣжалъ; за нимъ вскочили всѣ въ погоню. Тутъ была бѣготня въ потемкахъ (свѣчи потушили), по ногамъ лежавшихъ; крикъ, вскакиванье спокойно спавшихъ, при непониманіи отчего. Я тоже задулъ мою свѣчу. Движеніе это перешло на нижнія нары, такъ какъ убѣгавшій бросился внизъ и сдѣлалось въ казармѣ всеобщее смятеніе, люди кричали, ругались, большая часть не знала, что случилось. Затѣмъ, внизу драка. Только медленно, съ пробужденіемъ начальства и послѣ криковъ и побоевъ, неизвѣстно кѣмъ, кому, и за что, все вновь успокоилось. Таковы были ночныя дѣла, которыхъ я былъ невольнымъ свидѣтелемъ.

XLII.

Въ этой главѣ я имѣю въ виду описать побѣгъ двухъ арестантовъ изъ херсонскаго острога, совершившійся въ мою бытность въ немъ.

Полвѣка тому назадъ не только тюрьмы, но и всѣ южныя окраины Россіи были полны бѣглецами. Источниками постоянного пополненія ихъ была наша крѣпостная Русь и наша тогдашняя армія съ 25-лѣтнею службою, съ побоями и невозможной выправкой парадной трехпріемной маршировки, съ 18-ти фунто-

вымъ ружьемъ на плечѣ, при требованіи стоянія на одной ногѣ въ самомъ неудобномъ для сохраненія равновѣсія положеніи. Я упоминаю объ этомъ, какъ самъ прошедшій всю эту школу на службѣ солдатомъ, съ 1851 по 1857 г.

Въ то, такъ называемое, доброе старое время, нынѣ съ ужасомъ воспоминаемое, какъ что-то будто нарочно для мученія людей измышленное, побѣги были частые и тюрьмы, по прежнему устройству ихъ, давали тому возможность. Съ того времени образовался особый типъ арестантовъ-бродягъ, бездомныхъ скитальцевъ, предпочитавшихъ неволѣ самые опасные переходы по безлюднымъ сибирскимъ тайгамъ, и имъ не были препятствіями «ни морозы Сибири, ни таежный звѣрь». Это бѣглецы изъ тюремъ—любители странствій, убѣгавшіе съ наступленіемъ весны по призыву кукушки и на зиму ищущіе вновь убѣжища въ тюрьмахъ (Достоевскій). Типы этихъ бѣглецовъ описаны многими нашими литераторами, объ нихъ упоминаетъ и Кенанъ (Сибирь).

Такихъ не было въ херсонскомъ острогѣ, но всѣ заключенные въ тюрьмахъ всегда готовы на побѣгъ, если таковой представляется возможнымъ и если имѣется надежда достать себѣ видъ на жительство. Въ то время это было гораздо легче, чѣмъ теперь. Изъ этихъ послѣднихъ нѣкоторые славились въ то время своими отважными побѣгами и схватками съ преслѣдовавшей ихъ вооруженной стражей, и болѣе прочихъ распространены были рассказы о знаменитомъ скитальцѣ Кармалюкѣ. Въ мою бытность въ херсонскомъ острогѣ всѣ знали его имя, но никто самъ его не видѣлъ. О немъ сложились многочисленные рассказы о его побѣгахъ изъ тюремъ и при шествіи по этапамъ, и о его вліяніи на арестантовъ. Онъ повсюду являлся руководителемъ толпы и примѣромъ тому приводятъ различные случаи и, между прочими, такой, мною слышанный: большая партія бѣжавшихъ вмѣстѣ съ нимъ, преслѣдуемая погоней, имѣла выборъ двухъ путей—тропинка, ведущая въ лѣсъ, и большая дорога. Кармалюкъ избралъ послѣдній путь и звалъ всѣхъ послѣдовать за нимъ, но большая часть пошла тропин-

кой въ лѣсъ. Всѣ послѣдніе были, будто бы, пойманы, тѣ же, что пошли большой дорогой за Кармалюкомъ, всѣ счастливо спаслись, достигнувъ скоро по пути лучшаго убѣжища. Въ тюрьмахъ онъ держалъ себя инкогнито, былъ молчаливъ и тихъ, пока не представлялось дѣло. Изъ всего слышаннаго у меня сложились о немъ немногія свѣдѣнія. Онъ жилъ, должно быть, въ 40-хъ годахъ, родомъ изъ Каменецъ-Подольской губерніи, малороссъ.

За какую провинность онъ впервые лишился свободы, осталось мнѣ неизвѣстнымъ.

Онъ сосланъ былъ въ Сибирь и оттуда начались его странствія. Онъ бѣжалъ и добрался до родины, гдѣ не нашелъ ни жены, ни хаты, въ которой прежде жилъ, пробовалъ устроиться вновь и жить своимъ трудомъ, но это было ему, при его положеніи, невозможно и тогда онъ рѣшился выйти на дорогу, какъ говорится въ пѣснѣ его: «Такъ выйду жъ я на дорогу,—никого не пушу, чи то жида, чи то пана, хочъ якого графа...»

Пѣсня эта извѣстна мнѣ только отрывками. Въ личности Кармалюка соединяется идеалъ тогдашняго бродяги. Въ наше время такіе Кармалюки стали невозможными: теперь другія условія жизни, другія общественныя отношенія, идеалы совсѣмъ другого рода, и въ тюрьмахъ поются совсѣмъ иныя пѣсни.

Побѣгъ изъ херсонскаго острога совершился слѣдующимъ образомъ.

Въ бурную осеннюю ночь 1850 года спавшіе арестанты были разбужены поспѣшнымъ вхожденіемъ многихъ унтеръ-офицеровъ и спросомъ: «Кто бѣжалъ, съ какого мѣста нарѣ?» Разсказъ о томъ, что предшествовало этой тревогѣ, былъ слѣдующій.

Часовой (изъ недавно принятыхъ на службу) стоялъ на своемъ посту за высокою стѣною арестантскаго двора. Онъ укрывался въ шинель отъ бури, вѣтеръ вылъ, было совершенно темно... вдругъ что-то грохнулось какъ бы на него съ двухъ сторонъ; онъ испугался, уронилъ ружье и сталъ кричать «карауль!». Съ гауптвахты прибѣжали вооруженные люди и нашли его одного—дрожащимъ въ испугъ. Тогда дано было

развязавъ узелокъ, бывшій у нея въ рукахъ, вынимала оттуда булку или другое печенье или сезонные фрукты и отдавала подошедшему, или же, что чаще бывало, подходила сама и совала въ руки арестанта пятакъ. И это подаваніе было часто подаваемо мнѣ; я принималъ и благодарилъ, но по полученіи, если это были деньги—отдавалъ ихъ ближайшему около шедшему, если же это было что-либо съѣстное, то я съ удовольствіемъ съѣдалъ поданное и дѣлился—если было чѣмъ.

По прошествіи полугода по моемъ прибытіи въ Херсонъ, когда уже жителямъ стало извѣстнымъ, что между арестантами находится какой-то привезенный «чи изъ Питера, чи изъ Москвы, ма будь изъ Кіева—панычъ», многіе высматривали партію арестантовъ, ища глазами въ ней маленькаго, смуглаго, оченъ молодого еще *арестанта*, переговаривались между собою, даже показывали на меня пальцемъ. Однажды я былъ очень удивленъ и сконфуженъ, не зная, что отвѣтить: одна пожилая, толстая, по наружному виду простого званія женщина, при остановкѣ партіи, вдругъ подошла ко мнѣ близко и, смотря на меня, покачавъ, какъ бы съ сожалѣніемъ, головой, сказала мнѣ, громко вздохнувъ:

— Эхъ панычъ, панычъ! що ты се тамъ наробивъ, що тебе до насъ послалы?!

XLIV.

Наступила вновь безснѣжная, вѣтрена зима, а съ нею и новый 1851 годъ. Устраивая все болѣе мой ночлежный уголокъ, я пополнялъ недостававшее въ немъ, но это совершалось медленно, по мѣрѣ возможности, такъ какъ изъ денегъ, даваемыхъ мнѣ Н. Д. Рудыковскимъ, многое шло на ѣду и угощеніе нерѣдко арестантовъ. Такъ, помнится мнѣ, что только въ концѣ 1850 года я могъ позволить себѣ издержку на покупку грубаго дешеваго холста, часть котораго пошла на покрышку для ночи грязнаго тюфяка, другая же, болѣе широкая, послужила мнѣ одѣяломъ. Также за-

XLIII.

Описывая острожную жизнь въ ея разныхъ проявленіяхъ, не могу упомянуть объ отношеніи населенія къ арестантамъ и лично ко мнѣ.

Населеніе—простой народъ—вообще къ арестантамъ относилось съ состраданіемъ и участіемъ.

Ежедневно, среди крѣпости, по дорогамъ, на базарахъ и площадяхъ, въ улицахъ города, проходя съ партіей арестантовъ, я видѣлъ нерѣдко, что люди встрѣчные останавливались, перерывая свои дѣла, и смотрѣли на нихъ, какъ бы размышляя о чемъ. Въ размышленіяхъ этихъ несомнѣнно все поглощалось чувствомъ сожалѣнія и желаніемъ хотя чѣмъ-либо облегчить ихъ тяжелую участь, таковы вообще природныя чувства русскаго народа—человѣколюбіе, снисходительность, неосужденіе ближняго! Нерѣдко эти самыя личности, смотрѣвшія на арестантовъ и задумавшіяся при видѣ ихъ, подзывали къ себѣ близъ идущаго или сами подходили поспѣшно и сovali ему въ руку деньги или куски пищи. Часто, при моемъ нахожденіи въ партіи работавшихъ или мимо проходившихъ арестантовъ, милостыня эта подаваема была мнѣ, — даже чаще, чѣмъ кому-либо—вѣроятно, мой юный еще видъ и малый ростъ удостоивались особаго сожалѣнія. Когда въ первый разъ мнѣ подана была милостыня, неожиданность этого какъ-то непріятно поразила меня, какъ бы уколола мое самолюбіе, и вспыхнуло желаніе отказаться отъ нея, но чувство этой неумѣстной гордости было мгновенно проскользнувшее, и, видя добродушное лицо подающаго, у меня не хватило дерзости отвернуться и отвергнуть благочестивое приношеніе, да и мои сожители, рядомъ со мною шедшіе, сочли бы это глупою дворянскою спесью. Къ счастью, я все это вдругъ сообразилъ и принялъ милостыню, поспѣшно отвернувшись однако же. Изъ подающихъ были обыкновенно женщины (мужчинъ я не помню вовсе). Иногда проходящая мимо останавливалась, призывая къ себѣ одного изъ насъ движеніемъ руки или головы, и,

развязавъ узелокъ, бывший у нея въ рукахъ, вынимала оттуда булку или другое печенье или сезонные фрукты и отдавала подошедшему, или же, что чаще бывало, подходила сама и совала въ руки арестанта пятакъ. И это подаваніе было часто подаваемо мнѣ; я принималъ и благодарилъ, но по полученіи, если это были деньги—отдавалъ ихъ ближайшему около шедшему, если же это было что-либо съѣстное, то я съ удовольствіемъ съѣдалъ поданное и дѣлился—если было чѣмъ.

По прошествіи полугода по моемъ прибытіи въ Херсонъ, когда уже жителямъ стало извѣстнымъ, что между арестантами находится какой-то привезенный «чи изъ Питера, чи изъ Москвы, ма будь изъ Кыева—панычъ», многіе высматривали партію арестантовъ, ища глазами въ ней маленькаго, смуглаго, очень молодого еще *арестанта*, переговаривались между собою, даже показывали на меня пальцемъ. Однажды я былъ очень удивленъ и сконфуженъ, не зная, что отвѣтить: одна пожилая, толстая, по наружному виду простого званія женщина, при остановкѣ партіи, вдругъ подошла ко мнѣ близко и, смотря на меня, покачавъ, какъ бы съ сожалѣніемъ, головой, сказала мнѣ, громко вздохнувъ:

— Эхъ панычъ, панычъ! що ты се тамъ наробивъ, що тебе до насъ послалы!

XLIV.

Наступила вновь безснѣжная, вѣтрена зима, а съ нею и новый 1851 годъ. Устраивая все болѣе мой ночлежный уголокъ, я пополнялъ недостававшее въ немъ, но это совершалось медленно, по мѣрѣ возможности, такъ какъ изъ денегъ, даваемыхъ мнѣ Н. Д. Рудыковскимъ, многое шло на ѣду и угощеніе нерѣдко арестантовъ. Такъ, помнится мнѣ, что только въ концѣ 1850 года я могъ позволить себѣ издержку на покупку грубаго дешеваго холста, часть котораго пошла на покрышку для ночи грязнаго тюфяка, другая же, болѣе широкая, послужила мнѣ одѣяломъ. Также за-

ведены были два полотенца, и моя кожаная подушка была по-временамъ обтираема намоченнымъ концомъ одного изъ нихъ. Каждый день, вставая по утрамъ, всю постель мою, съ слабо набитымъ тюфякомъ, я пригибалъ плотно поверхъ подушки. Подъ подушкою хранились кое-какія вещицы моею нетребовательной жизни (кусокъ мыла въ тряпкѣ и бумагѣ, полотенце, гребенка и т. п.)

Въ ветхомъ ящикѣ подъ замкомъ были книжки и письменныя принадлежности, какъ запрещенный товаръ (во всемъ острогѣ я не видѣлъ ни разу, чтобы кто-нибудь изъ арестантовъ читалъ книгу), перочинный ножикъ для карандаша и кусочекъ резинки... Бумага покупалась въ мелочныхъ ближнихъ лавочкахъ. Обезпечивъ себя въ самомъ необходимомъ въ этомъ отношеніи, я сталъ подумывать объ умственныхъ трудахъ. Прежде всего у меня были воспроизведены въ памяти и написаны нѣкоторыя стихотворенія, сочиненныя мною въ Петропавловской крѣпости, а затѣмъ и новосочиненныя мною большею частью во время нахожденія моего на работахъ.

Херсонъ.

(1850).

Степная глушь, Сибирь вторая,
Херсонъ, далекая Херсонъ,
Куда, російскій снѣгъ бросая,
Меня завезъ курьерскій конь.

Зима безъ снѣга, вѣтеръ, вьюга,
Оледѣвшихъ средь равнинъ;
А лѣтомъ солнца зной, недуги,—
Вотъ край, гдѣ я живу одинъ!

Гдѣ я, тоску превозмогая,
Хожу и блѣдный и худой,
Съ обритой полу-головой—
Подъ тяжелой лапой.

Въ неволѣ жизнь моя томится,
Среди убійцъ, среди воровъ,
Ахъ, лучше мнѣ они сторицей,
Чѣмъ міръ жирѣющихъ рабовъ,

Здѣсь душно, грязно, вши заѣли,
Я худъ и голоденъ всегда

Изъ моихъ воспоминаній.

Но и они всѣ похудѣли,
И ихъ замучила бѣда!

Мое исполнилось желанье—
Изъ каземата вышелъ я
Во многолюдное собраніе
Людей-страдальцевъ, какъ и я!

У меня сохранились также нѣкоторые листки того времени. Къ таковымъ принадлежатъ записанные мною, со словъ Мехмеда, отрывки турецкихъ народныхъ пѣсень и нарисованный моею неумѣлою рукою портретъ Мехмеда, возлежащаго на его постели возлѣ меня—съ головою, покоящеюся на ладони, облокотившейся на изголовье правой руки, также и портретъ другого его земляка—нашего пріятеля Джурги, и еще одного русскаго арестанта, нѣсколько похожаго на меня, въ шапкѣ сѣраго сукна, съ широкимъ въ два пальца крестомъ бураго сукна, черезъ всю шапку (одна полоса отъ уха чрезъ макушку до другого уха, другая—отъ затылка до края шапки на лбу). Полосы эти на-крестъ, измышленныя съ цѣлью обезображенія, не только не достигали этой цѣли, но даже какъ бы украшали головной покровъ арестанта, и шапка эта мнѣ скоро стала нравиться и я полюбилъ ее. Записывать тогда же все видѣнное и слышанное мною—характерныя выраженія арестантской рѣчи, у меня тогда и мысли не было. Такія замѣтки можно вести только при полномъ спокойствіи духа, отрѣшившись ото всего настоящаго и недавно прошедшаго—всѣмъ насъ поглощающаго, какъ это выражено въ первой части моихъ воспоминаній. Да мнѣ и въ голову не приходило, что мнѣ когда-нибудь понадобится все это и что черезъ 50 лѣтъ я буду глубоко сожалѣть о томъ. Мысли и желанія мои въ то время всѣ поглощены были заботою объ удовлетвореніи, насколько возможно, моихъ первыхъ нуждъ. Положеніе мое на верхнихъ нарахъ я представилъ читателю уже въ готовомъ видѣ, но оно образовывалось медленно, хотя перемѣщеніе мое на верхнія нары и состоялось гораздо ранѣе. Верхній этажъ въ плохо вентилированномъ многолюдномъ помѣщеніи и, къ тому же, въ самомъ дальнемъ отъ сѣней отдѣлѣ, не могъ не быть хуже качествомъ воздуха, чѣмъ ниж-

ній, гдѣ я занималъ мѣсто, болѣе близкое отъ выходной двери въ сѣни и передъ самымъ вентиляторомъ (о которомъ было упомянуто при описаніи первой моей ночи въ острогѣ), но я тогда этого вовсе не замѣтилъ и не обратилъ никакого вниманія въ виду большого неудобства помѣщенія моего внизу и возможности имѣть какой-нибудь свой, въ нѣкоторой степени изолированный уголокъ. Въ немъ было менѣе шума и сосѣдъ мой съ другой стороны былъ нѣсколько поодаль отъ меня. Тоже тамъ было и чище, — такъ мнѣ казалось, по крайней мѣрѣ, по опрятности моихъ сосѣдей, а также и по меньшему, сравнительно, количеству обсыпавшихъ меня насѣкомыхъ, или, можетъ быть, я уже привыкалъ къ этой обсыпкѣ и не такъ ее чувствовалъ. Вообще я все болѣе приспособлялся къ новымъ условіямъ моей тюремной жизни и болѣе терпѣливо переносилъ ее. Всякій разъ выходилъ я на работу и по возвращеніи чувствовалъ себя нѣсколько освѣженнымъ прогулкою и пребываніемъ внѣ казарменнаго воздуха. По вечерамъ, улегшись на своемъ мѣстѣ, зажигалъ свѣчу и кое-что читалъ и дѣлалъ замѣтки карандашомъ. Такъ текла моя жизнь. Цирюльникъ *Мойша* (солдатъ мѣстнаго батальона) обходилъ еженедѣльно всю роту и брилъ, смѣяся и шутя, головы арестантовъ. Никто тому не противился, но нѣкоторые просили подождать еще и онъ охотно соглашался, лишь бы начальство не понуждало къ тому. По-временамъ, однако же, упадая духомъ, я болѣе чувствовалъ всю тягость моей жизни и перемѣщался, подъ видомъ болѣзни, для развлеченья и отдыха въ военный госпиталь. Въ немъ я находилъ всякій разъ радушный пріемъ и отдыхалъ, но могъ оставаться тамъ только короткое время, такъ какъ, сидя безъ прогулки, я начиналъ скучать, терять аппетитъ, слабѣлъ, даже заболѣвалъ лихорадочнымъ состояніемъ и потому спѣшилъ къ концу второй же недѣли вновь возвратиться въ наше, повидимому, для сохраненія здоровья лучшее помѣщеніе, въ которомъ, скоро по возвращеніи, и выздоравливалъ.

я живо сохранилъ въ памяти моей это какъ бы иносказательное видѣніе.

Мнѣ снилось, что я вышелъ на работу въ большой партіи арестантовъ, но будто бы по какому-то дѣлу я, отдѣлился отъ наряда въ сопровожденіи конвойнаго. И вотъ мы вдвоемъ идемъ по крѣпости, заходимъ въ нѣкоторыя мѣста и затѣмъ повернули на дорогу въ казарму, какъ вдругъ я замѣтилъ, что на головѣ у меня нѣтъ моей полюбленной мною уже шапки съ крестомъ. Встревожась этимъ, мы вернулись и искали забытую гдѣ-то или потерянную мною шапку. Какъ я, такъ и конвойный, который былъ ко мнѣ очень внимателенъ и услужливъ, мы старательно искали, но, не найдя, разошлись въ разныя стороны, полагая успѣшнѣе ее найти. Но, потерявъ надежду, я вернулся къ мѣсту, на которомъ мы разошлись, а конвойный опоздалъ и въ ожиданіи его я встревожился еще болѣе, ходилъ туда и сюда, уже забывъ о потери шапки, смотрѣлъ кругомъ, звалъ его, окликалъ повсюду громко, но отвѣта на мой зовъ не послѣдовало. И вотъ я стою одинъ въ степи и думаю, какъ это нехорошо, я возвращусь одинъ въ острогъ безъ конвойнаго. Онъ можетъ подвергнуться большой отвѣтственности за оставленіе арестанта. Я еще поджидалъ и звалъ его, но онъ не являлся; между тѣмъ все болѣе темнѣло и и я рѣшился вернуться безъ него, думая, если я вернусь благополучно, то онъ пойдетъ на гауптвахту и тѣмъ и окончится все; но, спѣша возвратиться въ казарму, я не нашелъ болѣе дороги и увидѣлъ себя совсѣмъ въ иной мѣстности: рѣки не было, а передо мною стояли горы и лѣсъ. Такое положеніе меня смутило и я стоялъ въ тревогѣ и недоумѣніи.

Таковъ былъ мой сонъ. Разбуженный какимъ-то шумомъ, я увидѣлъ себя лежащимъ на верхнихъ нарахъ.

XLVII.

Настала страстная недѣля, весна переходила уже въ лѣто; солнце грѣло сильно. Въ эти дни арестанты уже не ходили на работы, а только партіями водились въ соборную церковь. Въ одинъ изъ первыхъ

дней этой недѣли, утромъ послѣ обѣдни, когда всѣ жители острога были уже дома, вдругъ взоры всѣхъ были привлечены необыкновеннымъ явленіемъ.

У входа изъ сѣней въ казарму показался комендантъ и остановился, спрашивая что-то. Онъ былъ безъ всякой свиты, одинъ. Къ нему на встрѣчу подбѣжалъ бывший въ казармѣ дежурный унтеръ-офицеръ и на вопросъ коменданта отвѣтилъ и показалъ рукою на срединный проходъ. Я находился въ эту минуту въ задней части казармы, внизу отъ моего верхняго ночлега и, увидѣвъ коменданта идущимъ по направлению прямо къ намъ, удивился тому и не спускалъ съ него глазъ; онъ шелъ медленно, разсматривая внимательно стоявшихъ по сторонамъ и поднимавшихся, при приближеніи его, съ нарѣ людей и всматриваясь въ каждого. Приблизившись къ нашему ряду, онъ узналъ меня и, подойдя ко мнѣ, остановился и сказалъ:

— Я хотѣлъ видѣть васъ и лично передать вамъ, что, по извѣстію, полученному мною сегодня о васъ изъ Петербурга, вы будете очень скоро освобождены изъ острога, радуюсь за васъ!

Сказавъ эти слова своимъ тихимъ голосомъ, но довольно слышнымъ для близъ стоящихъ, онъ постоялъ нѣсколько секундъ, смотря на меня, потомъ повернулся и пошелъ обратно. Я остался, по уходѣ его, погруженный въ пріятную думу. Близъ меня стоявшіе арестанты изъявляли мнѣ свою радость по случаю предстоящаго мнѣ избавленія отъ проклятой тюрьмы, и новость эта разлетѣлась по всей казармѣ. Многіе подходили и поздравляли меня. Я почувствовалъ желаніе сообщить сейчасъ же эту новость Кельхину, но не вышелъ еще изъ нашего отдѣленія, какъ меня догнали всѣ турки и, окруживъ меня, всѣ и каждый въ отдѣльности привѣтствовали съ полученнымъ для меня радостнымъ извѣстіемъ: «Берекетъ олсунъ (милость Божія на васъ), Богъ дастъ, Богъ дастъ,—говорили они,—мы всѣ выйдемъ отсюда—никто не останется здѣсь!»

Перейдя въ другое отдѣленіе, я подошелъ къ Кельхину и сообщилъ ему мою новость. Онъ былъ глубоко тронутъ этимъ извѣстіемъ.

— Слава Богу,—говорилъ онъ,—и мнѣ уже не-

долго остается пережить васъ здѣсь; осенью этого года исполнится отбывка и моего 15-ти-лѣтняго здѣсь заключенія! Я нерѣдко задумывался о васъ, какъ вы, по выходѣ моемъ отсюда, останетесь одни! Трудно привыкать къ неволѣ! Ну, слава Богу! нужно удивляться, что на вашу долю выпало особое счастье!

Это выпавшее на мою долю дѣйствительно особое счастье (какъ я впослѣдствіи узналъ) было дѣломъ моихъ родныхъ, искусно проведенное черезъ высокопоставленныхъ лицъ ходатайство объ освобожденіи меня изъ тюрьмы.

Освобожденіе мое, сколько я помню, послѣдовало на 3—4-й день свѣтлаго праздника и произошло слѣдующимъ образомъ. Пришелъ въ роту фельдфебель и сказалъ мнѣ:

— Я получилъ приказаніе выпустить васъ изъ нашего острога. Мнѣ поручено также зайти съ вами въ цейхгаузъ здѣшняго гарнизона и выбрать для васъ, изъ находящагося въ немъ склада, подходящій для васъ солдатскій нарядъ.

Хотя я и ожидалъ съ нетерпѣніемъ исполненія возвѣщеннаго мнѣ комендантомъ, но слова его меня встревожили, я какъ бы испугался, сердце забилося: свобода въ солдатскомъ нарядѣ, неизвѣстность послѣдующаго и приказаніе сейчасъ же выходить мнѣ изъ острога, изгнаніе меня навсегда изъ столь заботливо въ немъ устроеннаго мною уютнаго уголка, съ неизвѣстностью куда; все это вдругъ представилось мнѣ и отозвалось въ сердцѣ какимъ-то смутнымъ болѣзненнымъ ощущеніемъ и выразилось словами:

«Вы меня не выгоняйте сейчасъ изъ нашего жилища, къ которому я уже привыкъ; другого у меня нѣтъ въ Херсонѣ! Да мнѣ и такъ уйти нельзя—надо обойти всю казарму, проститься съ людьми!.. Я вѣдь не сейчасъ отправленъ буду по назначенію, такъ что въ эти дни могу еще заходить къ вамъ?»

— Милости просимъ, будемъ рады всѣмъ,—отвѣчалъ онъ.

Я обошелъ оба отдѣленія, сказавъ всѣмъ, что ухожу изъ острога, но еще приду проститься.

Мы вышли изъ за желѣзной рѣшетчатой двери сѣней и направились къ цейхгаузу, который былъ

близъ памятнаго мнѣ ордонансгауза. Тамъ началась разборка солдатскихъ вещей. Мнѣ надобно было по-добратъ на мой ростъ шинель, брюки и шапку, но вещи всѣ были плохія, какъ бы поношенные, и самъ фельдфебель совѣстился предлагать мнѣ ихъ. Мы разрыли еще другія связки платья (онѣ перевязаны были поперекъ веревками) и наконецъ выбрали болѣе чистый и къ моему росту подходящий костюмъ. Сдѣлавъ это, мы вышли и я спросилъ фельдфебеля, куда мнѣ идти и гдѣ я буду сегодня ночевать?

Онъ отвѣчалъ: «Я приказаніе начальства исполнилъ, остальное не мое дѣло». Мы разошлись.

Оставшись одинъ, я прежде всего побѣждалъ на инженерный дворъ къ Н. Е. Рудыковскому и, войдя къ нему, предсталъ передъ нимъ въ солдатской формѣ. Онъ былъ очень обрадованъ моимъ появленіемъ, позвалъ свою жену и даже нянюшку съ ребенкомъ на рукахъ привѣтствовать меня. Затѣмъ онъ пригласилъ меня сѣсть и закидалъ вопросами.

— Какъ и куда вы будете отправлены и когда? Обо всемъ этомъ надо вамъ освѣдомиться теперь же у коменданта. Надо вамъ собраться въ дорогу. Я тоже пойду къ коменданту и надѣюсь, что онъ одобритъ мое желаніе, чтобы вы эти дни прожили у меня.

Когда я пришелъ къ коменданту въ солдатской формѣ, онъ принялъ меня, какъ всегда, вѣжливо, но холодно, поздравилъ съ выходомъ, но о томъ, какъ это случилось столь неожиданно для меня и для него, предпочелъ умолчать, хотя онъ получилъ запросъ обо мнѣ отъ своего начальства, составленный такъ, что онъ не могъ не отвѣчать въ желаемомъ смыслѣ. Затѣмъ онъ объявилъ мнѣ, что я долженъ бы былъ слѣдовать къ мѣсту назначенія по этапу, но, въ виду ходатайства моихъ родныхъ, мнѣ дозволено отправиться на Кавказъ почтою, въ сопровожденіи унтеръ-офицера, по назначенію мѣстнаго начальства, съ условіемъ его обратнаго возвращенія въ Херсонъ на мой счетъ, и что для этого присланы мнѣ деньги 300 рублей, и предложилъ мнѣ взять изъ нихъ часть, для необходимыхъ издержекъ, остальные же будутъ вручены унтеръ-офицеру, который отправится со мною.

Я просилъ выдать мнѣ изъ нихъ на руки 75 рублей,

чтобы я могъ собратъся въ дорогу. Затѣмъ, я пожелалъ написать черезъ него письмо роднымъ, какъ это я дѣлалъ прежде. Онъ предоставилъ мнѣ свой кабинетъ и вышелъ изъ него. Когда я окончилъ и всталъ, онъ вновь вошелъ въ него и прибавилъ къ сказанному, что все мое привезенное съ собою бѣлье и обувь находятся на храненіи у ротнаго командира и предложилъ мнѣ зайти къ нему за этими вещами (а гдѣ всѣ другія мои вещи—объ этомъ не упомянулъ вовсе). Также прибавилъ еще, что всѣ привезенныя мною книги сохраняются въ его канцеляріи, а одна изъ нихъ находится у него на квартирѣ и я сейчасъ ее получу. Онъ вышелъ и черезъ нѣсколько минутъ вошла въ кабинетъ его дочь—взрослая дѣвушка—и принесла мнѣ книгу, это было извѣстное сочиненіе «*Géographie de Balbi*», большой толстый томъ въ прекрасномъ заграничномъ переплетѣ. Она отдала мнѣ его; я просилъ ее подождать, развернулъ его, просмотрѣлъ и затѣмъ, настроенный весьма добродушно, предложилъ ей сохранить эту книгу у себя на память отъ меня. Она была, повидимому, очень удивлена такою неожиданностью и, поблагодаривъ меня, подала мнѣ руку и ушла *). Объ этомъ подаркѣ моемъ я очень сожалѣлъ впоследствии, такъ какъ я вѣдалъ жить въ страну некультурную, лишенную всякой книжной торговли, да и сомнѣвался въ томъ, что подарокъ мой былъ оцененъ получившими его.

Прежде оставленія дома коменданта, мнѣ пришла счастливая мысль упомянуть ему объ оставляемомъ мною въ острогѣ Кельхинѣ. Я просилъ коменданта обратить вниманіе на этого человѣка, который вполне того заслуживаетъ. Я рассказалъ вкратцѣ исторію его жизни и такъ какъ въ этомъ 1851 году, по отбытіи 15-ти-лѣтняго срока, ему предстоитъ выходъ изъ острога, то я прошу его изъ денегъ, присланныхъ мнѣ, сохранить къ выходу его 20 руб. на первую экипировку его и необходимыя надобности. Онъ выслушалъ меня, казалось, со вниманіемъ и обѣщалъ исполнить мое желаніе и для

*) При продажѣ моихъ вещей съ аукціона на книги не нашлось покупателя и потому только онѣ и сохранились.

этого позвать къ себѣ Кельхина и объявить ему о моемъ оставленіи ему 20 рублей.

Послѣ этого я простился и вышелъ изъ квартиры коменданта навсегда уже, произнося слова: «Слава Богу! Теперь буду писать письма кому хочу безъ посредства непрощенныхъ чтецовъ!»

Затѣмъ, я направился вновь къ Рудыковскому, который предложилъ мнѣ перемѣститься къ нему и прожить у него въ семействѣ. Приглашеніе это меня очень обрадовало. Я пошелъ затѣмъ къ моему бывшему ротному командиру; его не было дома, но я засталъ его жену. Она имѣла видъ простой женщины, прилично одѣтой, приняла меня очень радушно: «Она много слышала уже обо мнѣ отъ ея мужа, у нея находится все мое бѣлье и хранится въ полномъ порядкѣ и чистотѣ, также и одна пара сапоговъ». Она предлагала мнѣ чаю или покушать чего-нибудь, но я счелъ лучшимъ кончить скорѣе всѣ мои сборы и помѣститься уже спокойно у милаго, дорогого мнѣ, единственного моего друга въ Херсонѣ Н. Е. Рудыковского. Поблагодаривъ ее за сбереженіе моихъ вещей, я просилъ передать мой поклонъ и благодарность противному мнѣ ея мужу. Вещи всѣ я обвилъ полотенцемъ и съ этимъ пакетомъ пришелъ вновь къ Рудыковскому.

Онъ показалъ мнѣ все свое жилище и нашелъ, что мнѣ всего удобнѣе расположиться у него въ кабинетѣ. Тогда, усталый отъ всей этой спѣшной и тревожной возни, я прилегъ у него въ кабинетѣ на диванъ и задремалъ. Это было полное спокойствіе и давно желанный отдыхъ, не оравленный болѣе никакою мыслью о неволѣ.

Проснулся я разбуженный Рудыковскимъ, приглашавшимъ меня обѣдать. Я былъ очень голоденъ и утолилъ мой голодъ хорошею, питательною пищею. Послѣ обѣда я вновь заснулъ и, когда проснулся, былъ уже вечеръ, но солнце еще стояло надъ горизонтомъ. Тогда я нашелъ нужнымъ зайти въ острогъ и сказалъ о томъ Рудыковскому. Онъ съ удивленіемъ спросилъ меня: зачѣмъ? Я разъяснилъ ему, что такъ слѣдуетъ, я это чувствую какъ бы моимъ нравственнымъ долгомъ, меня влечетъ туда, къ товарищамъ моимъ по

заключенію, оставшимся въ неволѣ, я хочу ихъ видѣть всѣхъ и каждаго; кромѣ того, между ними есть нѣсколько личностей, которыхъ мнѣ жаль оставить въ острогѣ и съ которыми нельзя не проститься. Выслушавъ меня, онъ одобрилъ мое намѣреніе, и я пошелъ въ острогъ.

По прибытіи туда мнѣ отворена была сейчасъ же рѣшетчатая дверь и я вошелъ въ сѣни, привѣтствуемый многими. Я вошелъ въ наше отдѣленіе и тутъ встрѣченъ былъ турками и былъ посаженъ среди нихъ. Мулла поздравлялъ меня отъ имени всѣхъ (какъ обыкновенно на турецкомъ языкѣ), выражалъ сожалѣніе, что я еще долженъ отбывать солдатскую службу и потому «вашъ выходъ отсюда,—говорилъ онъ,—не есть настоящее освобожденіе, а только перемѣщеніе изъ одной казармы въ другую. Конечно, солдатомъ быть легче, чѣмъ арестантомъ, но это не свободная жизнь! Когда уѣдете изъ этого края, вспомните о насъ, здѣсь оставшихся. Богъ дастъ, настанетъ пора и мы выйдемъ. По уходѣ вашемъ отсюда, мы будемъ всѣ васъ вспоминать, какъ вы съ перваго дня вашего прибытія привлекли насъ къ себѣ вашимъ привѣтствіемъ насъ на нашемъ родномъ языкѣ, какъ вы здѣсь жили среди насъ и среди всей толпы здѣшнихъ людей, какъ бы равный со всѣми. И арестанты васъ полюбили. Отъ имени всѣхъ насъ, турокъ, я выражаю вамъ наше уваженіе и да благословитъ Богъ спокойствіемъ вашу дальнѣйшую жизнь!»

Такими, приблизительно, словами была сказана, какъ бы вылившаяся прямо изъ сердца, обращенная ко мнѣ рѣчь умнаго муллы. Я, съ своей стороны, отвѣчалъ имъ тоже не менѣе сердечными словами, прощался съ ними и выражалъ имъ искреннюю благодарность за все это время, прожитое съ ними, подъ тягостью общей неволи, что я ихъ никогда не забуду, и общалъ имъ, если только будетъ какая-либо возможность, прислать имъ просимую ими молитвенную книгу *).

*) Я исполнилъ мое обѣщаніе, купилъ въ г. Керчи *Алькоранъ* и, по прибытіи моемъ въ мѣсто назначенія, передалъ его возвращавшемуся въ Херсонъ моему спутнику—унтеръ-офицеру, для врученія муллѣ, котораго онъ лично зналъ въ числѣ конвоированныхъ имъ арестантовъ. Исполнена ли имъ была моя эта просьба, осталось мнѣ неизвѣстнымъ.

Въ этой казармѣ прощался я съ Морозовымъ, Глушечко, Меншиковымъ, Колужнымъ, Ефимовымъ, Еремѣевымъ и многими другими, которыхъ фамиліи не вспоминаю.

— Прощайте!— говорилъ я имъ,—прощайте всѣ! Меня гонять въ другую казарму изъ здѣшняго моего уголка, изъ нашей среды, къ которой я уже привыкъ. Прощайте! Васъ помнить буду я всегда!..

Я перешелъ въ другое отдѣленіе; туда влекли меня двѣ личности—Кельхинъ и Вороновъ. Я посидѣлъ у нихъ минутъ десять. Съ Кельхинымъ мы условились проститься внѣ казармы на другой день. Затѣмъ я вышелъ, сказавъ, что еще вернусь къ нимъ.

Было уже темно и я съ особымъ чувствомъ радости испытывалъ наслажденіе быть однимъ среди природы. безъ всякихъ спутниковъ, ходившихъ за мною въ теченіе 16-ти мѣсяцевъ моей жизни въ херсонскомъ острогѣ. Тутъ вспомнился мнѣ, поистинѣ удивительный, мудровѣщательный сонъ: на мнѣ не было арестантской шапки и при мнѣ не было болѣе конвоирующаго меня солдата. Откуда возникъ въ настрадавшемся угнетенномъ мозгу моей безумной головы столь прорицательный сонъ? Не вѣрю снамъ, но и забыть этого не могу!

Я спустился къ Днѣпру—онъ былъ у ногъ моихъ въ полномъ разливѣ. Вечеръ былъ теплый; всходила луна. Въ созерцаніи давноневиданныхъ мною весеннихъ красотъ природы, въ вечерній часъ, стоялъ я, погруженный въ сладостную думу, и затѣмъ побрелъ впередъ и вышелъ довольно далеко изъ границъ крѣпости. Подвигаясь медленно, въ забвеніи, я вдругъ вспомнилъ, что я живу теперь въ новомъ жилищѣ—въ гостяхъ у Н. Е. Рудыковского и побѣжалъ бѣгомъ туда, гдѣ меня уже давно ждали.

По возвращеніи я пилъ чай въ милой мнѣ семьѣ и былъ угощаемъ обильною разнообразною пищею съ праздничнаго свѣтлоскреснаго стола и, вполнѣ довольный и счастливый, легъ въ приготовленную для меня чистѣйшую и мягкую постель и заснулъ сладкимъ сномъ до утра.

На другой день я всталъ, не торопясь, и вновь наслаждался пріятной бесѣдой за чайнымъ столомъ съ милыми мнѣ хозяевами. Мнѣ было такъ хорошо, уютно.

спокойно, что мнѣ хотѣлось продлить это невозмутимо-блаженное состояніе, но оно дано было мнѣ судьбою кратковременно и, при нежеланіи двигаться куда-нибудь, мысль объ отъѣздѣ на солдатскую службу и объ оставленіи здѣсь, быть можетъ, навсегда, столь недавнихъ еще, привлечшихъ къ себѣ мое сердце людей была для меня тягостна, а надо было приготовляться къ отъѣзду—идти покупать нѣкоторыя вещи для дороги и жизни на новомъ мѣстѣ въ неизвѣстномъ мнѣ положеніи. Между тѣмъ были еще праздники и лавки въ городѣ открывались медленно, что давало мнѣ нѣкоторый поводъ къ замедленію отъѣзда, притомъ же, я долженъ былъ еще проститься, не торопясь, съ покидаемыми мною навсегда товарищами по заключенію. Поговоривъ съ Рудыковскимъ, посовѣтовавшись съ нимъ обо всемъ, я вновь направился къ своимъ осторожнымъ друзьямъ и дорогою придумалъ, что я съ ними вмѣстѣ раздѣлю праздникъ моего выхода—буду обѣдать съ ними въ острогѣ и на мой счетъ устрою имъ хоть какой-либо праздничный столъ. Придя въ казарму, я посовѣтовался съ унтеръ-офицеромъ, съ кашеваромъ и съ артельщиками. Это оказалось возможнымъ и я внесъ для этого небольшую плату для обѣда на завтрашній день. Затѣмъ, уходя, я просилъ фельдфебеля, пришедшаго тогда въ казарму, отпустить со мною въ городъ Кельхина — для нужныхъ мнѣ покупокъ. Кельхинъ уже оканчивающій свой 15-лѣтній срокъ, пользовался полнымъ довѣріемъ ближайшаго начальства и былъ сейчасъ же отпущенъ со мною безъ всякаго конвоя.

Мы вышли вдвоемъ и, выйдя изъ крѣпости по направленію въ городъ, отошли отъ дороги и, найдя въ степи небольшой овражекъ, присѣли на немъ побесѣдовать вдвоемъ наединѣ. Бесѣда эта съ нимъ сохранилась у меня въ памяти въ общихъ чертахъ: я говорилъ, что, уѣзжая отсюда, оставляю его и благодарю его за все время, прожитое съ нимъ въ острогѣ; онъ помогъ мнѣ пережить его. Теперь мы расстаемся и едва ли судьба сведетъ насъ вмѣстѣ, потому простимся какъ бы навсегда! Потомъ я сказалъ ему о моей просьбѣ о немъ коменданта и объ оставленіи ему изъ присланныхъ мнѣ на дорогу денегъ двадцати рублей, которые ему пригодятся при выходѣ его въ этомъ году изъ

острога. «Комендантъ обѣщалъ исполнить мое порученіе и хотѣлъ васъ видѣть и лично передать вамъ объ этомъ». Кельхинъ былъ немногорѣчивъ, но очень чувствителенъ сердцемъ и въ нѣсколькихъ задушевныхъ словахъ, со слезами на глазахъ, дрожащимъ голосомъ, выразилъ мнѣ свои искреннія чувства. Затѣмъ я подарилъ ему изъ имѣвшихся у меня на рукахъ денегъ пять рублей. Мы обнялись горячо и крѣпко: проживъ годъ и четыре мѣсяца въ одномъ помѣщеніи, подъ гнетомъ общей неволи, было надѣ чѣмъ задуматься при предстоящей разлукѣ навсегда.

Мы пошли въ городъ сдѣлать покупки мнѣ на дорогу я впервые увидѣлъ городъ Херсонъ и въ немъ хорошіе магазины. Не помню всего, что мы купили, но куплена была лѣтняя парусиновая шапка, дешевый лѣтній костюмъ, кожаный кошелекъ для денегъ и какой-то легкій подержанный чемоданъ. Затѣмъ я проводилъ его въ казарму, имѣя въ виду еще увидѣть его на другой день, и вернулся къ Рудыковскому.

На другой день, къ обѣденному времени, я пришелъ вновь къ моимъ осторожнымъ друзьямъ и обѣдалъ съ ними вмѣстѣ. Я обходилъ ихъ всѣхъ по нарамъ—всѣ они были довольны и благодарили меня. Въ бесѣдѣ съ нѣкоторыми я оставался въ средѣ ихъ дольше. Компаніи турокъ я удѣлилъ не малое время и простился съ каждымъ, пожавъ руку. Мехмеда я позвалъ взойти со мною къ мѣсту нашего ночлега. Тамъ, изъ моего имущества я взялъ подушку, изъ ящика вынулъ мои записки и карандашъ, остальное все оставилъ ему. Мои взятые вещи я поручилъ ему мнѣ завтра утромъ поранѣе принести къ Рудыковскому. Еще разъ простившись со всѣми, я вышелъ изъ острога, напутствуемый добрыми пожеланіями.

Окончивъ всѣ дѣла, я провелъ спокойно весь день въ семействѣ Рудыковскаго. Въ этотъ же день явился ко мнѣ унтеръ-офицеръ, назначенный сопровождать меня на Кавказъ, и отъѣздъ мой назначенъ былъ мною на другой день утромъ.

Вечеромъ поздно до глубокой ночи я бесѣдовалъ съ Рудыковскимъ. Простившись съ нимъ на ночь, я сѣлъ писать—написалъ письмо роднымъ и затѣмъ сти-

*PB-08169-SB
5-15
CC

DK 209.6 .A4 A3
Iz molkh vospominanii, 1849-18
Stanford University Libraries



3 6105 041 532 834

20

A4A3

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

